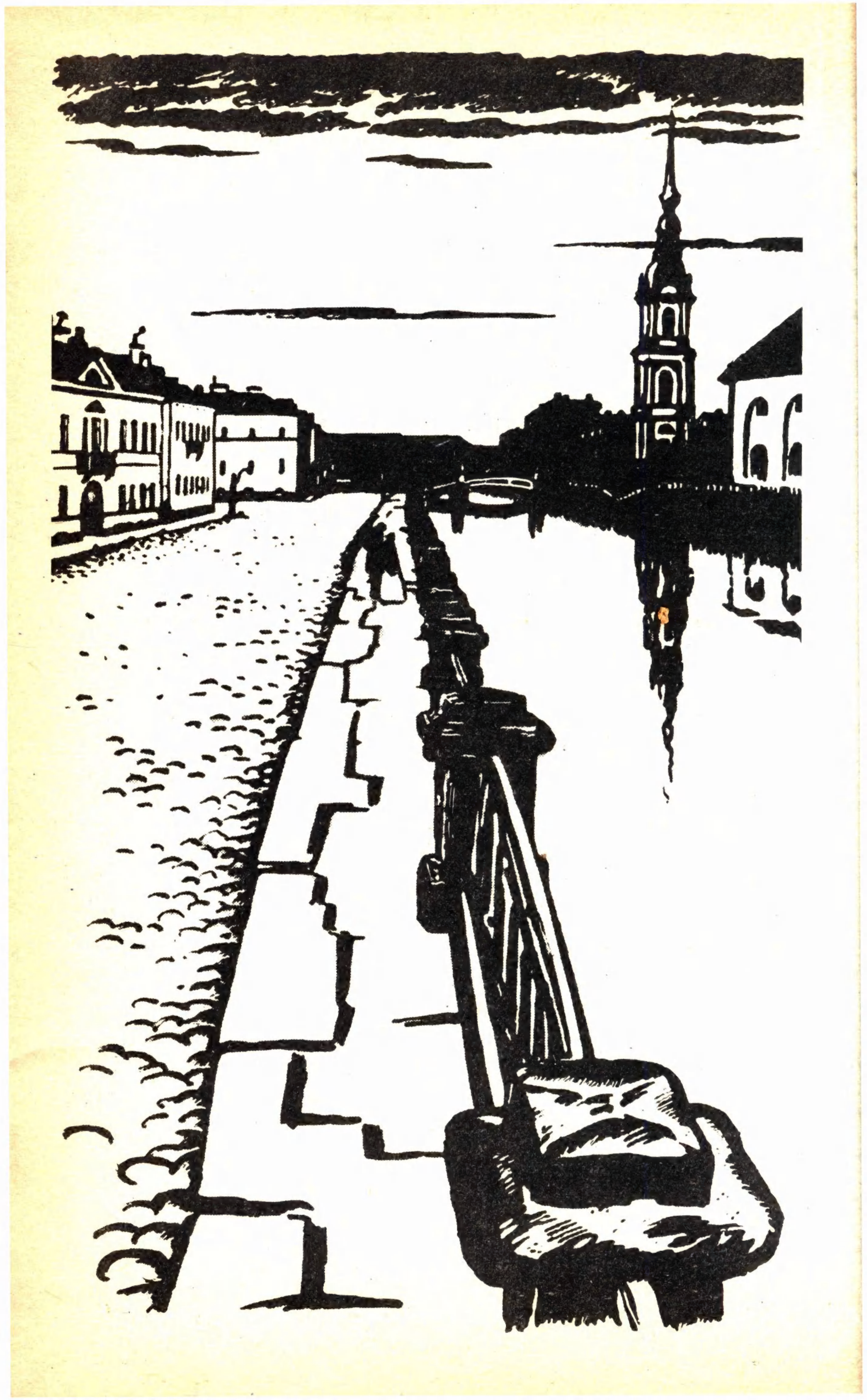
СЕРЕБРЯНЫЙ
ВЕК



СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Петербургская поэзия конца XIX — начала XX в.

ЛЕНИЗДАТ · 1991

84Р
С32

Составление,
подготовка текста,
примечания и статья
М. Ф. Пьяных

Редактор *И. И. Слобожан*

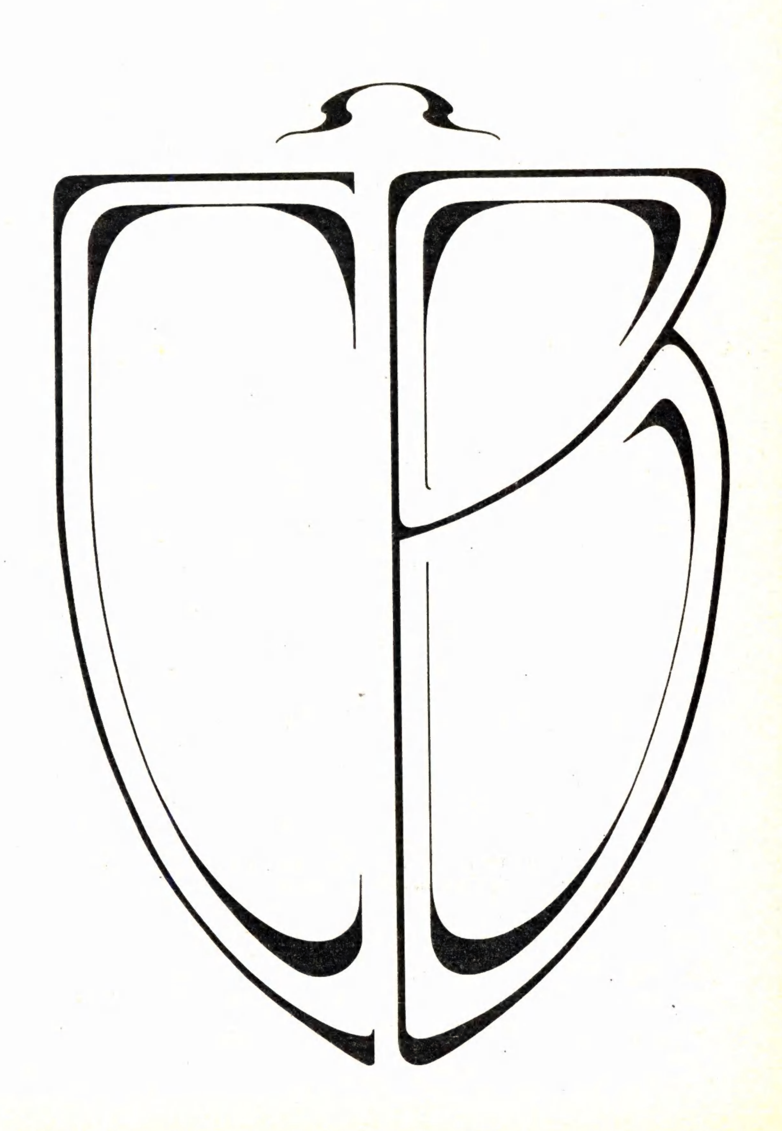
Художник *А. И. Векслер*

На фронтисписе:
иллюстрация М. В. Добужинского
к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи», 1923

С $\frac{4702010000-053}{М171(03)-91}$ 170—91

ISBN 5-289-00918-3

Накануне



Семен Надсон

Алексей Апухтин

Константин Случевский

Константин Фофанов

Алексей Жемчужников

Сергей Андреевский

Арсений Голенищев-Кутузов

Аполлон Коринфский

К. Р. (Константин Романов)

Мирра Лохвицкая

К. Льдов

Петр Якубович

Ольга Чюмина

Алексей Будищев

Даниил Ратгауз

Н. Минский

Владимир Соловьев

СЕМЕН НАДСОН

Памяти Ф. М. Достоевского

Когда в час оргии, за праздничным столом
Шумит кружок друзей, беспечно торжествуя,
И над чертогами, залитыми огнем,
Внезапная гроза ударит, негодуя,—
Смолкают голоса ликующих гостей,
Бледнеют только что смеявшиеся лица,—
И, из полубогов вновь обратясь в людей,
Трепещет Валтасар и молится блудница.

Но туча пронеслась, и с ней пронесся страх...
Пир оживает вновь: вновь раздаются хоры,
Вновь дерзкий смех звучит на молодых устах,
И искрятся вином тяжелые амфоры;
Порыв раскаянья из сердца изгнан прочь,
Все осмеять его стараются скорее,—
И праздник юности, чем дальше длится ночь,
Тем всё становится развратней и пошлее!..

Но есть иная власть над пошлостью людской,
И эта власть — любовь!.. Создания искусства,
В которых теплится огонь ее святой,
Сметают прочь с души позорящие чувства;
Как благодатный свет, в эгоистичный век
Любовь сияет всем, все язвы исцеляет,—
И не дрожит пред ней от страха человек,
А край одежд ее восторженно лобзает...

И счастлив тот, кто мог и кто умел любить:
Печальный терн его прочней, чем лавр героя,
Святого подвига его не позабыть
Толпе, исторгнутой из мрака и застоя.
На смерть его везде откликнутся друзья,
И смерть его везде смутит сердца людские,
И в час разлуки с ним, как братская семья,
Над ним заплачет вся Россия!..

1881

* * *

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий
брат,
Кто б ты ни был, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь,—
Верь, настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Не в терновом венце, не под гнетом цепей,
Не с крестом на согбенных плечах,
В мир придет она в силе и славе своей,
С ярким светочем счастья в руках.
И не будет на свете ни слез, ни вражды,
Ни бескрестных могил, ни рабов,
Ни нужды беспросветной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов.

О мой друг! Не мечта этот светлый приход,
Не пустая надежда одна:

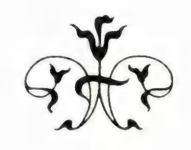
Оглянись,— зло вокруг чересчур уж гнетет,
Ночь вокруг чересчур уж темна!
Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой,—
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбой!..

1881

* * *

Умерла моя муза!.. Недолго она
Озаряла мои одинокие дни:
Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила, темна!..
Тщетно в сердце, уставшем от мук и тревог,
Исцеляющих звуков я жадно ищу:
Он растоптан и смят, мой душистый венок,
Я без песни борюсь и без песни грущу!..
А в былые года сколько тайн и чудес
Совершалось в убогой каморке моей:
Захочу — и сверкающий купол небес
Надо мной развернется в потоках лучей,
И раскинется даль серебристых озер,
И блеснут колоннады роскошных дворцов,
И подымут в лазурь свой зубчатый узор
Снеговые вершины гранитных хребтов!..
А теперь — я один... Неприютно, темно
Опустевший мой угол в глаза мне глядит;
Словно черная птица, пугливо в окно
Непогодная полночь крылами стучит...
Мрамор пышных дворцов разлетелся в туман,
Величавые горы рассыпались в прах —
И истерзано сердце от скорби и ран,
И бессильные слезы сверкают в очах!..
Умерла моя муза!.. Недолго она
Озаряла мои одинокие дни:
Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила, темна!..

1885



АЛЕКСЕЙ АПУХТИН

* * *

Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые...
Ночи, последним лучом озаренные,
Осени мертвой цветы запоздалые!

Пусть даже время рукой беспощадною
Мне указало, что было в вас ложного,
Все же лечу я к вам памятью жадною,
В прошлом ответа ищу невозможного...

Вкрадчивым шепотом вы заглушаете
Звуки дневные, несносные, шумные...
В тихую ночь вы мой сон отгоняете,
Ночи бессонные, ночи безумные!

1876

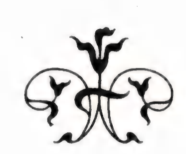
* * *

День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна, роковая,—
Все о тебе!

С нею не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло, снова любя...
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Все, что в душе дорогого, святого,—
Все от тебя!

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя,—
Знаю одно: что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы —
Все для тебя!

⟨1880⟩



КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИЙ

* * *

Здесь счастлив я, здесь я свободен,—
Свободен тем, что жизнь прошла,
Что ни к чему теперь не годен,
Что полуслеп, что эта мгла

Своим могуществом жестоким
Меня не в силах сокрушить,
Что светом внутренним, глубоким
Могу я сам себе светить

И что из общего крушенья
Всех прежних сил, на склоне лет,
Святое чувство примиренья
Пошло во мне в роскошный цвет...

Не так ли в рухляди, над хламом,
из перегноя и трухи,
Растут и дышат фимиамом
Цветов красивые верхи?

Пускай основы правды зыбки,
Пусть всё безумно в злобе дня,—
Доброжелательной улыбки
Им не лишить теперь меня!

Я дом воздвиг в стране бездомной,
Решил задачу всех задач,—
Пускай ко мне, в мой угол скромный,
Идут и жертва, и палач...

Я вижу, знаю, постигаю,
Что все должны быть прощены;
Я добр — умом, я утешаю
Тем, что в бессилье все равны.

Да, в лоно мощного покоя
Вошел мой тихий «Уголок»—
Возросший в грудах перегноя
Очаровательный цветок...

1895—1901 гг.

* * *

Я мыслить жажду потому, что в этом —
Живой покой, святая тишина,
Всё полно ясным, нетревожным светом,
В душе легко, и ясно даль видна!

И если мгла за некоторой гранью
Перед умом слегка скрывает даль,—
Страдать от этого немыслимо сознанью:
Мне жаль, что — мгла, но мне спокойно
жаль...

Тогда как в чувствах столько острой боли,
Такая мощь безумной толчеи
Терзаний духа и страданий воли —
Успокоенье только в забытьи,—

Что все восторги страстных наслаждений,
Всех оргий чувств за время лучших лет
Не искупят безвременных мучений,
Всегда идущих оргиям вослед...

Спеши, спеши в спокойствие мышленья,—
В нем нерушим довременный покой;
Там нет борьбы, не надобно прощенья,
Ты у себя — желанный и родной!..

1895—1901 гг.

* * *

С простым толкую человеком...
Телега, лошадь, вход в избу...
Хвалю порядок в огороде,
Хвалю оконную резьбу.

Всё — дело рук его... Какая
В нем скромных мыслей простота!
Не может пошатнуться вера,
Не может в рост пойти мечта.

Он тридцать осеней и вёсен
К работе землю пробуждал;
Вопрос о том, зачем всё это,—
В нем никогда не возникал.

О, как жестоко подавляет
Меня спокойствие его!
Обидно, что признанье это
Не изменяет ничего...

Ему — раек в театре жизни,
И слез, и смеха простота;
Мне — злобы дня сомненья, мудрость
И — на вес золота места!

1895—1901 гг.

* * *

Заката светлого пурпурные лучи
Стремятся на гору с синеющей низины,
И ярче пламени в открывшейся печи
Пылают сосен темные вершины...

Не так ли в Альпах горные снега
Горят, когда внизу синеет тьма тенями...
Жизнь родины моей! О, как ты к нам строга,
Как не балуешь нас роскошными дарами!

Мы силами мечты должны воссоздавать
И дорисовывать, что мы имеем;
То, что другим дано, нам надо отыскать,
Нам часто не собрать того, что мы посеем!

И в нашем творчестве должны мы превозмочь
И зиму долгую с тяжелыми снегами,
И безрассветную, томительную ночь,
И тьму безвременья, сгущенную веками...

1895—1901 гг.

* * *

Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо...
Не чуешь ли судеб движенья над тобой?
Колес каких-то ход свершается незримо,
И рычаги дрожат друг другу вперебой...
Смыкаются пути каких-то колебаний,
Расчеты тайных сил приводятся к концу,
Наперекор уму, без права пожеланий,
И не по времени, и правде не к лицу...
О, если б, кажется, с судьбою в бой рвануться!
Какой бы мощности порыв души достиг...
Но ты не шевелись! Колеса не запнутся,
Противодействие напрасно в этот миг.
Поверь: свершится то, чему исход намечен...
Но если на борьбу ты не потратил сил
И этою борьбой вконец не изувечен,—
Ты можешь вновь пойти... Твой час
не наступил.

1895—1901 гг.

* * *

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.

А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.

⟨1901⟩

Быть ли песне?

Какая дерзкая нелепость
Сказать, что будто бы наш стих,
Утратив музыку и крепость,
Совсем беспомощно затих!

Конечно, пушкинской весною
Вторично, внукам, нам не жить:
Она прошла своей чредою
И вспять ее не возвратить.

Есть вёсны в людях, зимы глянут
И скучной осени дожди,
Придут морозы, бури грянут,
Ждет много горя впереди...

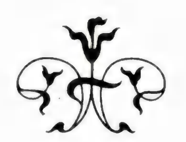
Мы будем петь их проявленья
И вторить всем проклятьям их;
Их завыванья, их мученья
Взломают вглубь красивый стих...

Переживая злые годы
Всех извращений красоты,
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты;

Ударясь в стоны и рыданья,
Путем томления пройдешь.
Минуешь много лет страданья —
И наконец весну найдешь!

То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.

⟨1902⟩



КОНСТАНТИН ФОФАНОВ

* * *

Звезды ясные, звезды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные,
Лепестки улыбнулись атласные,
Задрожали листы изумрудные.

И цветы, опьяненные росами,
Рассказали ветрам сказки нежные,
И распели их ветры мятежные
Над землей, над волной, над утесами.

И земля, под весенними ласками
Наряжаяся тканью зеленою,
Переполнила звездными сказками
Мою душу, безумно влюбленную.

И теперь, в эти дни многотрудные,
В эти темные ночи ненастные,
Отдаю я вам, звезды прекрасные,
Ваши сказки задумчиво-чудные!..

Декабрь 1885

Два мира

Там белых фей живые хороводы,
Луна, любовь, признанье и мечты,
А здесь — борьба за призраки свободы,
Здесь горький плач и стоны нищеты!

Там — свет небес и радужен и мирен,
Там в храмах луч негаснущей зари.
А здесь — ряды развенчанных кумирен,
Потухшие безмолвно алтари...

То край певцов, возвышенных как боги,
То мир чудес, любви и красоты...
Здесь — злобный мир безумья и тревоги,
Певцов борьбы, тоски и суеты...

7 апреля 1886

* * *

Ни медленным трудом, ни жизнью торопливой
Не успокоить ум. Бесстрастный и пытливый,
Как тусклая свеча он озаряет мне
Весь мир, мной видимый, и все его явленья;
Смиряет сердца жар и в робкой тишине
Не сны на ложе шлет, а тяжкие сомненья.

Как демон он гнетет, смеется и язвит
За песню каждую; над каждой новой урной
Не тихою слезой — раздумьем леденит
И, презирая смерть, не ищет жизни бурной...
Он не влечет меня в лазурные края,
В края фантазии, где брезжит свет прозрачный,
Где тени светлые резвятся у ручья.

Нет, он зовет меня на жниву жизни мрачной,
Где столько скошено безвременно борцов,
Где колос знания пришибла непогода...
И где она сама, бессмертная природа,
Порабощенная лежит у ног рабов...

1891

* * *

Как стучит уныло маятник,
Как темно горит свеча;
Как рука твоя дрожащая
Беспокойно горяча!

Очи ясные потуплены,
Грустно никнет голова,
И в устах твоих прощальные
Недомолвлены слова.

Под окном шумят и мечутся
Ветки кленов и берез...
Без улыбок мы встречалися
И расстанемся без слез.

Только что-то недосказано
В наших думах роковых,
Только сердцу несогретому
Жаль до боли дней былых.

Ум ли ищет оправдания,
Сердце ль памятью живет
И за смутное грядущее
Прошлых мук не отдает?

Или две души страдающих,
Озарив любовью даль,
Лучезарным упованием
Могут сделать и печаль?

1893

Под музыку осеннего дождя

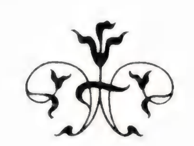
Темно, темно! На улице пустынно...
Под музыку осеннего дождя
Иду во тьме... Таинственно и длинно
Путь стелется, к теплу огней ведя.

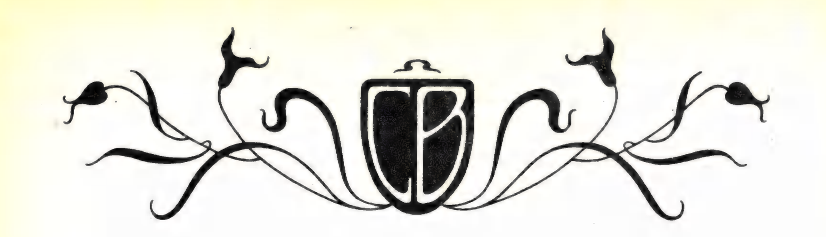
В уме моем рождаются картины
Одна другой прекрасней и светлей.
На небе тьма, а солнце жжет долины,
И солнце то взошло в душе моей!

Пустынно всё, но там журчат потоки,
Где я иду незримою тропой.
Они в душе родятся одиноки,
И сердца струн в них слышится прибой.

Не сами ль мы своим воображеньем
Жизнь создаем, к бессмертию идя,
И мир зовем волшебным сновиденьем
Под музыку осеннего дождя!..

Октябрь 1900





АЛЕКСЕЙ ЖЕМЧУЖНИКОВ

* * *

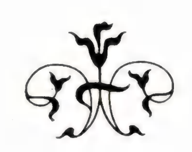
Сняла с меня судьба в жестокий этот век
Такой великий страх и жгучую тревогу,
Что я сравнительно счастливый человек:
Нет сына у меня; он умер, слава богу!
Ребенком умер он. Хороший мальчик был;
С улыбкой доброю; отзывчивый на ласки;
И, мнилось, огонек загадочный таил,
Которым вспыхивали глазки.

Он был бы юношей теперь. В том и беда.
О, как невесело быть юным в наше время!
Не столько старости недужные года,
Как молодость теперь есть тягостное бремя.
А впрочем, удручен безвыходной тоской,
Которая у нас на утре жизни гложет,
В самоубийстве бы обрел уже, быть может,
Он преждевременный покой.

Но если б взяли верх упорство и живучесть,
В ряды преступные не стал ли бы и он?
И горько я его оплакивал бы участь —
Из мира, в цвете лет, быть выброшенным вон.
Иль, может быть, в среде распутства и наживы,
Соблазном окружен и юной волей слаб,
Он духа времени покорный был бы раб...
Такие здравствуют и живы.

А сколько юношей на жизненном пути,
Как бы блуждающих средь мрака и в пустыне!
Где цель высокая, к которой им идти?
В чем жизни нашей смысл? В чем идеалы ныне?
С кого примеры брать? Где подвиг дел благих?
Где торжество ума и доблестного слова?..
Как страшно было бы за сына мне родного,
Когда так жутко за других!

Март 1888
Петербург



СЕРГЕЙ АНДРЕЕВСКИЙ

* * *

Помнишь летнюю ночь? С поля пахло дождем,
В тишине пред грозой замирала земля.
Как ту ночь хорошо было слушать вдвоем
Нам украдкой с тобой, дорогая моя!

Онемели цветы... Лес тревожно затих,
Свет зарницы дрожал в темно-синей дали,
И столпилось в душе столько грез молодых,
Что и мы, как цветы, говорить не могли...

Черной сетью плелись силуэты ветвей
По кайме золотой потухавшей зари;
Та заря унесла лучший блеск наших дней,
Но шепнули мы ей: «Поскорей догори!»

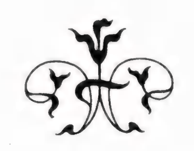
И потухла заря. И как фея любви
Нас окутала ночь безмятежным крылом...
А гроза в стороне зажигала огни,
И ревниво порой где-то вздрагивал гром...

* * *

Если грустно тебе — можно горю помочь,
Только фею-мечту призови!
В этот миг на земле где-то лунная ночь,
Кто-то шепчет о вечной любви!
Бог любви не сгорает в чудесном огне,
Он не умер,— он в сердце чужом...
И подумай, зачем он, подобно волне,
Век поет — и не скажет, о чем!
И зачем на устах опьяняющий пыл,
А на сердце молитвы без слов,
И порыв к чудесам отдаленных светил,
И прилет очарованных снов?—
В эту тайну вглядись... И рассеется прочь
Мгла, покрывшая думы твои:
В этот миг на земле где-то лунная ночь,
Кто-то шепчет о вечной любви!

* * *

Нельзя в душе уврачевать
Ее старинные печали,
Когда на сердце их печать
Годами слезы выжигали.
Пусть новый смех звучит в устах
И счастье новое в чертах
Свой алый светоч зарумянит —
Для давней скорби миг настанет:
Она мелькнет еще в уме,
Пришлет свой ропот присмиревший,
Как ветер, в листьях прошумевший,
Как звук, заплакавший во тьме...



АРСЕНИЙ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

М. П. Мусоргскому

Дорогой невзначай мы встретились с тобой;
Остановилися, окликнули друг друга,
Как странники в нóчи, когда бушует вьюга,
Когда весь мир объят и холодом и тьмой.
Один пред нами путь лежал в степи
безбрежной,
И вместе мы пошли. Я молод был тогда;
Ты бодро шел вперед, уж гордый и мятежный;
Я робко брел вослед... Промчалися года.
Плоды глубоких дум, заветные созданья
Ты людям в дар принес; хвалу, рукоплесканья
Восторженной толпы с улыбкою внимал,
Венчался славою и лавры пожинал.
Затерянный в толпе, тобой я любовался;
Далекий для других, ты близок мне являлся;
Тебя я не терял: я знал — настанет час,
И блеском суетным и шумом утомясь,
Вернешься ты ко мне в мое уединенье,
Чтобы делить со мной мечты и вдохновенье.

Бывало, в поздний час вечерней тишины
Ко мне слеталися видения и сны,
То полные тоски, сомнения и муки,
То светлоокие, с улыбкой на устах...
Мечтанья изливал в правдивых я строфах,
А ты их облекал в таинственные звуки,
Как в ризы чудные,— и, спетые тобой,
Они нежданною сверкали красотой!
Бывало... Но к чему будить воспоминанья,
Когда в душе горит надежды теплый свет?
Пусть будет песнь моя не песнею прощанья,
Пусть лучше в ней звучит грядущему привет.
Туман волшебных грез, таинственных стремлений,
Безумной юности самолюбивый вздор
Прогнал я от себя — и новых вдохновений
Открылся предо мной неведомый простор.
«Без солнца» тяжело блуждать мне в мире стало,
Во мраке слышался мне смерти лишь язык;
Но утра час настал, и солнце заблистало,
И новой красоты предстал мне светлый лик.
Душа моя полна счастливого доверья,
Уму сомненья дань сполна я заплатил,
Храм творчества открыт, и грозного преддверья
Я, осенясь крестом, порог переступил.
Я верю, в храме том мы встретимся с тобою,
С живым сочувствием друг к другу подойдем,
Мы вдохновимся вновь — но красотой иною
И песню новую согласно запоем!

⟨1884⟩

* * *

Так жить нельзя! В разумности притворной,
С тоской в душе и холодом в крови,
Без юности, без веры животворной,
Без жгучих мук и счастия любви,
Без тихих слез и громкого веселья,
В томлении немого забытья,
В унынии разврата и безделья...
Нет, други, нет — так дольше жить нельзя!

Сомнений ночь отрады не приносит,
Клевет и лжи наскучили слова,
Померкший взор лучей и солнца просит,
Усталый дух алкает божества.
Но не прозреть нам к солнцу сквозь тумана,
Но не найти нам бога в дальней тьме:
Нас держит власть победного обмана,
Как узников в оковах и тюрьме.
Не веет в мир мечты живой дыханье,
Творящих сил иссякнула струя,
И лишь одно не умерло сознанье —
Не то призыв, не то воспоминанье,—
Оно твердит: так дольше жить нельзя!

7 декабря 1884

* * *

Не смолкай, говори... В ласке речи твоей,
В беззаветном веселье свиданья
Принесла мне с собою ты свежесть полей
И цветов благовонных лобзанья.

Я внимаю тебе — и целебный обман
Сердце властной мечтою объемлет,
Мне мерещится ночь... в лунном блеске туман
Над сверкающим озером дремлет.

Ни движенья, ни звука вокруг, ни души!
Беспредметная даль пред очами,
Мы с тобою вдвоем в полутьме и тиши,
Под лазурью, луной и звездами.

Только воды дрожат, только дышат цветы
Да туманится воздух росистый,
И, горя сквозь туман, как звезда с высоты,
В душу светит мне взгляд твой лучистый.

В беспредельном молчанье теней и лучей
Шепчешь ты про любовь и участье...
Не смолкай, говори... В ласке речи твоей
Мне звучит беспредельное счастье!

⟨Октябрь 1888⟩

Ночь

Это звездное небо в сиянье ночном,
Это синее море под лунным лучом,
Этот дремлющий берег и мерный прибой
Замирающих волн — как могуч их покой!
Как победно он льется в усталую грудь,
Как в его волшебстве хорошо отдохнуть,
Позабыть истомившую сердце печаль,
Унестись безвозвратно в безбрежную даль,
Где печаль над крылатой мечтой не властна,
Где лишь море, да небо, да ночь, да луна!

⟨1898⟩

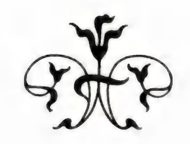
* * *

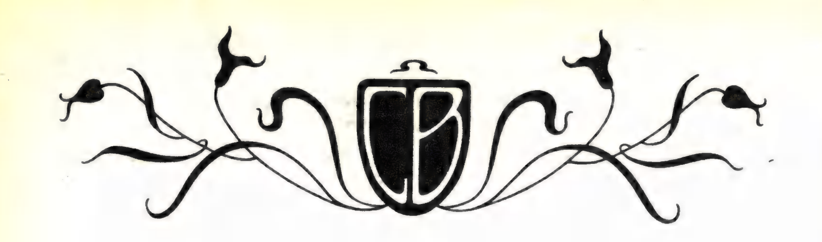
Не в ласке девственной лазури
И не в лобзаньях тьмы ночной —
В огнях грозы и в стонах бури
Мне внятен вечности покой.

Сквозь шум и вихрь стихий мятежных,
Сквозь знойной страсти вопль и бред
Ясней он шлет с высот безбрежных
Свой всепрощающий привет.

И чем больнее буря стонет,
Чем злее страсть, безумней сны,
Тем безвозвратней, глубже тонет
Душа в блаженстве тишины!

Между 1894 и 1901





АПОЛЛОН КОРИНФСКИЙ

* * *

Бледное, чахлое утро туманное
Робко встает над безмолвной столицею;
Скоро проснется и солнце румяное
Вместе с толпою рабов бледнолицею...
В темных подвалах, в палатах блистательных
Снова застонет нужда беспощадная —
Бич всех людей идеально-мечтательных,
Злая, больная, жестокая, жадная...
Жаль мне вас, дети нужды истомленные,
Жаль мне и вас, дети праздности чванные,
Жаль мне и дни беспросветно-туманные,
Жаль мне и песни, в тумане рожденные...

Между 1889 и 1893

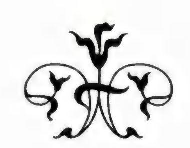
* * *

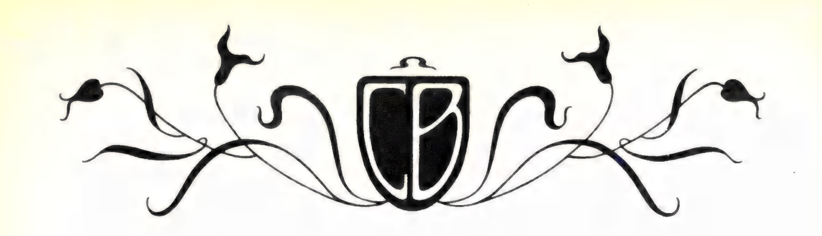
К пустынному приволью
Склонился небосклон;
Душистый воздух смолью
И зноем напоен.

Ни зверя и ни птицы
Среди прямых стволов;
Над ними — вереницы
Жемчужных облаков.

Пески, да мхи, да хвоя
В безлюдной стороне.
Предчувствие покоя —
В природе и во мне!..

22 июля 1896





К. Р. (КОНСТАНТИН РОМАНОВ)

Серенада

О дитя! Под окошком твоим
Я тебе пропою серенаду.
Убаюкана пеньем моим,
Ты найдешь в сновиденьях отраду.
    Пусть твой сон и покой
    В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья.

Много горестей, много невзгод
Тебя в жизни, дитя, ожидает,
Спи же сладко, пока нет забот,
Пока сердце печали не знает.
    Спи в безмолвье ночном
    Крепким, сладостным сном,
Спи, не зная земного страданья.

Спи, пока еще спится тебе,
Ты еще непорочна душою,

Час пробьет неизбежной борьбе,
Мир греха овладеет тобою;
Злых сомнений недуг
Ты узнаешь, мой друг,
И настанет пора испытанья.

Спи же, милая, спи, почивай
Под аккорды моей серенады,
Пусть приснится тебе светлый рай,
Преисполненный вечной отрады,
Пусть твой сон и покой
В час безмолвный ночной
Нежных звуков лелеют лобзанья!

5 марта 1882
Палермо

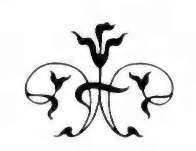
* * *

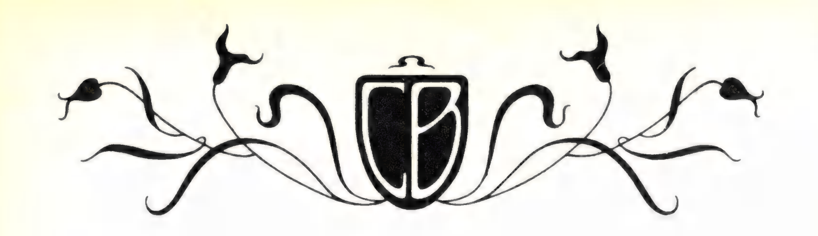
Растворил я окно, — стало грустно невмочь, —
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей —
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей,
Об отчизне я вспомнил далекой,

Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.

13 мая 1885





МИРРА ЛОХВИЦКАЯ

Песнь любви

Хотела б я свои мечты,
Желанья тайные и грезы
В живые обратить цветы,—
Но... слишком ярки были б розы!

Хотела б лиру я иметь
В груди, чтоб чувства, вечно юны,
Как песни, стали в нем звенеть,—
Но... порвались бы сердца струны!

Хотела б я в минутном сне
Изведать сладость наслажденья,—
Но... умереть пришлось бы мне,
Чтоб не дождаться пробужденья!

⟨1889⟩

Элегия

Я умереть хочу весной,
С возвратом радостного мая,
Когда весь мир передо мной
Воскреснет вновь, благоухая.

На всё, что в жизни я люблю,
Взглянув тогда с улыбкой ясной,
Я смерть свою благословлю —
И назову ее прекрасной.

5 марта 1893

* * *

Быть грозе! Я вижу это
В трепетанье тополей,
В тяжком зное полусвета,
В душном сумраке аллей.

В мощи силы раскаленной
Скрытых облаком лучей,
В поволоке утомленной
Дорогих твоих очей.

⟨1 февраля 1898⟩

* * *

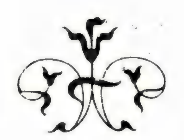
Во тьме кружится шар земной,
Залитый кровью и слезами,
Повитый смертной пеленой
И неразгаданными снами.

Мы долго шли сквозь вихрь и зной,
И загрубели наши лица.
Но лег за нами мрак ночной,
Пред нами — вспыхнула денница.

Чем ближе к утру — тем ясней,
Тем дальше сумрачные дали.
О, сонмы плачущих теней
Нечеловеческой печали!

Да, в вечность ввергнется тоска
Пред солнцем правды всемогущей.
За нами средние века.
Пред нами свет зари грядущей.

⟨1904⟩



К. ЛЬДОВ

* * *

Я не могу смотреть с улыбкою презренья
На этот грешный мир, мир будничных
забот, —
Я сам его дитя. Как в небе звездочет,
Ищу я на земле святого откровенья, —
И тайна бытия мучительно гнетет
Колеблющийся ум. Смущенною душою
Я чую истину, стараюсь уловить
Неведомой рукой запутанную нить, —
Но светоч то блеснет, то гаснет предо мною...
Зачем проходим мы ареною земною?
К чему шумливою толпой
Напрасно длим жестокий бой?..
И верить я хочу, что вековечный разум
Вселенной сходство дал с блистательным алмазом.
Явления на нем, как грани без числа,
В смешении добра и трепетного зла
Сливаются в одно прозрачное сиянье.

Алмазу нужен свет,— и чистое сознанье
Влечет мою мечту к престолу божества...
И, мнится, самый грех и самое страданье —
Всего лишь грани вещества.

⟨1890⟩

* * *

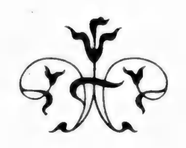
Среди волнений мимолетных
И мимолетной суеты
Ищу я призраков бесплотных
Невыразимой красоты.

Ее томительному чуду
Мой дух таинственно открыт,
Она мерцает отовсюду
И скорбный мир животворит.

Ее создания так зыбки,
Им чужды звучные слова,
В ее младенческой улыбке
Сквозит улыбка божества.

Какой напев, какие сказки,
Какие краски и черты
Передадут святые ласки
Невоплощенной красоты?

1897



ПЕТР ЯКУБОВИЧ

У сфинксов

Вот они... Дремлют, как встарь, над Невою...
Город вечерней окутался мглою,
Цепью бегут золотой огоньки,
Слышатся мощные всплески реки.

В маленькой шапочке, в кофточке тонкой,
Девушка, с обликом нежным ребенка,
В полосу света бесшумно вошла;
Юноша рядом — со взором орла.

В тень я укрылся за темным гранитом.
Влажного ветра порывом сердитым
Несколько слов до меня донесло.
Он говорил, улыбаясь светло:

«Нет, бескорыстные жертвы не тщетны!
Это сгущается мрак предрассветный,
Грозный девятый вздымается вал,—
Час избавленья желанный настал!..»

Дальше прошли — и в тумане пропали.
Смелые ж звуки всё будто дрожали,
Сфинксов будя очарованный сон,
В сердце моем отзываясь как стон.

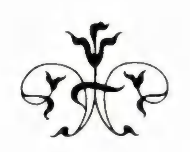
Вспыхнуло что-то во мраке душевном,
Бурно прошло дуновением гневным...
Словно вперед я сумел заглянуть —
В темную ночь, на грядущий их путь.

В чуждых, пустынных снегах утопая,
Стелется он без конца и без края...
Что там, вдали, так уныло звенит?
Что так душа безутешно болит?

В мертвом краю, в безотрадной разлуке,
Годы потянутся, полные муки,
Полные злобы, бессильных угроз,
Гибели всех упований и грез...

Холодно. Ветер сильнее. Сердито
Плещутся волны о глыбы гранита.
Газ в фонарях задрожал, зашипел...
— Сфинксы, откройте: где скорби предел?

1903



ОЛЬГА ЧЮМИНА

* * *

Неясные думы томят,
Неясные грезы всплывают
И вылиться в звуки хотят,
И звуки в душе замирают...

Мелькают в мозгу чередой
Обрывки каких-то видений,
Туманных, как пар над водой,
И грустных, как сумерек тени.

Чего-то далекого жаль,
К чему-то я рвуся тоскливо,
И — глубже на сердце печаль,
Яснее — бесплодность порыва.

И хочется страстно понять,
Что было досель непонятно,
Вернуть захотелось опять
Всё то, что ушло невозвратно.

1888

* * *

Когда посеяно зерно
Добра, и правды, и свободы —
Придет пора, и даст оно
    Благие всходы.

Когда от дальней суеты
Стремится дух в обитель света —
Влечет к святыне красоты
    Мечту поэта.

Когда сильней порывы бурь,
Когда кругом бушует вьюга —
Нам грезятся небес лазурь
    И зелень луга.

Когда упасть готовы мы,
Как срезанный на ниве колос,—
Нам часто слышится из тьмы
    Призывный голос.

И вновь — герои, не рабы —
Мы поднимаемся из праха
Для жизни новой, для борьбы,
    Не зная страха.

Пусть говорят: пророков нет
И к пониманью сердце глухо,—
Над миром злобы и сует
    Есть царство духа.

Есть царство света и добра;
Над ложью, призрачной и бледной,
Оно блеснет — придет пора —
    Зарей победной.

Ноябрь 1896

В тумане

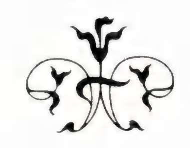
Густой туман, как саван желтоватый,
Над городом повис — ни ночь, ни день!
Свет фонарей — дрожащий, красноватый —
Могильную напоминает сень.

В тумане влажном сдавленно и глухо
Звучат шаги и голоса людей,
И позади тревожно ловит ухо
Горячее дыханье лошадей.

Под инеем — ряд призраков туманных —
Стоят деревья белые в саду;
Меж призраков таких же безымянных
В толпе людей я как во сне иду.

И хочется, как тяжкий сон кошмарный,
Тумана влажный саван отряхнуть,
Чтоб сумерки сменил день лучезарный
И ясно вновь могли мы видеть путь.

⟨1907⟩



АЛЕКСЕЙ БУДИЩЕВ

* * *

Ты как тень замерла на пороге,
Я иду — не могу не идти.
Видно, боги, всесильные боги,
Не хотят нас сегодня спасти!

Ты меня целый день избегала,
Я не шел, хоть горел как в огне...
О, какою ты бледною стала!
Эти слезы, зачем же оне?

Ты страдаешь? Мы оба преступны?
О, не мучь! О, ответь мне! Спаси!
Коль тебе эти чары доступны,
И любовь, как свечу, загаси!

Иль не надо! Не надо, не надо
Ни мучительных слез, ни борьбы!
Пусть любви всепобедной отрада
Нам не даст убежать от судьбы!

Пусть грозы отшумевшей зарница
Озаряет сквозь кружево штор
Виноватые, бледные лица
И, как звезды, мерцающий взор!..

⟨1900⟩

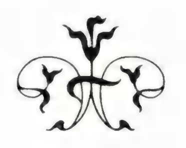
* * *

Только вечер затеплится синий,
Только звезды зажгут небеса
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса,

Отвори осторожно калитку
И войди в тихий садик, как тень,
Да надень потемнее накидку,
И чадру на головку надень.

Там, где гуще сплетаются ветки,
Я незримо, неслышно пройду
И на самом пороге беседки
С милых губок чадру отведу...

⟨1909⟩



ДАНИИЛ РАТГАУЗ

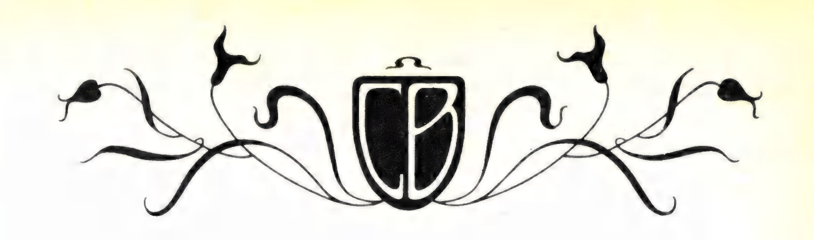
* * *

Мы сидели с тобой у заснувшей реки.
С тихой песней проплыли домой рыбаки.
Солнца луч золотой за рекой догорал.
И тебе я тогда ничего не сказал.

Загремело вдали, надвигалась гроза,
По ресницам твоим покатилась слеза.
И с безумным рыданьем к тебе я припал
И тебе ничего, ничего не сказал.

И теперь, в эти дни, я, как прежде, один,
Уж не жду ничего от грядущих годин.
В сердце жизненный звук уж давно отзвучал...
Ах, зачем я тебе ничего не сказал!

⟨1892⟩



Н. МИНСКИЙ

* * *

Как сон пройдут дела и помыслы людей.
Забудется герой, истлеет мавзолей,
        И вместе в общий прах сольются.
И мудрость, и любовь, и знанья, и права,
Как с аспидной доски ненужные слова,
        Рукой неведомой сотрутся.

И уж не те слова под тою же рукой —
Далеко от земли, застывшей и немой,
        Возникнут вновь загадкой бледной.
И снова свет блеснет, чтоб стать добычей тьмы,
И кто-то будет жить не так, как жили мы,
        Но так, как мы, умрет бесследно.

И невозможно нам предвидеть и понять,
В какие формы дух оденется опять,
        В каких созданьях воплотится.

Быть может, из всего, что будит в нас любовь,
На той звезде ничто не повторится вновь...
Но есть одно, что повторится.
Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном,—
Тоска неясная о чем-то неземном,
Куда-то смутные стремленья,
Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет
И жажда жгучая святынь, которых нет,—
Одно лишь это чуждо тленья.

В каких бы образах и где бы средь миров
Ни вспыхнул мысли свет, как луч средь облаков,
Какие б существа ни жили,—
Но будут рваться вдаль они, подобно нам,
Из праха своего к несбыточным мечтам,
Грустя душой, как мы грустили.

И потому не тот бессмертен на земле,
Кто превзошел других в добре или во зле,
Кто славы хрупкие скрижали
Наполнил повестью, бесцельною, как сон,
Пред кем толпы людей — такой же прах, как он,—
Благоговели иль дрожали.

Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещился вдали —
Несуществующий и вечный,
Кто цели неземной так жаждал и страдал,
Что силой жажды сам мираж себе создал
Среди пустыни бесконечной.

⟨1887⟩

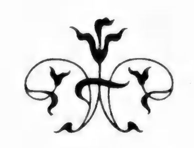
Гимн Интернационала

Воспрянь для жизни из могилы,
Толпа голодная рабов.
Подземные грохочут силы,
Мир скоро дрогнет до основ.

Сотрем всё прошлое бесследно,
Спалим, не сжалясь ни над чем,
Изменим всё в борьбе победной,
Сегодня мы ничто, а завтра будем всем.

Сегодня мы восстали,
Но завтра кончен бой.
В Интернационале
Сольется род людской.

1905?



ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

* * *

Земля-владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.

В полуденных лучах такою негой жгучей
Сходила благодать сияющих небес,
И блеску тихому несли привет певучий
И вольная река, и многошумный лес.

И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
Земной души со светом неземным,
И от огня любви житейское страданье
Уносится, как мимолетный дым.

1886

* * *

Бедный друг! истомил тебя путь,
Темен взор, и венок твой измят,
Ты войди же ко мне отдохнуть.
Потускнел, догорая, закат.

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

Смерть и Время царят на земле,—
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

1887

Панмонголизм

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно.

Когда в растленной Византии
Остыл Божественный алтарь
И отреклися от Мессии
Иерей и князь, народ и царь,—

Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И всё твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.

Пусть так! Орудий Божьей кары
Запас еще не истощен.

Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.

От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

1 октября 1894

* * *

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

⟨1895⟩

Das Ewig-Weibliche [1]

Слово увещательное к морским чертям

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я — они уже там!

Ясно, что черти хотят моей смерти,
Как и по чину прилично чертям.
Бог с вами, черти! Однако, поверьте,
Вам я себя на съеденье не дам.

Лучше вы сами послушайтесь слова,—
Доброе слово для вас я припас:
Божьей скотинкою сделаться снова,
Милые черти, зависит от вас.

Помните ль вы, как у этого моря,
Там, где стоял Амафунт и Пафос,
Первое в жизни нежданное горе
Некогда вам испытать довелось?

Помните ль розы над пеною белой,
Пурпурный отблеск в лазурных волнах?
Помните ль образ прекрасного тела,
Ваше смятенье, и трепет, и страх?

Та красота своей первою силой,
Черти, недолго была вам страшна;
Дикую злобу на миг укротила,
Но покорить не умела она.

В ту красоту, о коварные черти,
Путь себе тайный вы скоро нашли,
Адское семя растленья и смерти
В образ прекрасный вы сеять могли.

Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.

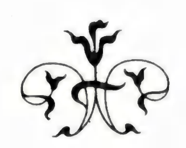
[1] Вечная Женственность *(нем.)*.— *Ред.*

Всё, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей, —
Всё совместит красота неземная
Чище, сильней, и живей, и полней.

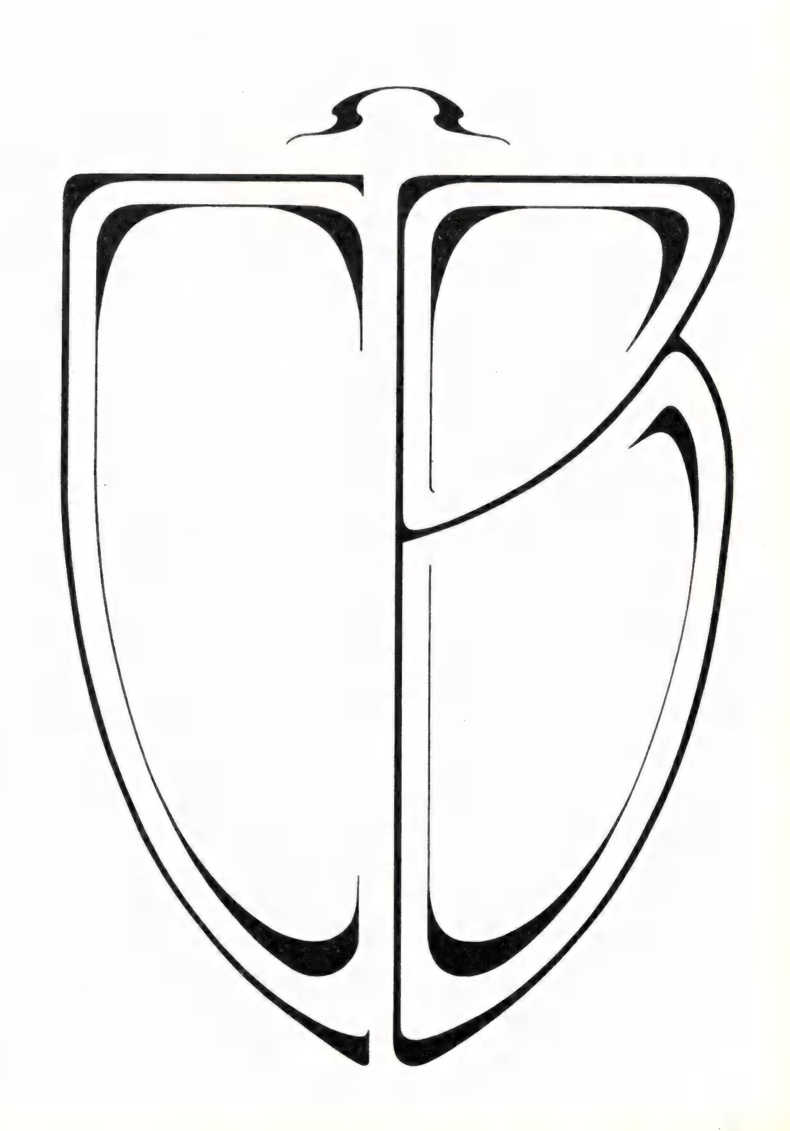
К ней не ищите напрасно подхода!
Умные черти, зачем же шуметь?
То, чего ждет и томится природа,
Вам не замедлить и не одолеть.

Гордые черти, вы всё же мужчины —
С женщиной спорить не честь для мужей.
Ну хоть бы только для этой причины,
Милые черти, сдавайтесь скорей!

8—11 апреля 1898
Архипелаг



Символисты



Дмитрий Мережковский

Зинаида Гиппиус

Федор Сологуб

Иннокентий Анненский

Поликсена Соловьева

Иван Лялечкин

Иван Коневской

Александр Добролюбов

Александр Блок

Вячеслав Иванов

Андрей Белый

Георгий Чулков

Леонид Семенов

Владимир Пяст

Вильгельм Зоргенфрей

Елизавета Кузьмина-Караваева

Александр Кондратьев

Юрий Верховский

Василий Гиппиус

Алексей Скалдин

Владимир Гиппиус

Виктор Гофман

Дмитрий Святополк-Мирский

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ

Сакья-Муни

По горам, среди ущелий темных,
Где ревел осенний ураган,
Шла в лесу толпа бродяг бездомных
К водам Ганга из далеких стран.
Под лохмотьями худое тело
От дождя и ветра посинело,
Уж они не видели два дня
Ни приютной кровли, ни огня.
Меж дерев во мраке непогоды
Что-то там мелькнуло на пути;
Это храм — они вошли под своды,
Чтобы в нем убежище найти.
Перед ними на высоком троне —
Сакья-Муни, каменный гигант.
У него в порфировой короне —
Исполинский чудный бриллиант.
Говорит один из нищих: «Братья,
Ночь темна, никто не видит нас,
Много хлеба, серебра и платья
Нам дадут за дорогой алмаз.

Он не нужен Будде: светят краше
У него, царя небесных сил,
Груды бриллиантовых светил
В ясном небе, как в лазурной чаше...»
Подан знак, и вот уж по земле
Воры тихо крадутся во мгле.
Но когда дотронуться к святыне
Трепетной рукой они хотят,—
Вихрь, огонь и громовой раскат,
Повторенный откликом в пустыне,
Далеко откинул их назад.
И от страха всё окаменело,—
Лишь один — спокойно-величав —
Из толпы вперед выходит смело,
Говорит он Богу: «Ты не прав!
Или нам жрецы твои солгали,
Что ты кроток, милостив и благ,
Что ты любишь утолять печали
И, как солнце, побеждаешь мрак?
Нет, ты мстишь нам за ничтожный камень,
Нам, в пыли простертым пред тобой,
Но, как ты, с бессмертною душой!
Что за подвиг сыпать гром и пламень
Над бессильной, жалкою толпой,
О, стыдись, стыдись, владыка неба,
Ты воспрянул — грозен и могуч,—
Чтоб отнять у нищих корку хлеба!
Царь царей, сверкай из темных туч,
Грянь в безумца огненной стрелою,—
Я стою как равный пред тобою
И, высоко голову подняв,
Говорю пред небом и землею:
Самодержец мира, ты не прав!»
Он умолк, и чудо совершилось:
Чтобы снять алмаз они могли,
Изваянье Будды преклонилось
Головой венчанной до земли,
На коленях, кроткий и смиренный,
Пред толпою нищих царь вселенной,
Бог, великий Бог, лежал в пыли!

1885

Дон-Кихот

Шлем — надтреснутое блюдо,
Щит — картонный, панцирь жалкий...
В стременах висят, качаясь,
Ноги тощие, как палки.

Для него хромая кляча —
Конь могучий Росинанта,
Эти мельничные крылья —
Руки мощного гиганта.

Видит он в таверне грязной
Роскошь царского чертога,
Слышит в дудке свинопаса
Звук серебряного рога.

Санхо Панца едет рядом;
Гордый вид его серьезен:
Как прилично копьеносцу,
Он величествен и грозен.

В красной юбке, в пятнах дегтя,
Там, над кучами навоза,—
Эта царственная дама —
Дульцинея де Тобозо...

Страстно, с юношеским жаром
Он в толпе крестьян голодных
Вместо хлеба рассыпает
Перлы мыслей благородных:

«Люди добрые, ликуйте,
Наступает праздник вечный:
Мир не солнцем озарится,
А любовью бесконечной...

Будут все равны; друг друга
Перестанут ненавидеть;
Ни алькады, ни бароны
Не посмеют вас обидеть.

Пойте, братья, гимн победный!
Этот меч несет свободу,
Справедливость и возмездье
Угнетенному народу!»

Из приходской школы дети
Выбегают, бросив книжки,
И хохочут, и кидают
Грязью в рыцаря мальчишки.

Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется;
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.

И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.

Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу,
И с восторгом машет бритвой
И кричит он Дон-Кихоту:

«Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!..»
И, не в силах кончить фразы,
Задыхается от смеха.

Он не чувствует, не видит
Ни насмешек, ни презренья:
Кроткий лик его так светел,
Очи — полны вдохновенья.

Он смешон, но сколько детской
Доброты в улыбке нежной
И в лице, простом и бледном,
Сколько веры безмятежной!

И любовь и вера святы,
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты!

1887

Возвращение

О, березы, даль немая,
Грустные поля...
Это ты, моя родная,
Бедная земля!
Непокорный сын, к чужбине,
К воле я ушел,
Но и там в моей кручине
Я тебя нашел.
Там у моря голубого,
У чужих людей
Полюбил тебя я снова
И еще сильней.
Нет! Не может об отчизне
Сердце позабыть,
Край родной, мне мало жизни,
Чтоб тебя любить!..
Теплый вечер догорает
Полный тихих грез,
Но заря не умирает
Меж ветвей берез.
Милый край, с улыбкой ясной
Я умру, как жил,
Только б знать, что не напрасно
Я тебя любил!

1881

Леонардо да Винчи

О Винчи, ты во всем — единый:
Ты победил старинный плен.
Какою мудростью змеиной
Твой страшный лик запечатлен!
Уже, как мы, разнообразный,
Сомненьем дерзким ты велик.
Ты в глубочайшие соблазны
Всего, что двойственно, проник.
И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль
Полуязыческие жены,—
И не безгрешна их печаль.

Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О Леонардо, ты — предвестник
Еще неведомого дня.
Смотрите вы, больные дети
Больных и сумрачных веков:
Во мраке будущих столетий
Он, непонятен и суров,
Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.

1895

Дети ночи

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Мы неведомое чуем.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы.
Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем,
Свет увидим, и как тени
Мы в лучах его умрем.

1896

Детское сердце

Я помню, как в детстве нежданную сладость
Я в горечи слез находил иногда,
И странную негу, и новую радость —
В мученье последних обид и стыда.

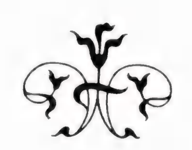
В постели я плакал, припав к изголовью;
И было прощением сердце полно,
Но все ж не людей — бесконечной любовью
Я Бога любил и себя, как одно.

И словно незримый слетал утешитель
И с ласкою тихой склонялся ко мне;
Не знал я, то мать или ангел-хранитель,
Ему я, как ей, улыбался во сне.

В последней обиде, в предсмертной пустыне,
Когда и в тебе изменяет мне всё,
Не ту же ли сладость находит и ныне
Покорное, детское сердце мое?

Безумье иль мудрость,— не знаю, но чаще,
Всё чаще той сладостью сердце полно,
И так,— что чем сердцу больнее, тем слаще,
И Бога люблю и себя, как одно.

16 августа 1900 г.



ЗИНАИДА ГИППИУС

Песня

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.

И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным...
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...

И это желанье не знаю откуда
Пришло, откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.

Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

1893

Посвящение

Небеса унылы и низки,
Но я знаю — дух мой высок.
Мы с тобой так странно близки,
И каждый из нас одинок.

Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет.
Но люблю я себя, как Бога,—
Любовь мою душу спасет.

Если я на пути устану,
Начну малодушно роптать,
Если я на себя восстану
И счастья осмелюсь желать,—

Не покинь меня без возврата
В туманные, трудные дни.
Умоляю, слабого брата
Утешь, пожалей, обмани.

Мы с тобою единственно близки,
Мы оба идем на восток.
Небеса злорадны и низки,
Но я верю — дух наш высок.

1894

Петербург

Сергею Платоновичу Каблукову

«Люблю тебя, Петра творенье...»

Твой остов прям, твой облик жёсток,
Шершавопыльный — сер гранит,
И каждый зыбкий перекрёсток
Тупым предательством дрожит.

Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь:
Твое дыханье — смерть и тленье,
А воды — горькая полынь.

Как уголь дни,— а ночи белы,
Из скверов тянет трупной мглой.
И свод небесный, остеклелый,
Пронзен заречною иглой.

Бывает: водный ход обратен,
Вздыбясь, идет река назад...
Река не смоет рыжих пятен
С береговых своих громад,

Те пятна, ржавые, вкипели,
Их не забыть, не затоптать...
Горит, горит на темном теле
Неугасимая печать!

Как прежде, вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь...
И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь,—

Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг!
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

1909. СПБ.

14 декабря

Ужель прошло — и нет возврата?
В морозный день, в заветный час,
Они, на площади Сената,
Тогда сошлися в первый раз.

Идут навстречу упованью,
К ступеням Зимнего Крыльца...
Под тонкою мундирной тканью
Трепещут жадные сердца.

Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер,
Но был погашен их же кровью
Освободительный костер.

Минули годы, годы, годы...
А мы всё там, где были вы.
Смотрите, первенцы свободы:
Мороз на берегах Невы!

Мы — ваши дети, ваши внуки...
У неоправданных могил
Мы корчимся всё в той же муке,
И с каждым днем всё меньше сил.

И в день декабрьской годовщины
Мы тени милые зовем.
Сойдите в смертные долины,
Дыханьем вашим — оживем.

Мы, слабые,— вас не забыли,
Мы восемьдесят страшных лет
Несли, лелеяли, хранили
Ваш ослепительный завет.

И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!

14 декабря 1909. СПБ.

Непредвиденное

По Слову Извечно-Сущего
Бессменен поток времен.
Чую лишь ветер грядущего,
Нового мига звон.

С паденьем идет, с победою?
Оливу несет иль меч?
Лика его я не ведаю,
Знаю лишь ветер встреч.

Летят нездешними птицами
В кольцо бытия, вперед,
Миги с закрытыми лицами...
Как удержу их лёт?

И в тесности, в перекрестности,—
Хочу, не хочу ли я —
Черную топь неизвестности
Режет моя ладья.

1913

«Петроград»

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?

Не мы, не мы... Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся да чьи-то ризы делят,
И всё дрожат за свой последний час.

Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора...
Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
С предателями предали Петра.

Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?

Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей
Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,
Всё тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, —
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

14 декабря 14

«Свободный» стих

Приманной легкостью играя,
Зовет, влечет свободный стих.
И соблазнил он, соблазняя,
Ленивых, малых и простых.

Сулит он быстрые ответы
И достиженья без борьбы.
За мной! За мной! И вот поэты —
Стиха свободного рабы.

Они следят его извивы,
Сухую ломкость, скрип углов,
Узор пятнисто-похотливый
Икающих и пьяных слов...

Немало слов с подолом грязным
Войти боялись... А теперь
Каким ручьем однообразным
Втекают в сломанную дверь!

Втекли, вшумели и врылились...
Гогочет уличная рать.
Что ж! Вы недаром покорились:
Рабы не смеют выбирать.

Без утра пробил час вечерний,
И гаснет серая заря...
Вы отданы на по́смех черни
Коварной волею царя!

. . . .
А мне — лукавый стих угоден.
Мы с ним веселые друзья.
Живи, свободный! Ты свободен —
Пока на то изволю я.

Пока хочу — играй, свивайся
Среди ухабов и низин.
Звени, тянись и спотыкайся,
Но помни: я твой властелин.

И чуть запросит сердце тайны,
Напевных рифм и строгих слов —
Ты в хор вольешься неслучайный
Созвучно-длинных, стройных строф.

Многоголосы, тугозвонны,
Они полетны и чисты —
Как храма белого колонны,
Как неба снежного цветы.

1915

Юный март

«Allons, enfants, de la patrie...»

Пойдем на весенние улицы,
Пойдем в золотую метель.
Там солнце со снегом целуется
И льет огнерадостный хмель.

По ветру, под белыми пчелами,
Взлетает пылающий стяг.
Цвети меж домами веселыми
Наш гордый, наш мартовский мак!

Еще не изжито проклятие,
Позор небывалой войны,
Дерзайте! Поможет нам снять его
Свобода великой страны.

Пойдем в испытания встречные,
Пока не опущен наш меч.
Но свяжемся клятвой навечною
Весеннюю волю беречь!

8 марта 17

Почему

О Ирландия, океанная,
Мной не виденная страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?

Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал...
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал?

Как я помню зори надпенные?
В черной алости чаек стон?
Или памятью мира пленною
Прохожу я сквозь ткань времен?

О Ирландия неизвестная!
О Россия, моя страна!
Не единая ль мука крестная
Всей Господней земле дана?

Сентябрь 1917

Гибель

Близки́
кровавые зрачки,
дымящаяся пеной пасть...
Погибнуть? Пасть?

Что́ — мы?
Вот хруст костей... вот молния сознанья
перед чертою тьмы...
И — перехлест страданья...

Что́ мы! Но — Ты?
Твой образ гибнет... Где Ты?
В сияние одетый,
бессильно смотришь с высоты?

Пускай мы тень.
Но тень от Твоего Лица!
Ты вдунул Дух — и вынул?

Но мы придем в последний день,
мы спросим в день конца,—
за что Ты нас покинул?

4 сентября 1917

Веселье

Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил — засек кнутом?

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

29 октября 17

Сейчас

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно жить!

Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.

Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.

Столпы, радетели, водители
Давно в бегах.
И только вьются соглаcатели
В своих Це-ках.

Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель — пути...

9 ноября 17

У. С.

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание,—
Учредительное Собрание,—
Что мы с ним сделали?..

12 ноября 1917

14 декабря 17 года

Д. Мережковскому

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.

Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.

Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И наворованном вине.

Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!

Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!

И вот из рва, из терпкой муки,
Где по́ дну вьется рабий дым,
Дрожа протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.

К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть — или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!

Так есть

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Февраль 1918

Имя

Безумные годы совьются во прах,
Утонут в забвенье и дыме.
И только одно сохранится в веках
Святое и гордое имя.

Твое, возлюбивший до смерти, твое,
Страданьем и честью венчанный,
Проколет, прорежет его острие
Багровые наши туманы.

От смрада клевет — не угаснет огонь,
И лавр на челе не увянет.

Георгий, Георгий! Где верный твой конь?
Георгий святой не обманет.

Он близко! Вот хруст перепончатых крыл
И брюхо разверстое Змия...
Дрожи, чтоб Святой и тебе не отмстил
Твое блудодейство, Россия!

Апрель 1918

Дверь

Мы, умные,— безумны,
Мы, гордые,— больны,
Растленной язвой чумной
Мы все заражены.

От боли мы безглазы,
А ненависть — как соль,
И ест, и травит язвы,
Ярит слепую боль.

О черный бич страданья!
О ненависти зверь!
Пройдем ли — Покаянья
Целительную дверь?

Замки ее суровы
И створы тяжелы...
Железные засовы,
Медяные углы...

Дай силу не покинуть,
Господь, пути Твои!
Дай силу отодвинуть
Тугие вереи!

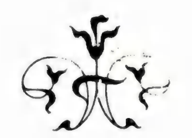
Февраль 1918

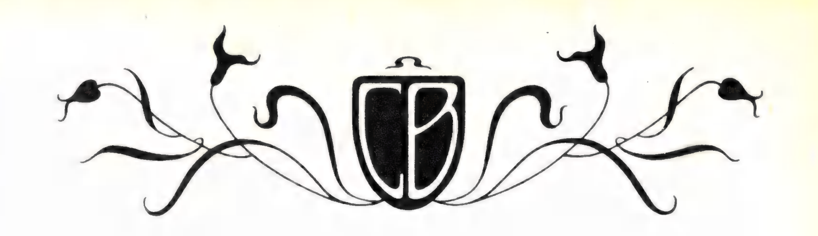
Нет

Она не погибнет,— знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся,— верьте!—
Поля ее золотые.

И мы не погибнем,— верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасется,— знайте!
И близко ее воскресенье.

Февраль 18





ФЕДОР СОЛОГУБ

Всё, во всём

Если кто-нибудь страдает,
Если кто-нибудь жесток,
Если в полдень увядает
Зноем сгубленный цветок,—

В сердце болью отзовется
Их погибель и позор,
И страданием зажжется
Опечаленный мой взор:

Потому что нет иного
Бытия, как только я;
Радость счастья голубого
И печаль томленья злого,
Всё, во всём душа моя.

5 августа 1896

* * *

Я — бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.
Не сотворю себе кумира
Ни на земле, ни в небесах.

Моей божественной природы
Я не открою никому.
Тружусь, как раб, а для свободы
Зову я ночь, покой и тьму.

28 октября 1896

* * *

Живы дети, только дети,—
Мы мертвы, давно мертвы.
Смерть шатается на свете
И махает, словно плетью,
Уплетенной туго сетью
Возле каждой головы.

Хоть и даст она отсрочку —
Год, неделю или ночь,
Но поставит всё же точку
И укатит в черной тачке,
Сотрясая в дикой скачке,
Из земного мира прочь.

Торопись дышать сильнее,
Жди — придет и твой черед.
Задыхайся, цепенея,
Леденея перед нею.
Срок пройдет — подставишь шею,—
Ночь, неделя или год.

15 апреля 1897

* * *

Недотыкомка серая
Всё вокруг меня вьется да вертится,—
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?

Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою,—
Помоги мне, таинственный друг!

Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.

Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим.

1 октября 1899

* * *

Плеснула рыбка над водой,
И покачнулась там звезда.
Песок холодный и сырой,
А в речке теплая вода.

Но я купаться подожду,
Слегка кружится голова,—
Сперва я берегом пройду.
Какая мокрая трава!

И как не вздрогнуть, если вдруг
Лягушка прыгнет стороной
Иль невзначай на толстый сук
Наступишь голою ногой!

Я не боюсь, но не пойму,
Зачем холодная трава,
И темный лес, и почему
Так закружилась голова.

22 ноября 1899
Миракс

Гимны родине

1

О Русь! в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!

Твоих равнин немые дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышат небеса,
Среди болот, в бессилье хилом,
Цветком поникшим и унылым,
Восходит бледная краса.

Твои суровые просторы
Томят тоскующие взоры
И души, полные тоской.
Но и в отчаянье есть сладость.
Тебе, отчизна, стон и радость,
И безнадежность, и покой.

Милее нет на свете края,
О Русь, о родина моя.
Тебе, в тоске изнемогая,
Слагаю гимны я.

6 апреля 1903

2

Люблю я грусть твоих просторов,
Мой милый край, святая Русь.
Судьбы унылых приговоров
Я не боюсь и не стыжусь.

И все твои пути мне милы,
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы,
Я не хочу с него свернуть.

Не заклинаю духа злого,
И, как молитву наизусть,
Твержу всё те ж четыре слова:
«Какой простор! Какая грусть!»

8 апреля 1903

3

Печалью, бессмертной печалью,
Родимая дышит страна.
За далью, за синею далью,
Земля весела и красна.

Свобода победы ликует
В чужой лучезарной дали,
Но русское сердце тоскует
Вдали от родимой земли.

В безумных, напрасных томленьях
Томясь, как заклятая тень,
Тоскует о скудных селеньях,
О дыме родных деревень.

10 апреля 1903

Швея

Нынче праздник. За стеною
Разговор веселый смолк.
Я одна с моей иглою,
Вышиваю красный шелк.

Все ушли мои подруги
На веселый свет взглянуть,
Скоротать свои досуги,
Забавляясь как-нибудь.

Мне веселости не надо.
Что мне шум и что мне свет!
В праздник вся моя отрада,
Чтоб исполнить мой обет.

Всё, что юность мне сулила,
Всё, чем жизнь меня влекла,
Всё судьба моя разбила,
Всё коварно отняла.

«Шей нарядные одежды
Для изнеженных госпож!
Отвергай свои надежды!
Проклинай их злую ложь!»

И в покорности я никла,
Трепетала, словно лань,
Но зато шептать привыкла
Слово гордое: восстань!

Белым шелком красный мечу,
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Рати вражеской и злой.

5 августа 1905

Земле

В блаженном пламени восстанья
Моей тоски не утоля,
Спешу сказать мои желанья
    Тебе, моя земля.

Производительница хлеба,
Разбей оковы древних меж
И нас, детей святого Феба,
Простором вольности утешь.

Дыханьем бури беспощадной,
Пожаром ярым уничтожь
Заклятья собственности жадной,
Заветов хитрых злую ложь.

Идущего за тяжким плугом
Спаси от долга и от клятв,
И озари его досугом
За торжествами братских жатв.

И засияют светлой волей
Труда и сил твои поля
Во всей безгранности раздолий
    Твоих, моя земля.

20 ноября 1905

Чертовы качели

В тени косматой ели
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.

Качает и смеется,
    Вперед, назад,
    Вперед, назад.
Доска скрипит и гнется,
О сук тяжелый трется
Натянутый канат.

Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом,
Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь,
    Вперед, назад,
    Вперед, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.

Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».

В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
«Попался на качели,
Качайся, черт с тобой».

Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки,

Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.

Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Всё выше, выше... ах!

14 июня 1907

* * *

Стихия Александра Блока —
Метель, взвивающая снег.
Как жуток зыбкий санный бег
В стихии Александра Блока.
Несемся — близко иль далёко?—
Во власти цепенящих нег.
Стихия Александра Блока —
Метель, взвивающая снег.

28 декабря 1913
Петербург

На Волге

Плыву вдоль волжских берегов,
Гляжу в мечтаньях простодушных
На бронзу яркую лесов,
Осенней прихоти послушных.

И тихо шепчет мне мечта:
«Кончая век, уже недолгий,
Приди в родимые места
И догорай над милой Волгой».

И улыбаюсь я, поэт,
Мечтам сложивший много песен,
Поэт, которому весь свет
Для песнопения стал тесен.

Скиталец вечный, ныне здесь,
А завтра там, опять бездомный,
Найду ли кров себе и весь,
Где положу мой посох скромный?

21 сентября 1915
Волга. Кострома — Нагорево

* * *

Тяжелый и разящий молот
На ветхий опустился дом.
Надменный свод его расколот,
И разрушенье словно гром.

Все норы самовластных таин
Раскрыл ликующий поток,
И если есть меж нами Каин,
Бессилен он и одинок.

И если есть средь нас Иуда,
Бродящий в шорохе осин,
То и над ним всевластно чудо,
И он мучительно один.

Восторгом светлым расторгая
Змеиный ненавистный плен,
Соединенья весть благая
Создаст ограды новых стен.

В соединении — строенье,
Великий подвиг бытия.
К работе бодрой станьте, звенья
Союзов дружеских куя.

Назад зовущим дети Лота
Напомнят горькой соли столп.
Нас ждет великая работа
И праздник озаренных толп.

И наше новое витийство,
Свободы гордость и оплот,
Не на коварное убийство —
На подвиг творческий зовет.

Свободе ль трепетать измены?
Дракону злому время пасть.
Растают брызги мутной пены,
И только правде будет власть!

15 марта 1917

* * *

Сквозь туман едва заметный
Тихо блещет Кострома,
Словно Китеж, град заветный,—
Храмы, башни, терема.

Кострома — воспоминанья,
Исторические сны,
Легендарные сказанья,
Голос русской старины,

Уголок седого быта,
Новых фабрик и купцов,
Где так много было скрыто
Чистых сил и вещих снов.

В золотых венцах соборов,
Кострома, светла, бела,
В дни согласий и раздоров
Былью русскою жила.

Но от этой были славной
Сохранила что она?
Как в Путивле Ярославна,
Ждет ли верная жена?

5—22 июля 1920
Княжнино

* * *

Любви неодолима сила.
Она не ведает преград,
И даже то, что смерть скосила,
Любовный воскрешает взгляд.

Светло ликует Евридика,
И ад ее не полонит,
Когда багряная гвоздика
Ей близость друга возвестит,

И не замедлит на дороге,
И не оглянется Орфей,

Когда в стремительной тревоге
С земли нисходит он за ней.

Не верь тому, что возвестили
Преданья темной старины,
Что есть предел любовной силе,
Что ей ущербы суждены.

Хотя лукавая Психея
Запрету Бога не вняла
И жаркой струйкою елея
Плечо Амуру обожгла,

Не улетает от Психеи
Крылатый бог во тьме ночей.
С невинной белизной лилеи
Навеки сочетался змей.

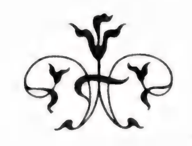
Любви неодолима сила.
Она не ведает преград.
Ее и смерть не победила,
Земной не устрашает ад.

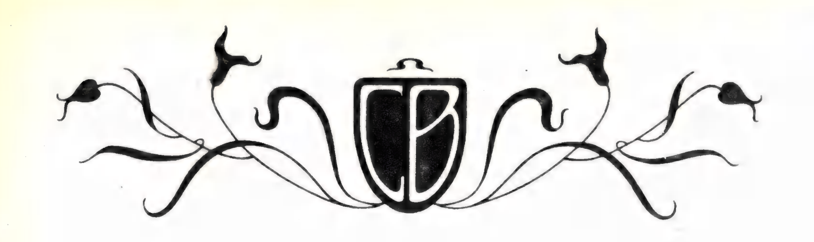
Альдонса грубая сгорает,
Преображенная в любви,
И снова Дон-Кихот вещает:
«Живи, прекрасная, живи!»

И возникает Дульцинея,
Горя, как юная заря,
Невинной страстью пламенея,
Святой завет любви творя.

Не верь тому, что возвестили
Преданья, чуждые любви.
Слагай хвалы державной силе
И мощь любви благослови.

3 мая 1921





ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Среди миров

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

1901

Который?

Когда на бессонное ложе
Рассыплются бреда цветы,
Какая отвага, о боже,
Какие победы мечты!..

Откинув докучную маску,
Не чувствуя уз бытия,
В какую волшебную сказку
Вольется свободное *я!*

Там всё, что на сердце годами
Пугливо таил я от всех,
Рассыплется ярко звездами,
Прорвется, как дерзостный смех...

Там в дымных топазах запястий
Так тихо мне Ночь говорит;
Нездешней мучительной страсти
Огнем она черным горит...

Но я... безучастен пред нею
И нем, и недвижим лежу...
. . . .
На сердце ее я, бледнея,
За розовой раной слежу,

За розовой раной тумана,
И пьяный от призраков взор
Читает там дерзость обмана
И сдавшейся мысли позор.

. . . .
О царь Недоступного Света,
Отец моего бытия,
Открой же хоть сердцу поэта,
Которое создал ты *я*.

Листы

На белом небе всё тусклей
Златится горняя лампада,
И в доцветании аллей
Дрожат зигзаги листопада.

Кружатся нежные листы
И не хотят коснуться праха...
О, неужели это ты,
Всё то же наше чувство страха?

Иль над обманом бытия
Творца веленье не звучало,
И нет конца и нет начала
Тебе, тоскующее *я?*

Идеал

Тупые звуки вспышек газа
Над мертвой яркостью голов,
И скуки черная зараза
От покидаемых столов,

И там, среди зеленолицых,
Тоску привычки затая,
Решать на выцветших страницах
Постылый ребус бытия.

В дороге

Перестал холодный дождь,
Сизый пар по небу вьется,
Но на пятна нив и рощ
Точно блеск молочный льется.

В этом чаянье утра́
И предчувствии мороза
Как у черного костра
Мертвы линии обоза!

Жеребячий дробный бег,
Пробы первых свистов птичьих,
И кошмары снов мужичьих
Под рогожами телег.

Тошно сердцу моему
От одних намеков шума:
Всё бы молча в полутьму
Уводила думу дума.

Не сошла и тень с земли,
Уж в дыму овины тонут,

И с бадьями журавли [1],
Выпрямляясь, тихо стонут.

Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть...

Третий мучительный сонет

Строфы

Нет, им не суждены краса и просветленье;
Я повторяю их на память в полусне,
Они — минуты праздного томленья,
Перегоревшие на медленном огне.

Но всё мне дорого — туман их появленья,
Их нарастание в тревожной тишине,
Без плана, вспышками идущее сцепленье:
Мое мучение и мой восторг оне.

Кто знает, сколько раз без этого запоя,
Труда кошмарного над грудою листов,
Я духом пасть, увы! я плакать был готов,
Среди неравного изнемогая боя;

Но я люблю стихи — и чувства нет святей:
Так любит только мать, и лишь больных детей.

Сиреневая мгла

Наша улица снегами залегла,
По снегам бежит сиреневая мгла.

Мимоходом только глянула в окно,
И я понял, что люблю ее давно.

Я молил ее, сиреневую мглу:
«Погости-побудь со мной в моем углу,

[1] На колодцах.

Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!»

Но лишь издали услышал я ответ:
«Если любишь, так и сам отыщешь след,

Где над омутом синеет тонкий лед,
Там часочек погощу я, кончив лёт,

А у печки-то никто нас не видал...
Только те мои, кто волен да удал».

Свечку внесли

Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?

С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.

И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле приник,
Заставляя далекое слушать.

Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.

Смычок и струны

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет!
И не узнать при свете струны!

Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.

«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали.

«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно?..»
И скрипка отвечала *да*,
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок всё понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось...
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
На черном бархате постели.

Старая шарманка

Небо нас совсем свело с ума:
То огнем, то снегом нас слепило,
И, ощерясь, зверем отступила
За апрель упрямая зима.

Чуть на миг сомлеет в забытьи —
Уж опять на брови шлем надвинут,
И под наст ушедшие ручьи,
Не допев, умолкнут и застынут.

Но забыто прошлое давно,
Шумен сад, а камень бел и гулок,
И глядит раскрытое окно,
Как трава одела закоулок.

Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленье мая

Всё никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая.

И никак, цепляясь, не поймет
Этот вал, что ни к чему работа,
Что обида старости растет
На шипах от муки поворота.

Но когда б и понял старый вал,
Что такая им с шарманкой участь,
Разве б петь, кружась, он перестал
Оттого, что петь нельзя, не мучась?..

Аметисты

Когда, сжигая синеву,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцание свечи
Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша *связь*,
А лучезарное *слиянье*...

Мучительный сонет

Едва пчелиное гуденье замолчало,
Уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
Тревожной пустоте оконченного дня?

Мне нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало,
И чтобы прядь волос так близко от меня,
Так близко от меня, развившись, трепетала.

Мне надо дымных туч с померкшей высоты,
Круженья дымных туч, в которых нет былого,
Полузакрытых глаз и музыки мечты,
И музыки мечты, еще не знавшей слова...

О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!

Бронзовый поэт

На синем куполе белеют облака,
И четко ввысь ушли кудрявые вершины,
Но пыль уж светится, а тени стали длинны,
И к сердцу призраки плывут издалека.

Не знаю, повесть ли была так коротка,
Иль я не дочитал последней половины?..
На бледном куполе погасли облака,
И ночь уже идет сквозь черные вершины...

И стали — и скамья и человек на ней
В недвижном сумраке тяжеле и страшней.
Не шевелись — сейчас гвоздики засверкают,

Воздушные кусты сольются и растают,
И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнет,
С подставки на траву росистую спрыгнёт.

Прелюдия

Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом
Она дает гореть, дает светиться думам.
Тревога, а не мысль растет в безлюдной мгле,
И холодно цветам ночами в хрустале.
Но в праздности моей рассеяны мгновенья,
Когда мучительно душе прикосновенье,
И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
Как спичку на ветру, загородив рукой...
Пусть это только миг... В тот миг меня
не трогай,
Я ощупью иду тогда своей дорогой...

Мой взгляд рассеянный в молчанье заприметь
И не мешай другим вокруг меня шуметь.
Так лучше. Только бы меня не замечали
В тумане, может быть, и творческой печали.

Петербург

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале,—
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.

* * *

Когда б не смерть, а забытье,
Чтоб ни движения, ни звука...
Ведь если вслушаться в нее,
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука.

Иль я не с вами таю, дни?
Не вяну с листьями на кленах?
Иль не мои умрут огни
В слезах кристаллов растопленных?

Иль я не весь в безлюдье скал
И черном нищенстве березы?
Не весь в том белом пухе розы,
Что холод утра оковал?

В дождинках этих, что нависли,
Чтоб жемчугами ниспадать?..
А мне, скажите, в муках мысли
Найдется ль сердце сострадать?

Л. И. Микулич

Там на портретах строги лица,
И тонок там туман седой,
Великолепье небылицы
Там нежно веет резедой.
Там нимфа с таицкой водой,
Водой, которой не разлиться,
Там стала лебедем Фелица
И бронзой Пушкин молодой.

Там воды зыблются светло,
И гордо царствуют березы,
Там были розы, были розы,
Пускай в поток их унесло.
Там всё, что навсегда ушло,
Чтоб навевать сиреням грезы.
. . . .
Скажите: «Царское Село» —
И улыбнемся мы сквозь слезы.

Поэту

В раздельной четкости лучей
И в чадной слитности видений
Всегда над нами — власть вещей
С ее триадой измерений.

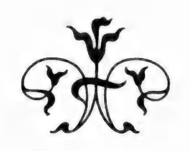
И грани ль ширишь бытия
Иль формы вымыслом ты множишь,
Но в самом *Я* от глаз — *Не Я*
Ты никуда уйти не можешь.

Та власть маяк, зовет она,
В ней сочетались Бог и тленность,
И перед нею так бледна
Вещей в искусстве прикровенность.

Нет, не уйти от власти их
За волшебством воздушных пятен,
Не глубиною манит стих,
Он лишь как ребус непонятен.

Краса открытого лица
Влекла Орфея пиериды.
Ужель достойны вы певца,
Покровы кукольной Изиды?

Люби раздельность и лучи
В рожденном ими аромате.
Ты чаши яркие точи
Для целокупных восприятий.



ПОЛИКСЕНА СОЛОВЬЕВА

Белая ночь

Земля не спит, напрасно ожидая
Объятий сумрака и нежной тишины;
Горит заря, полнеба обнимая;
Бредут толпой испуганные сны.

И всё живет какой-то жизнью ложной,
Успокоения напрасно жаждет взор,
Как будто ангел бледный и тревожный
Над миром крылья белые простер.

⟨1897⟩

Петербург

Город туманов и снов
Встает передо мною
С громадой неясною
Тяжких домов,
С цепью дворцов,
Отраженных холодной Невою.

Жизнь торопливо бредет
Здесь к цели незримой...
Я узнаю тебя с прежней тоской,
Город больной,
Неласковый город любимый!
Ты меня мучишь, как сон,
Вопросом несмелым...
Ночь, но мерцает зарей небосклон...
Ты весь побежден
Сумраком белым.

⟨1901⟩

Люди

Идут. Без веры и без воли.
Толпа проходит за толпой.
В улыбках столько скрытой боли,
И как рыданье — смех тупой.
Идут, идут, проходят мимо.
Бледнеют ночи, блекнут дни,
Надежды нет: неумолимо
Они и вместе — и одни.
И я один. Я не умею
Развеять этот тусклый чад.
Я воплотить в словах не смею
Того, о чем они молчат.
Гляжу в их лица долгим взглядом,
В душе от жалости светло,
Вот, мы близки... Но тех, кто рядом,
Жизнь разделяет, как стекло.
Разбить — нет сил. Неумолимо
Ползут, змеятся ночи, дни...
Проходят люди мимо, мимо,
Теснятся, падают... одни.

⟨1907⟩

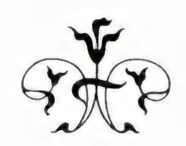
Пыль веков

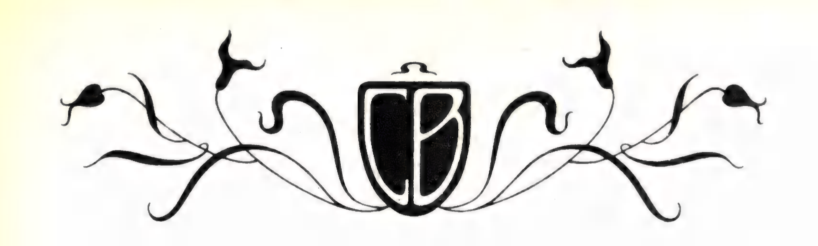
Ф. Сологубу

Моя душа вместить не в силах
Вечерних веяний тоски.

О неоплаканных могилах
Пустынно шепчут ей пески.
Об утомлении великом
Ей говорят кресты путей,
Пред ней невинно-страшным ликом
Встают страдания детей.
Каким смирю я заклинаньем
Рожденный от начала страх?
И утолю каким молчаньем
Весь крик, пронесшийся в веках?
К моим унывиям всё строже,
Как с ядовитых лепестков
Ты в душу мне свеваешь, Боже,
Всю скорбь земли, всю пыль веков!

1910
Коктебель





ИВАН ЛЯЛЕЧКИН

Осенний путь

Моросит. Мы едем рощей;
Едем две и три версты.
Вкруг берез кустарник тощий
Сыплет желтые листы.

И летят они за нами,
И догнать коней хотят,
Но, бессильные, коврами
Устилают землю в ряд.

Путь далек. Проедем снова
Мы не две, не три версты,
Злом гонимые сурово,
Точно холодом листы...

Что ж нас ждет: тепло ль участья?
Иль, как листья под дождем,
Не найдем себе мы счастья
И покоя не найдем.

⟨1894⟩

Символическое

Прочь бездушная действительность!..
Я хочу лучистых грез,
Мотыльков, веселых ласточек,
Белых ландышей и роз!..

Я хочу упиться чарами
Смутных чувств и белых снов —
При волшебном лунном трепете,
В царстве фей и соловьев!

Я хочу безмолвной музыкой,
Точно воздухом, дышать;
Уловить неуловимое,
Непостижное понять!..

Только светлая, влюбленная
И счастливая мечта
Знает царство вечной юности,
Где любовь и красота!

Прочь бездушная действительность!
Я хочу лучистых грез,
Мотыльков, веселых ласточек,
Белых ландышей и роз!..

⟨1895⟩

Сонет

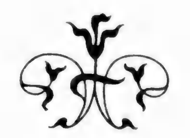
Покинем вертепы докучной тревоги,
Покинем с мечтою о мире ином, —
И к мирному храму не в блещущей тоге,
А в рубище ветхом — пойдем!

Пойдем, чтобы слышать о свете, о Боге,
Нетленного духа священный псалом;
И встанем, как мытарь, в дверях на пороге,
С поникшим смиренным челом!

На торжище шумном, где душно, как в склепе,
Оставим злых помыслов бренные цепи
На торжище буйном людской суеты, —

И к храму снесем покаянье, — и в храме
К престолу положим дарами
Души покаянной мечты!

⟨1896⟩



ИВАН КОНЕВСКОЙ

Призыв

Валерию Я. Брюсову

Давно ли в пущах безответных,
И в недрах гор, и в лоне рек
Витал народ существ заветных.
Кому смешон был человек!

Сей человек, столь закоснелый
В своей коре, в своих корнях, —
Он чужд и мертв природе целой,
Вращаясь в безысходных днях.

О племя оборотней чудных,
Всему чужих, всему родных,
Как часто, средь мгновений скудных,
Я бредил о житьях иных —

О днях таинственной свободы
И в горних, там, и под землей,
И к вам, прельстители природы,
Стремился дух ничтожный мой.

3 мая 1889 г.
Петербург

Воскресение

Небо, земля... Что за чудные звуки!
Пестрая ткань этой жизни людской!
Радостно к вам простираю я руки,
Я пробужден от спячки глухой.

Чувства свежи, обаятельны снова,
Крепок и стоек мой ум.
Властно замкну я в жемчужины слова
Смутные шорохи дум.

Сон летаргический, душный и мрачный,
О, неужель тебя я стряхнул?
Глаз мой прозревший, глаз мой прозрачный,
Ясно на Божий мир ты взглянул!

Раньше смотрел он сквозь дымку тумана —
Нынче он празднует свет.
Ах, только б не было в этом обмана,
Бледного отблеска солнечных лет...

В сторону — чахлые мысли такие!
Страстно я в новую жизнь окунусь,
Хлещут кругом меня волны мирские,
В пристань век не вернусь!..

Февраль 1895 г.

Наследие веков

Вере Ф. Штейн

Когда я отроком постиг закат,
Во мне — я верю — нечто возродилось,
Что где-то в тлен, как семя, обратилось:
Внутри себя открыл я древний клад.
Так ныне, всякий с детства уж богат
Всем, что издревле в праотцах копилось:
Еще во мне младенца сердце билось,
А был зрелей, чем дед, я во сто крат.

Сколь многое уж я провидел! Много
В отцов роняла зерен жизнь — тревога,

Что в них едва пробилась, в нас взошли,
Взошли, обвеяны дыханьем века.
И не один родился в свет калека,
И все мы с духом взрытым в мир пошли.

1896

Две радости

Ф. А. Лютеру

Когда душа сорвется с высоты,
Куда взвилась она тяжелым взмахом,
Она сперва оглянется со страхом
На мир веселой, бойкой суеты.
Как ей не помнить горней красоты?
Но принята она в объятья прахом:
И прах ей сладостен, а в ней зачах он —
Цветок вершин и снежной чистоты.

Страдать невмочь нам, и к земле прижмется
Наш детский дух и кровно с ней сживется.
И вот уж тесный угол наш нам мил.
Ах, если б праздник неземной потребы,
Как пастырь, что благословляет хлебы,
И пестрых будней игры осенил!

1896

Многим в ответ

Я не любил. Не мог всей шири духа
В одном лице я женском заключить.
Всё ловит око, всё впивает ухо,
И только так могу в любви почить.

Когда б, простясь с возлюбленною девой,
Вперил я взор в роскошный неба свод,
Иль в сень широколиственного древа,
Иль в думу вещую, как в рокот вод, —

Простер бы к ним стремительно объятья,
Во мне б не девы образ уж царил;

Но девы лик и сны вселенной — братья:
К единому всё диву я парил.

Так — обнимусь я с женской красотою,
Но через миг — с горой или ручьем,
Но душно составлять одно с четою,
Скорбя в разлуке с частным бытием.

Нет — естество свое стремясь раздвинуть,
В него рассвету, полдню и звездам,
И всем людским порывам дам я хлынуть,
Впитаю их — и все пребуду сам.

Летом 1897 г.
Петербург

* * *

Genus — genius.

Владимир Соловьев

В крови моей — великое боренье.
О, кто мне скажет, что в моей крови?
Там собрались былые поколенья
И хором ропщут на меня: живи!

Богатые и вековые ткани
Моей груди, предсердия и жил,
Осаждены толпою их алканий,
Попреков их за то, что я не жил.

Ужель не сжалитесь, слепые тени?
За что попал я в гибельный ваш круг?
Зачем причастен я мечте растений,
Зачем же птица, зверь и скот мне друг?

Но знайте — мне открыта весть иная:
То — тайна, что немногим внушена.
Чрез вас рожден я, плод ваш пожиная,
Но родина мне — дальняя страна.

Далёко и меж нас — страна чужая...
И там — исток моих житейских сил.
И жил я, вашу волю поражая,
Коль этот мир о помощи просил.

Не только кость и плоть от кости, плоти —
Я — самобытный и свободный дух.
Не покорить меня слепой работе,
Покуда огнь мой в сердце не потух.

1898—1899
Петербург

Genius

Не хочу небывалого, нового существования.
Я влюблен и в земные породы, и в зелень дерев.
Но мучительно-тягостно тело, его основания
И тяжелая кровь.

И за юною птицей, что плавает в шири
Тех великих воздушных морей,
Я давно унестися пытаюсь... Я в мире
Всё быстрей и быстрей!

На земле — там и соки дубрав, там и трав ароматы,
Там и шум плодоносно-кипящей весенней любви.
Этой жизненной страстью и в воздухе жилы объяты.
Но меня ты к себе не зови:

Я и сам налечу на тебя, вселюбивая дева,
О рабыня всей тяги веков!
Но тогда же услышишь в поднебесье взмахи напева,
Что свободен от нежных тисков.

1898—1899
Петербург

С холодной воли

Что за окнами волнуется?
Это — воздух, это — снег...
И давно уж сердцу чуется
Тихих, быстрых облак бег.

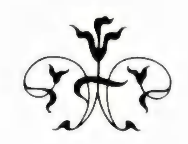
Сердце ноет, как безумное,
Внемля жизни в небесах,

И безмолвно, многодумное,
Стоя долго на часах.

Вон из гру́ди оно просится,
Внемля ветру, облакам,
В те пространства, где разносится
Зов их к морю и рекам, —

От уныний человечества
В жизнь погоды мировой,
В бесконечное отечество
И моей душе живой.

1898—1899
Петербург



АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ

Невский при закате солнца

Влага дрожит освежительно,
Лиц вереница медлительна...
Тонкие, мягкие пятна...
Шумы бледнеют невнятно,
Светлые башни. Вдали
Светлые тени легли.

Мутною цепью нависшие
Стены. Как призраки высшие,
Дремлют дома неподвижно.
Теплится ночь непостижно.
Зыблются краски... во сне
Зыблется лист на окне.

1890-е гг.

Литейный вешним утром

Светлой нитью вдаль уходит
Гордый, тесный ряд домов.
Тени меркнут, чуть колеблясь,
И весенним ровным солнцем
Каждый камень озарен.

Строго смотрят в окнах лица,
Строги думы стен высоких,
Строго вырезалась в небе
Церковь с темной колокольней.

Ты прошла лукаво мимо,
Словно свет зари вечерней...
Улыбнулись дерзко глазки.

Молебное

Andante con fuoco

В одинокой горнице
Я склоняюсь в молении
Пред Великим Господом;
Поклоняюсь сладостный,
Словно цвет предутренний.

Словно цвет предутренний,
Мое сердце дрогнуло;
И зачем так боязно?
И зачем Ты встревоженный?
Не покинь бессильного
Средь степей голубеющих.

Средь степей голубеющих,
В одинокой горнице
Я боюсь очей моих,
Я боюсь очей моих,
Моих рук нетрепетных.

* * *

Шепчутся травы под грезы мои,
Чую в мгновеньях моих опьяненье —
Все благовонья, все жизни стремленья —
Запах росы и лесные ручьи.

Слышишь? растут, распустились цветы.
Очи закрой! не гляди на могилы.
Травы колеблются мягко, уныло.
Утренней влагой омыты листы.

Шепчутся травы под грезы мои.
Чую в мгновеньях моих опьяненье —
Все благовонья, все жизни стремленья —
Запах росы и лесные ручьи.

Светлая

Горе! цветы распустились... пьянею.
Бродят, растут благовонья бесшумно.
Что-то проснулось опять неразумно,
Кто-то болезненно шепчет: «жалею».

Ты ли опять возвратилась и плачешь?
Светлые руки дрожат непонятно...
Косы твои разбежались... невнятно
Шепчут уста... возвратилась и плачешь.

Звездное небо, цветы распустились...
Медленно падают тусклые слезы.
Слышны укоры, проснулись угрозы...
Горе! цветы распустились!

Стих о Мадонне

1

Madonna del cardelline.
Raphaello Santi.

Allegro

Облелеяли воды весенние,
Словно дымкою, землю немую.

Кто-то шепчет стыдливо: «целую».
— Мгновенья мгновеннее.

Чуткий Светышко, Зорька Росистая,
Ты причастен земному веселью.
Грезит мать над Твоей колыбелью.
— Задумалась Чистая.

Ей цветы благовонья навеяли,
Тростники нашептали Ей грезы,
И провидит Она Твои слезы.
— Чу! чайки зареяли!

Разбегаются мягкие волосы...
Много дышит листов освеженных.
На пригорках былинок зеленых
— Синеются полосы.

2

Эрмитаж № 796 (картинная галерея).
Рембрандт.

Allegro con fuoco.

Я ли Его не оплакала? Я ли Его не обвеяла? От Моей груди всосал Он жизнь. Моей груди всосал Он скуду.

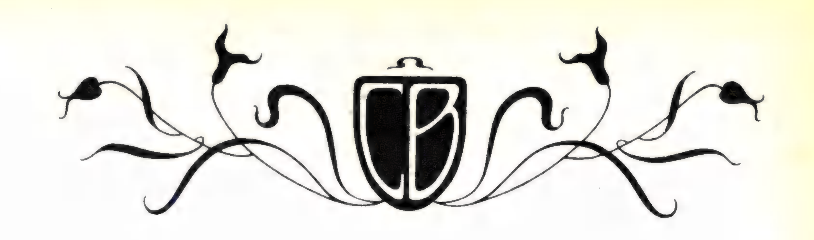
Юнош! не бойся. Не забывай Золотистое! Господь внемлет гласу моления Твоего. Господь Твой — вертоград благоухающий.

Вечереют синие, синие горы. Склоняются осенние ветви... Я ли Его не обвеяла? Я ли Его не оплакала?

3

Allegro con moto.

. . . .



АЛЕКСАНДР БЛОК

Гамаюн, птица вещая

(Картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

23 февраля 1899

* * *

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.

25 октября 1902

Осенняя воля

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли.
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905
Рогачевское шоссе

Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирён и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»[1] кричат.

---

[1] «Истина в вине!» *(Лат.)*

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906
Озерки

Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908

* * *

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

30 декабря 1908

На островах

Вновь оснежённые колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный.
И хруст песка, и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой — с пленной — с ней.

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить,
И мчаться в снег и темноту,

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...

Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать...
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать...

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Все только — продолженье бала,
Из света в сумрак переход...

22 ноября 1909

* * *

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что́ там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых..

Лодки да грады по рекам рубила ты,
Но до Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты —
Кинулась и́з степи черная мгла...

За́ море Черное, за́ море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что́ же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

Февраль 1910

В ресторане

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

19 апреля 1910

* * *

Там человек сгорел.

Фет

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!

10 мая 1910

На железной дороге

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да что́ — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

14 июня 1910

Возмездие

(Из поэмы)

I

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно,—
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...
Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...

Колдун одной рукой кадил,
И струйкой синей и кудрявой
Курился росный ладан... Но —
Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.

II

В те незапамятные годы
Был Петербург еще грозней,
Хоть не тяжеле, не серей
Под крепостью катила воды
Необозримая Нева...
Штык свéтил, плакали куранты,
И те же барыни и франты
Летели здесь на острова,
И так же конь чуть слышным смехом
Коню навстречу отвечал,
И черный ус, мешаясь с мехом,
Глаза и губы щекотал...
Я помню, так и я, бывало,
Летал с тобой, забыв весь свет,
Но... право, проку в этом нет,
Мой друг, и счастья в этом мало...

III

Востока страшная заря
В те годы чуть еще алела...
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику... «Ура»
Заводит кто-то голосистый,
И царь — огромный, водянистый —
С семейством едет со двора...
Весна, но солнце светит глупо,
До Пасхи — целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя...

Куда ни повернись, всё ветер...
«Как тошно жить на белом свете»,—
Бормочешь, лужу обходя;
Собака по́д ноги суется,
Калоши сыщика блестят,
Вонь кислая с дворов несется,
И «князь» орет: «Халат, халат!»
И встретившись лицом с прохожим,
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

IV

Но перед майскими ночами
Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон;
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарей необозримой...
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?..
Ты помнишь: выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтесанный гранит
Склонясь главой отяжелелой,
Ты слышать мог: вдали, вдали,
Как будто с моря, звук тревожный,
Для божьей тверди невозможный
И необычный для земли...
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпиле крепостном; и вот —
(Сон или явь): чудесный флот,
Широко развернувший фланги,
Внезапно заградил Неву...
И Сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате...
Так снилось многим наяву...
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
Да и народу не бывало
На площади в сей дивный миг

(Один любовник запоздалый
Спешил, поднявши воротник...).
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января...

Март 1911

Шаги Командора

В. А. Зоргенфрею

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Чтó теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?

Холодно и пусто в пышной спальне,
Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.

Чтó изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны...

Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?

Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ — победно и влюбленно —
В снежной мгле поет рожок...

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор,
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...

Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов —
Бой часов: «Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?..»

На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа — тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета,
Слуги спят, и ночь бледна.

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна!— Тишина.

Только в грозном утреннем тумане
Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет.
Анна встанет в смертный час.

16 февраля 1912

* * *

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша.

Снится — снова я мальчик, и снова любовник,
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.

Этот голос — он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

2 мая 1912

* * *

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастии твердишь — который раз?

Чтó счастие? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные, порочные услады
Вина, страстей, погибели души?

Чтó счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот...
Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И зá сердце хватающий полет...

Вздохнул, глядишь — опасность миновала...
Но в этот самый миг — опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!

И, уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон,—
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...

Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно все! Как дико!— Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.

2 июля 1912

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

Художник

В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он — возник. И с холодным вниманием
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием
Тянет он еле приметную нить.

С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого — нет.

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил,—
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил — убил.

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду — и скучаю опять.

12 декабря 1913

Анне Ахматовой

«Красота страшна» — Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.

«Красота проста» — Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

16 декабря 1913

* * *

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

5 февраля 1914

* * *

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака,*
И кричали *ура,* и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило *ура* без конца.

Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё неслось к нам *ура,*
В грозном клике звучало: *пора!*

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...

1 сентября 1914

* * *

З. Н. Гиппиус

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье,—
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!

8 сентября 1914

Перед судом

Что́ же ты потупилась в смущенье?
Погляди, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала — в униженье,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь...

Но ведь я немного по-другому,
Чем иные, знаю жизнь твою,

Более, чем судьям, мне знакомо,
Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе — ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края...

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала.—
Все-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня?—
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

11 октября 1915

* * *

Дикий ветер
Стекла гнет,
Ставни с петель
Буйно рвет.

Час заутрени пасхальной,
Звон далекий, звон печальный,
Глухота и чернота.
Только ветер, гость нахальный,
Потрясает ворота.

За окном черно и пусто,
Ночь полна шагов и хруста,

Там река ломает лед,
Там меня невеста ждет...

Как мне скинуть злую дрёму?
Как мне гостя отогнать?
Как мне милую — чужому,
Проклято́му не отдать?

Как не бросить всё на свете,
Не отчаяться во всем,
Если в гости ходит ветер,
Только дикий черный ветер,
Сотрясающий мой дом?

Что ж ты, ветер,
Стекла гнешь?
Ставни с петель
Дико рвешь?

2 марта 1916

Пушкинскому Дому

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижном скакуне.

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.

Что́ за пламенные дали
Открывала нам река!

Но не эти дни мы звали,
  А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
  Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
  Сине-розовый туман.

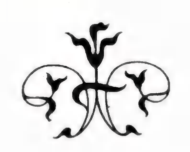
Пушкин! *Тайную свободу*
  Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
  Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
  Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
  Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
  И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
  В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката
  Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
  Тихо кланяюсь ему.

11 февраля 1921



ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Весенняя оттепель

Ленивым золотом текло
Весь день и капало светило,
Как будто влаги не вместило
Небес прозрачное стекло.

И клочья хмурых облак, тая,
Кропили пегие луга.
Смеялась влага золотая,
Где млели бледные снега.

23 января 1905

Палачам

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Истлеет древко топора,
Не будет палача для казни.

И просвещенные сердца
Извергнут черную отраву
И вашу славу и державу
Возненавидят до конца.

Бичуйте, Ксерксы, понт ревучий!
И ты, номадов дикий клан,
Стрелами поражая тучи,
Бессильный истощи колчан!

Так! Подлые вершите казни,
Пока ваш скиптр и царство тьмы!
Вместите дух в затвор тюрьмы!
Гляжу вперед я без боязни.

1905 или 1906

На башне

Л. Д. Зиновьевой-Аннибал

Пришелец, на башне притон я обрел
С моею царицей — Сивиллой,
Над городом-мороком — смурый орел
С орлицей ширококрылой.

Стучится, вскрутя золотой листопад,
К товарищам ветер в оконца:
«Зачем променяли свой дикий сад
Вы, дети — отступники Солнца,

Зачем променяли вы ребра скал,
И шепоты вашей пещеры,
И ропоты моря у гордых скал,
И пламенноликие сферы —

На тесную башню над городом мглы?
Со мной, на родные уступы!..»
И клекчет Сивилла: «Зачем орлы
Садятся, где будут трупы?»

Между 1905 и 1907

Медный всадник

В этой призрачной Пальмире,
В этом мареве полярном,
О, пребудь с поэтом в мире,
Ты, над взморьем светозарным

Мне являвшаяся дивной
Ариадной, с кубком рьяным,
С флейтой буйно-заунывной
Иль с узывчивым тимпаном,—

Там, где в гроздьях, там, где в гимнах
Рдеют Вакховы экстазы...
В тусклый час, как в тучах дымных,
Тлеют мутные топазы,

Закружись стихийной пляской
С предзакатным листопадом
И под сумеречной маской
Пой, подобная менадам!

В желто-серой рысьей шкуре,
Увенчавшись хвоей ельной,
Вихревейной взвейся бурей,
Взвейся вьюгой огнехмельной!..

Ты стоишь, на грудь склоняя
Лик духовный, лик страдальный,
Обрывая и роняя
В тень и мглу рукой печальной

Лепестки прощальной розы,
И в туманные волокна,
Как сквозь ангельские слезы,
Просквозили розой окна —

И потухли... Всё смесилось,
Погасилось в волнах сизых...
Вот — и ты преобразилась
Медленно... В убогих ризах

Мнишься ты в ночи Сивиллой...
Что, седая, ты бормочешь?
Ты грозишь ли мне могилой?
Или миру смерть пророчишь?

Приложила перст молчанья
Ты к устам — и я, сквозь шепот,
Слышу медного скаканья
Заглушенный тяжкий топот...

Замирая, кликом бледным
Кличу я: «Мне страшно, дева,
В этом мороке победном
Медноскачущего Гнева...»

А Сивилла: «Чу, как тупо
Ударяет медь о плиты...
То о трупы, трупы, трупы
Спотыкаются копыта...»

Между 1905 и 1907

Сфинксы над Невой

Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?

Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?

Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся лучами, дея чары,
И в небесах меняют янтари,—

Как два серпа, подъемля две тиары,
Друг другу в очи — девы иль цари —
Глядите вы, улыбчивы и яры.

13 мая 1907

Славянская женственность

М. А. Бородаевской

Как речь славянская лелеет
Усладу жен! Какая мгла

Благоухает, лунность млеет
В медлительном глагольном *ла!*

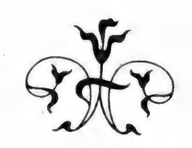
Воздушной лаской покрывала,
Крылатым обаяньем сна
Звучит о женщине: *она*,
Поет о ней: *очаровала.*

⟨1910⟩

Умер Блок

В глухой стене проломанная дверь,
И груды развороченных камней,
И брошенный на них железный лом,
И глубина, разверстая за ней,
И белый прах, развеянный кругом,—
Всё — голос Бога: «Воскресенью верь».

10 августа 1921



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Отчаянье

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать:

Туда, на равнине горбатой,
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков,

Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И в ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,

Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков,—

Туда,— где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

⟨*Июль 1908*⟩

В альбом В. К. Ивановой

О том, как буду я с тоскою
Дни в Петербурге вспоминать,
Позвольте робкою рукою
В альбоме Вашем начертать.
(О Петербург! О Всадник Медный!
Кузмин! О, песни Кузмина!
Г ***, аполлоновец победный!)
О Вера Константинов-на́,
Час — пятый... Самовар в гостиной
Еще не выпит... По стенам
Нас тени вереницей длинной
Уносят к дальним берегам:
Мы — в облаке... И всё в нем тонет —
Гравюры, стены, стол, часы;
А ветер с горизонта гонит
Разлив весенней бирюзы;
И Вячеслав уже в дремоте
Меланхолически вздохнет:
«Михаил Алексеич, спойте!..»
Рояль раскрыт: Кузмин поет.
Проходит ночь... И день встает,
В окно влетает бледной птицей...
Нам кажется, незримый друг
Своей магической десницей
Вокруг очерчивает круг:
Ковер — уж не ковер, а луг —
Цветут цветы, сверкают долы;
Прислушайтесь,— лепечет лес,
И бирюзовые глаголы
К нам ниспадающих небес.

Всё это вспомню я, вздыхая,
Что рок меня от вас умчал,
По мокрым стогнам отъезжая
На Николаевский вокзал.

⟨1910—1912⟩

Родине

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!
Россия, Россия, Россия,—
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи,
В глухие твои глубины,—
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

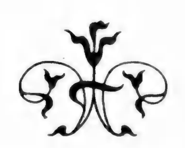
Не плачьте: склоните колени
Туда — в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней!

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,—
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия. Россия —
Мессия грядущего дня!

⟨Август 1917⟩
Поворовка



ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

Стихийной

Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня!
И с восходом и с закатом я — у алтаря.

И стихийной безраздумно вечно я служу,
Гимном ранним, предрассветным я мечты бужу.

Тайна — ты. И в безднах Тайны вижу я себя;
И предвечно, не случайно ты моя, моя!

Не сомненье, рассужденье, а заря — ответ:
Только в ней себя познаешь, только в ней твой свет.

Принимай же мои жертвы. Я у алтаря.
Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня.

⟨1902—1903⟩

Поэт

Вяч. Иванову

Твоя стихия — пенный вал,
Твоя напевность — влага моря,
Где, с волнами сурово споря,
Ты смерть любовью побеждал.

Твоя душа — как дух Загрея,
Что, в страсти горней пламенея,
Ведет к вершине золотой
Твоей поэзии слепой.

О друг и брат и мой вожатый,
Учитель мудрый, светлый вождь,
Твой стих — лучистый и крылатый —
Как солнечный весенний дождь;
И опьяненная свирель —
Как ярый хмель.

Между 1905 и 1907

* * *

Н. Г. Ч-ой

Вокруг тайга шумела дико,
Но ты пришла ко мне в юрту́,
И я с твоей тоской великой
Вновь сочетал мою мечту.

И край немой, и край таежный
Лохматую открыл нам грудь;
О дол таинственно-тревожный,
Твоей свободы не вернуть.

Бывало, в ледяной пустыне
Мы ждали радостных огней;
За рубежом томимся ныне —
Невнятны для глухих людей.

Освобождения ревнитель —
Я накануне злой беды;
И рухнет милая обитель,
И будут срублены сады.

Вдруг пролетит над чистым лугом
Суровый, как в тайге, летун;
Я буду поражен недугом,
Завороженный чудом струн.

И ты склонишься надо мною,
И тайный вспомнишь свой обет:
Тогда бесстрашною душою
Личине мертвой скажешь: «Нет!»

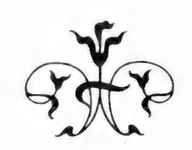
Между 1905 и 1907

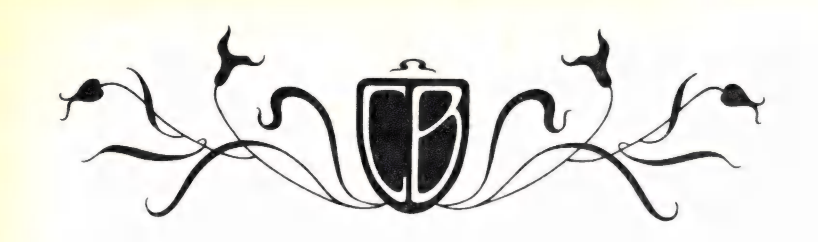
Зарево

Дымятся обнаженные поля,
И зарево горит над сжатой полосою.
Пустынная, пустынная земля,
Опустошенная косою!
И чудится за лесом темный крик,
И край небес поник:
Я угадал вас, дни свершенья!
Я — ваш, безумные виденья!

О зарево, пылай!
Труби, трубач!
И песней зарево встречай.
А ты, мой друг, не плачь:
Иди по утренней росе,
Молись кровавой полосе.

Между 1905 и 1907





ЛЕОНИД СЕМЕНОВ

На меже

Я сын своих полей — без пышности и сана
молюсь родной земле, молюсь подземным силам,
живительной росе полночного тумана
и с темной высоты сверкающим светилам.

Молюсь один, когда в селеньях люди спят,
молюся на меже, где благостней святынь
мне о Тебе в тиши колосья говорят
и на Тебя глядит пахучая полынь.

Молюсь в ночи — святой и благодатью сильной —
без алтаря и слов, без крови жертвы тучной,
молюсь, как молятся цветы мечтой беззвучной
о ниве зреющей, о жатве дня обильной...

1903

Я — человек

Я — человек, работник Божий,
с утра до вечера тружусь;
«Спаси нам, Боже, от бездожий
родную ниву!» — так молюсь.

Я — человек, земле я предан.
Я — сам земля, от плоти — плоть,
но мною пот лица изведан,
и всё отпустит мне Господь.

Я — человек, любви покорен,
в отдохновенье друг страстей.
С людьми я злобен и притворен,
но мать люблю моих детей.

Я — человек, страшусь могилы,
не за себя, за свой побег,
родные дети — сердцу милы;
продли для них мне, Боже, век!

Я — человек, я здесь прохожий,
не мной отмерен мне урок,
но верный вечной воле Божьей
от мыслей выспренних далек.

И так молюсь: «Дай и в морщинах
мне, Боже, сеять, жать, пахать,
любить без мысли мир в долинах
и землю по́том прославлять!»

1904

Сады

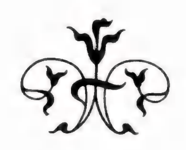
Мне снятся поля благочестивых,
сады, ликующие красками цветов.
Нет лиц в садах суровых, злых и некрасивых,
нет слез, тоски и неспокойных снов.

Резвятся дети, их весел смех беспечный.
Сплетают с девушками юноши венки,
несутся в пляску — пляски бесконечны.
Как лани юные все быстры, гибки и легки.

Проходят женщины, как сладостные тени,
их ласков голос, как неба синь их взгляд,
в молитве благостной сгибаются колени,
покорно все, как овцы к пастырю, спешат.

Отец их пастырь — святой и величавый;
как снег руно его кудрей.
Не надо жертв Ему, не надо славы:
Он сам — дитя бездумное среди детей.

1904



ВЛАДИМИР ПЯСТ

Н. С. Гумилеву

«Как гурии в магометанском
Эдеме в розах и шелках», —
Так мы в дружине ополченской
На прибалтийском берегу.

Сапог неделю не сымая,
В невыразимой духоте
В фуфайках теплых почиваем
(Всё что с собою — на себе)

На нарах — этом странном ложе —
В грязи занозисто-сплошной,
Почти что друг на друге лежа,
Дыша испариной чужой,

Чужою деревянной ложкой,
И скапанной с чужих усов,
Хлебаем щи из миски общей
(Один состольник нездоров);

На тех же нарах — что подошвы,
Где наши ноги, там и хлеб,
И протолкаться невозможно,
Когда хлебает взвод обед...

Никак ни времени, ни места,
Чтоб раз умыться, не урвать,
И насекомым стало тесно
В лесу волосяном гулять...

Так жизнь такая превосходит
Блаженства мерой всё, что мог
Своим любимцам уготовить
В раю пресветлом щедрый Бог!

И нет уто́нченнее пищи,
Чем те замусленные «шти»,
И помещений благовонней
Казармы — в мире не найти!

И тот слепец, кто в это время
В кафе поит вином девиц:
Не видит он, что вместе с теми
Ужей глотает и мокриц.

И жалок тот, кто тело в ванне
Купает, нежучи, свое:
Чем дух ее благоуханней,
Тем тяжелее смрад ее.

А мы, в чудовищном удушье,
В грязи сверхмерной, слышим мы,
Как павших в славных битвах души
Поют военные псалмы,

И видим мы, как, предводимы
Самим Всевышним, нашу рать
Сопровождают херувимы,
Уча бессмертно умирать...

Февраль 1915

* * *

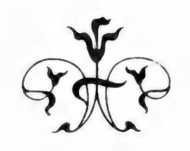
Мне тридцать лет, мне тысяча столетий,
Мой вечен дух, я это знал всегда,
Тому не быть, чтоб не жил я на свете,—
Так отчего так больно мне за эти
Быстро прошедшие, последние года?

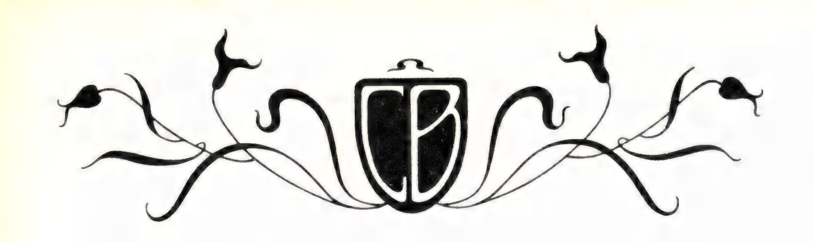
Часть Божества, замедлившая в Лете,
Лучась путем неведомым сюда,—
Таков мой мозг. Пред кем же я в ответе
За тридцать лет на схимнице-планете,
За тридцать долгих лет, ушедших без следа?

Часть Божества, воскресшая в поэте
В часы его бессмертного труда,—
Таков я сам. И мне что значат эти
Годов ничтожных призрачные сети,
Ничтожных возрастов земная череда?

За то добро, что видел я на свете,
За то, что мне горит Твоя звезда,
Что я люблю — люблю Тебя, как дети,—
За тридцать лет, за триллион столетий
Благодарю тебя, о Целое, всегда.

2 июля 1916





ВИЛЬГЕЛЬМ ЗОРГЕНФРЕЙ

Александру Блоку

...Имею на тебя то,
что оставил ты первую любовь твою.

(Откров. св. Иоанна)

Помнит месяц наплывающий
Всё, что было и прошло,
Но в душе, покорно тающей,
Пусто, звонко и светло.

Над землею — вьюга снежная,
В сердце — медленная кровь,
Глубоко под снегом — нежная,
Позабытая любовь.

Стыдно, скорбно дни истрачены,
Даль пределы обрела,
Сочтены и обозначены
Мысли, речи и дела.

Эту жизнь, безмерно серую,
Я ли, живший, прокляну?
Нет, и мертвым сердцем верую
В позабытую весну.

Пусть истлела нить печальная
И сомкнулась пустота —
Ты со мной, моя начальная
И последняя мечта.

И легки пути тернистые,
Твой не страшен Страшный Суд.
Знаю, чьи уста лучистые
Приговор произнесут.

Тихо радость исповедую,
Память сердца озарю:
Приобщи твоей победою
К неземному алтарю.

Высоки врата престольные,
Тяжелы земные сны,
Но любви простятся вольные
И невольные вины.

Сентябрь 1913

Земля

И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины.

Ал. Блок

Кружит, в веках прокладывая путь,
Бескрылая, плывет неторопливо,
И к солнцу поворачивает грудь,
И дышит от прилива до отлива.

Отроги гор — тугие позвонки —
Встают грядой, застывшей в давней дрожи,
И зыблются покатые пески
Изломами растрескавшейся кожи.

На окуляр натягивая нить,
Глядит в пространства звездные астрóном
И тщится Бог свободный подчинить
Незыблемым и мертвенным законам.

А химика прокисленная длань
Дробит куски разрозненного тела,

И формула земли живую ткань
В унылых письменах запечатлела.

Но числам нет начала и конца,
И веет дух над весом и над мерой —
А камни внемлют голосу певца,
И горы с места двигаются верой.

Удел земли — и гнев, и боль, и стыд,
И чаянье отмстительного чуда,
И вот, доныне дерево дрожит,
К которому, смутясь, бежал Иуда.

И кто пророк? Кто скажет день и час,
Когда, сорвавшись с тягостного круга,
Она помчит к иным созвездьям нас,
Туда, где нет ни Севера, ни Юга?

Как долго ей, чудовищу без пут,
Разыскивать в веках себе могилу,
И как миры иные назовут
Ее пожаром вспыхнувшую силу?

Между 1918 и 1920

Над Невой

Поздней ночью над Невой,
В полосе сторожевой,
Взвыла злобная сирена,
Вспыхнул сноп ацетилена.

Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.

Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.

Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.

Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд.

Провода вверху гудят:
Славен город Петроград!

В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.

А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь.

Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.

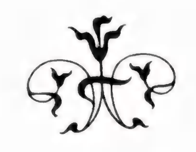
Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин,
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:

— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?

— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял.

От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал —
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.

1920



ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

* * *

Средь знаков тайных и тревог,
В путях людей, во всей природе
Узнала я, что близок срок,
Что время наше на исходе.

Не миновал последний час,
Еще не отзвучало слово;
Но, видя призраки меж нас,
Душа к грядущему готова.

За смертью смерть несет война;
Среди незнающих — тревога.
А в душу смотрит тишина
И ясный взгляд седого Бога.

И ум земной уже привык
Считать спокойно дни и ночи;
Забыл слова немой язык,
И время жизни всё короче.

Где ж обагрится небосклон?
Откуда свет слепящий хлынет?
Кто первый меч свой из ножон
Навстречу битве чудной вынет?

⟨1914—1915⟩

* * *

На востоке кресты и сиянье;
Здесь нельзя темноты превозмочь.
У тебя попросить подаянья
Хочет, родина, блудная дочь.

Всё растрачено; нету заслуги,
Не запятнанной темным грехом;
Лишь пестуньи родимые, вьюги,
Ждут венчанья еще с Женихом.

Но кольца моего уж не надо
Жениху пяти праведных дев;
В брачном доме сияют лампады,
В свете утра слегка пожелтев.

Как недолго я верность хранила:
В ночь недужную свет мой погас,
И исчезла заветная сила
Пред рассветом, в торжественный час.

Где ты, родина-мать, затерялась?
Ни в одной не сказали избе,
Как ждала ты меня, не дождалась
И вручила с молитвой судьбе.

Птица крикнет; бегу от испуга.
В снеге вязну; нельзя не устать.
От Сибири до самого юга
Снеговая раскинулась гладь.

Только мимо равнины безлесной
Часто, часто бегут поезда;
Да горит на границе небесной
Красным светом фонарь иль звезда.

Да в деревне уснувшей, в соседстве,
Заливается пес до утра.
О твоем ли заплачу наследстве,
Что развеяли в степи ветра?

Люди, спутники, землю измерьте,—
Всё равно не найти тишины,
Всё равно мне не встретить до смерти
Друга, сына родимой страны.

⟨1913—1915⟩

* * *

Наше время еще не разгадано,
Наши дни — лишь земные предтечи,
Как и волны душистого ладана,
Восковые, горячие свечи.

Но отмечены тайными знаками
Неземной и божественной мощи
Чудеса, что бывают над раками,
Где покоятся древние мощи.

Над святыми владыками добрыми,
Над лежащими тихо костями,
Встал Распятый с пронзенными ребрами,
А ладони пробиты гвоздями.

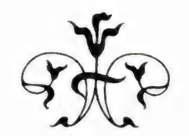
И ему голытьба деревенская
Ставит свечи и служит молебны;
И раскинула Церковь Вселенская
Над Россией покров свой целебный.

Но поклоны и знáменья крестные,
И душистый, сияющий ладан —
Только путь в небеса неизвестные,
Где наш жребий решен и угадан.

И дары, что в дороге растратили,
И грехи, что согнули нам спину,—
Всё расскажут Отцу предстоятели,
Всё поведают Духу и Сыну.

В рощах рая Его изумрудного
Будет каждый наш помысел взвешен.
Кто достигнет мгновения судного
Перед Троицей свят и безгрешен?

⟨1913–1915⟩



АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВ

Черная Венера

Темноликая, тихой улыбкою
Ты мне душу ласкаешь мою.
О, прости меня, если ошибкою
Я не так Тебе песни пою.

Ты рассыпала щедро узорами
Светляков золотые огни.
Благосклонными вещими взорами
На открывшего душу взгляни!

Черно-синими звездными тканями
Ты вселенной окутала сон.
Одинокий, с простертыми дланями,
Я взываю к Царице Времен.

Ты смеешься очами бездонными,
Неисчетные жизни тая...
Да прольется над девами сонными
Бесконечная благость Твоя!

Будь щедра к ним, о Матерь Великая,
Сея радостно в мир бытие,
И прими меня вновь, Темноликая,
В благодатное лоно Твое!

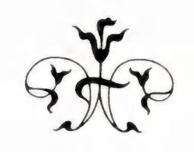
⟨1906—1908⟩

* * *

Серебряной звездой стремлюсь я в темноте,
Ни ветра не боясь, ни зноя, ни мороза,
Сквозь волны хаоса, куда всевластно греза
Мой дух влечет, где блещет на кресте
В сиянье пурпурном мистическая роза.

Пусть лики строгие мне преграждают путь;
Пусть волны черные ярятся, негодуя,
И леденящий вихрь пытается вдохнуть
Бессильный трепет мне в тоскующую грудь —
Звездой серебряной к той розе припаду я.

⟨1906—1908⟩



ЮРИЙ ВЕРХОВСКИЙ

* * *

> Так грустно тлится жизнь моя
> И с каждым днем уходит дымом.
>
> *Тютчев*

Чуть беззвучно утро засмеется
За туманом зыбким и седым,
Погаси свечу — с нее взовьется
    Тонкой струйкой душный дым.

Он душе томящейся не сладок,
Он оставит черные следы,
Словно едкий, горестный осадок
    Заполуночной страды.

Так — ужель потухшие порывы
Только, злой отравою казня,
Дымной, душной, тонкой струйкой живы
    Перед бледным ликом дня?

⟨1910—1916⟩

* * *

И хватишь чарку рифм, чтоб заморить тоску.

Кн. Вяземский

Тоска, тоска, тоска — и всё кругом постыло,
И валится из рук любимый давний труд...
Всё благодатное давно, когда-то было,
Всё распроклятое толпится тут как тут.

Бездейственно как тень сознание былого;
Грядущее молчит, грозя из темноты,—
И мается душа без света и без слова
Меж безнадежности и мертвой пустоты.

Запел бы,— ах, запеть хоть немощно и глухо,—
Да песни прежние от сердца далеки,
А новых нет давно. И тягостны для слуха
То гнет молчания, то хриплый вздох тоски.

Одна отрада мне: к чужому песнопенью
Приникнуть всей душой в безмолвии ночном...
Какою нежною и благосклонной тенью
Оно повеет мне — мгновенным, легким сном.

О, ясный Вяземский, о, Тютчев тайнодумный,
О, Боратынского волшебная печаль!
Не я ли слышал вас в полуночи бесшумной?
Но вы умолкнули, и одинок — не я ль?

⟨1910—1916⟩

* * *

Минувшего душа тоскующая просит.

Кн. Вяземский

И новые песни у сердца,
У сердца влюбленного есть:
Напевов его многогласных
И струн многозвучных не счесть.

Но с каждою новой любовью
Затихшему сердцу близка
И прежде безвестная дума,
И чуждая прежде тоска.

Певучие горькие волны
Качают на пенном гребне
И в бездну из бездны бросают
Всё к новой, всё к властной волне —

Бросают безвольное сердце,
И полное звуков — оно
То с брызгами к небу взметется,
То с плесками канет на дно.

Теснятся нестройные звуки —
И глохнут, и гаснут они;
Но теплятся тихо над ними
Былые, согласные дни;

И ведает сердце, что песня
Тогда взвеселится, вольна,
Когда со стихией былого
Родимой сольется она.

⟨1910—1916⟩

* * *

Не каждый ли день — ожиданье,
Не каждый ли вечер — обман?
Лишь ночью покой вожделенный
Житейскому путнику дан,
Целящий бальзамом забвенья
Всю жгучесть нещадную ран.

И этот покой и забвенье
Не в темном бесчувствии сна,
А в том просветленье волшебном,
Какое дарит тишина,
Когда одинокому духу
Душа мировая слышна.

⟨1910—1916⟩

* * *

Люблю я, русский, русского Христа,
Русь исходившего, благословляя,—

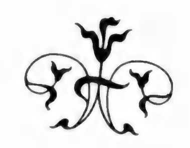
И всем дыханием родного края
Жила моя любовь,— как Он, проста.

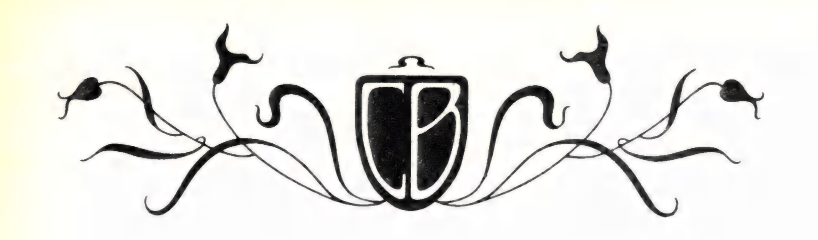
Теперь душе понятна красота
Не тихая, не близкая, иная —
Пред той земной не более ль земная?—
Как окравлённые три креста.

Чьим преданный нечистым поцелуем,
Русь, твой Христос терзаем и бичуем
В обличии презренного раба?

Вернись к Нему скорей тропою тесной,
Освободи Его от ноши крестной!
Люблю и верю: вот твоя судьба.

⟨1918—1921⟩





ВАСИЛИЙ ГИППИУС

Ревность

Не о неверном думать дыме,
Не в нежности заледенеть,
Но помнить пламенное имя
В прозрачной, райской тишине,

Но истощать разлукой душу,
Но жадно жечь уста твои,
Как будто ты со мной, и душишь,
И стонешь от моей любви,

Как будто времена не властны
И будущее — тоже труп,
Как будто нет для губ прекрасных
Чужих и истомленных губ.

И скорби нет в садах вечерних,
В Господнем, огненном раю,
И мой единственный соперник —
Он, Сотворивший плоть твою.

⟨1912⟩

АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН

* * *

М. А. Кузмину

В моей полутемной комнате
В углу потемневший Спас,
Такой же суровый, что — помните?—
Пленил когда-то и вас.

Шкафы наполнены книгами
(Два шкафа, но будет пять):
Их мудростью, точно веригами,
Люблю себя облекать.

Пред Спасом лампада красная.
Я рад, влача на плечах
Вериги, что дума согласная
С моей у Спаса в очах.

1910

* * *

Красный песок на дорожках.
Дряхлый сатир на глыбе замшелой.
Нежной рукой сплетенный, белый
Венок повис на козлиных рожках.

Старая башня в куртинах.
С нее кругозор широк, безмерен,
И грустящий сатир затерян
В твоих, Россия, тихих равнинах.

Клонит он чуткое ухо:
Не несет ли ветер пляски топот,—
Но слышен только листьев шепот,
Да бьется где-то синяя муха.

1911

Ярославская

Ты сыграй, а я спою
Про участь горькую мою.

Как во славном Питербурхе,
Во столице на Песках,
    Эх-ха-ха, эх-ха-ха,
    Во столице на Песках,

Жили-были, поживали
Два братана молодых.

Одного крестили Власом,
А другого-то Титом.

В ресторации ходили,
Развеселу жизнь вели.

А на масленой неделе
Собралися вдруг домой.

Добралися до деревни,
Да немного привезли.

Влас привез всего полтинник,
Тит — дырявый четвертак.

Понадумали кататься,
Только лошади-то нет.

Серо-пегую лошадку
Призаняли у Петра.

Стали парни обряжаться,
О нарядах домекать.

Хоть у каждого пальтушка,
На двоих пара сапог.

Влас, однако, парень умный,
Поделил он сапоги.

Он на праву ногу лапоть,
А на леву сапожок.

Леву ногу через грядку,
Праву ногу под кулек.

Тит на леву ногу лапоть,
А на праву сапожок.

Праву ногу через грядку,
Леву ногу под кулек.

Как поехали деревней,
Только снег кругом летел.

А приехали к Успенью,
Собиралось всё село.

Красны девицы глазели
На заезжих пареньков.

Посудачили старушки
Про богатых женихов.

Прокатились, похвалились
И вернулися домой.

Ну и дошлые ребята
Ярославцы-молодцы!
1912

* * *

А. А. Блоку

Мне было тайно ваше Слово
Поведано, и ныне я,
Как год назад, касаюсь снова
Загадочного бытия.

Мое приемлющее сердце
В тиши подсказывает мне,
Что вижу в вас единоверца,
Но всё же я смотрю извне.

Какое малое оконце!
И Слово всё ушло в слова.
А за окном так ярко солнце,
И к солнцу тянется трава.

Еще томит глухое бремя,
Что налагают шум и толк.
Но вижу День: Иное Время
Преобразит наш сирый полк.

И в мудрой стае лебединой
Мы вместе поплывем туда,
С путеводительною льдиной,
Где блещет рдяная Звезда.

О брат! Когда из вод просветит
Сокрытое на дне кольцо,
Каким сиянием ответит
Твое влюбленное лицо!

1912

* * *

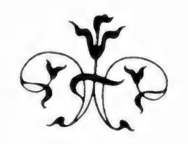
Прикованный к постели,
Лежу давным-давно.
Белеется окно,
А сбоку смотрят ели.

Припомнишь жизнь былую,
Лихие кутежи,—

Гулял напропалую,
Но будет: полежи.

Всё думаю. А страх
Томит, и сердце бьется:
Вдруг смерть-то подберется
И станет в головах?

1912



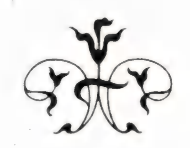
ВЛАДИМИР ГИППИУС

* * *

В беспамятстве небесный свод над нами,
В беспамятстве простертая земля,
В беспамятстве раскинулись — хлебами
И семенами пьяные поля...

Ночей и дней, лучей и тьмы томленье,
И смерть, и сон — всё сны, всё сны мои, —
И ты одна в последнем ощущенье,
И звездный свет, весь свет — в твоей крови!

⟨1912—1914⟩



ВИКТОР ГОФМАН

Весне

Весна, приди, не медли боле,—
Мое унынье глубоко,—
Моей усталой, тихой боли
Коснись ласкающе-легко.
Я изнемог от дум бессильных,
От исступления в борьбе,
Как узник из глубин могильных,
Тянусь я с трепетом к тебе.
Природы грустный отщепенец,
Восславивший свободный ум,
Я жалкий пленник жалких пленниц —
Навек порабощенных дум...
О, если б быть опять ребенком,
Не думать горько ни о чем,
Тонуть в сиянье нежно-тонком
Под воскрешающим лучом.
Чтоб, затушив мятеж сознанья,
Приникнуть к шелестам травы,
Впивая тихое сиянье
Непостижимой синевы.

1908

Вдвоем

Морозная ночь. На окне бриллианты.
Мерцает и блещет их снежная грань.
Душистые волосы, шпильки и банты
И тело сквозь тонкую ткань.

Какое безумье, какая истома
К губам исступленным припасть,
И с них, как с волшебных краев водоема,
Принять безысходную страсть!

Всё глуше, протяжней и всё погребальней
Метельный напев за окном.
А здесь, в этой душной, натопленной спальне,
Какое безумье вдвоем!

Там шумная вьюга, там песни метели,
Подобные пению труб.
А здесь на горячем, на трепетном теле —
Следы обезумевших губ!

Закрыты глаза, обессилено тело,
Сползли волоса на виски.
Но груди как прежде упруги и белы,
Как гранёный опал их соски.

Не надо теперь никаких достижений,
Ни истин, ни целей, ни битв.
Вся жизнь в этом ритме безумных движений —
Ему исступленье молитв!

Пусть мир сострясают снега и метели
И громы архангельских труб.
Всё в этом горячем, порывистом теле
Открыто безумию губ.

1908

В плену

Задумчивый по улицам ходил я много раз,
Как близкого приветствовал меня дрожащий газ.
И я смотрел доверчиво на цепи фонарей,
На тихое сияние закатных янтарей.

И всё казалось призрачным средь неподвижных стен,
Закутанным, захваченным в какой-то тайный плен.
С безмолвным пониманием глядящим в глубину,
Любовно убаюканным в ласкающем плену.

Порой бывали огненны и жутки вечера.
Казалось, срок исполнился,— последняя пора.
Бежали неба красного, теснились возле стен,
Боялись, что разрушится наш бестревожный плен.

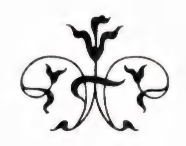
Но вновь спускалась призрачность укромной тишины,
И снова всё лелеяли ласкающие сны,
И снова тени тихие, уставшие от дня,
Отдавшись грезе трепетной, скользили близ меня.

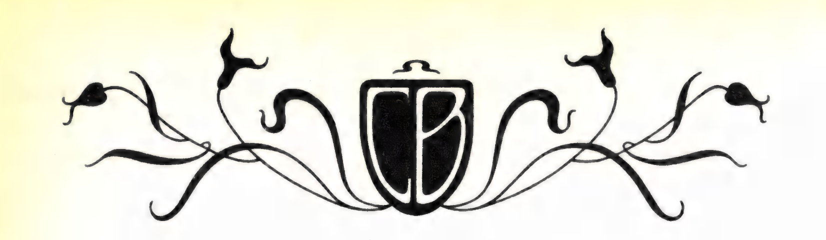
Когда вечерним сумраком сменялась бирюза,
У них бывали грустные, бездонные глаза.
И руки слабо-белые без жизни и без сил,
И эти руки слабые я трепетно любил.

И стал я тоже призрачным, как тени вкруг меня,
Как эти тени бледные, боявшиеся дня.
С душой, навек отдавшейся мечте и тишине,
Бегущей жизни красочной, живущей лишь во сне.

И в счастье беспредельное с тех пор я погружен,
Сливаюсь с миром призраков, сам обращаюсь в сон.
С благоговейным трепетом лелею тишину,
Навеки убаюканный в ласкающем плену.

1908





ДМИТРИЙ СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

* * *

Твой голос тих, лицо бесстрастно,
Но молча, тайно знаешь ты
Всю мощь твоей слепой и властной
Александрийской красоты.

Твоих волос ночная арка,
Твоих бровей густая смоль
Сулит торжественно и жарко
Любви божественную боль.

В твоих глазах зарниц зеленых
Змеится смутный пересвет,
И в них предвестье предрешенных,
Но не одержанных побед.

Безмолвен, робок, околдован
Волшебной силой властных чар,
Я точно жертва уготован
Принять назначенный удар.

* * *

Темно, безмолвно и бездонно небо.
Светила тусклым серебром горят.
Трещит сверчок. И в звонких копнах хлеба
Как будто чьи-то крылья шелестят.

В безветрии томясь и замирая,
Деревья спят тяжелым сном без грез.
Столбы огня и дыма извергая,
Вдали ползет ленивый паровоз.

Но звуки, голоса и колебанья —
Всё только греза вечной тишины.
Встают во тьме всемирного молчанья —
Неясные, пугающие сны.

И черные, разорванные тучи,
Как змеи, как драконы в небесах
Возносятся, безмолвны и могучи,
И стелются, стирая звездный прах.

Белый дом

Упав с высокого уступа
И ветки в реку уронив,
Ничком лежат четыре трупа
Деревий, сброшенных в обрыв.

И пусто, где стояли ели,
И обнажен обрыв крутой,
Где старый, белый дом без цели
Стоит, забытый и немой.

Забиты окна строем досок,
Грустит разобранный балкон.
Весь дом как поздний отголосок
Недавно минувших времен.

Счастливый сон! Безмолвья комнат
Не осквернит наружный свет.
Там бродят призраки, что помнят
Печаль и блеск минувших лет.

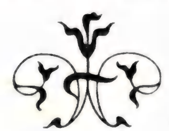
Минувших лет погост недавний
Храня ревниво от зари,
Мертво глядят глухие ставни
И не расскажут, что внутри.

1907
Покровское

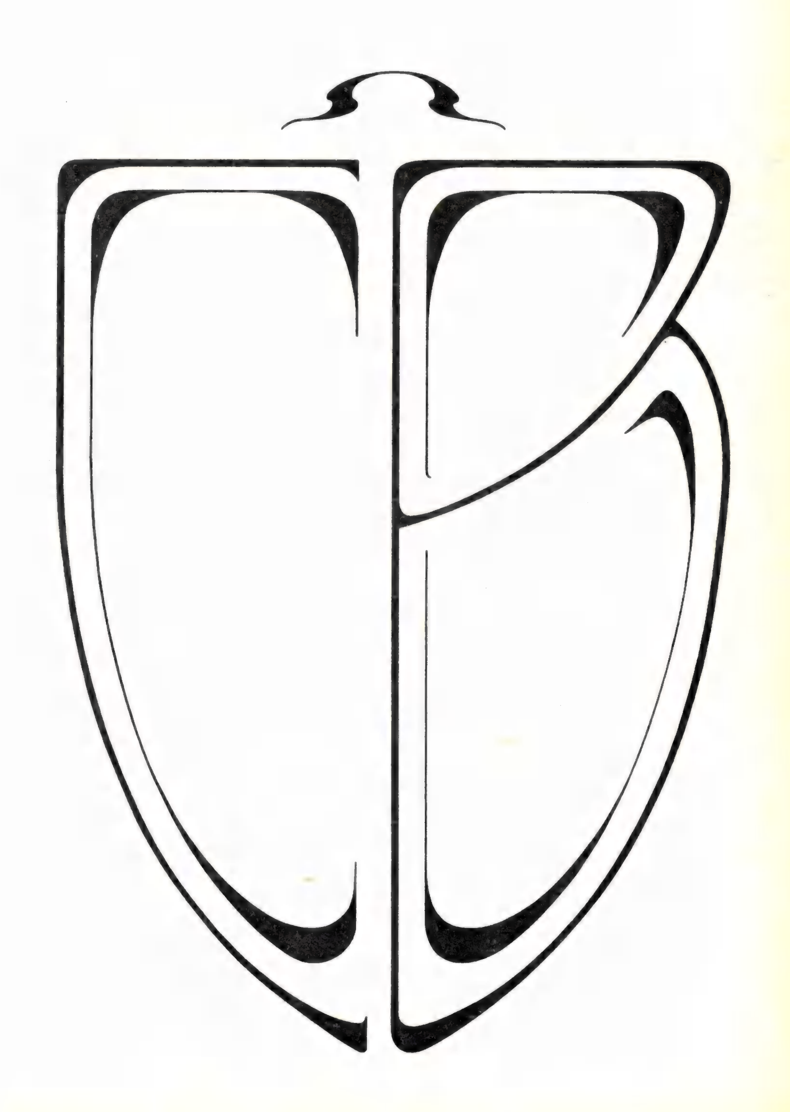
* * *

> Мне жаль, что в тереме забытом
> Растет пустынная трава.
>
> *Пушкин*

Мне жаль, что высота Престола
Нам не страшна и не свята,
Что нет Великого Могола,
Что торжествует мелкота;
Мне жаль, что нет Тимура Лянга,
Что Македонская фаланга
Не повторит великих дел,
Что раз достигнутый предел
Нас не влечет к другим победам,
Что в сей холодный, трезвый век
Смешон нам предков смелый бег,
Что нет вождей, подобных дедам,
Что предрассудков срублен лес,
Что нет преград и нет завес.
Мне жаль, что спит в забытых урнах
Священный прах великих дней,
Что на трагических котурнах
Не ходит древний лицедей,
Что нет ни Зевса, ни Изиды,
Что мы не строим пирамиды,
Что мы не пишем Илиад,
Что здравый ум и трезвый взгляд
Разрушил таинства стихии,
Что только плуг вздымает пыль,
Где прежде рос степной ковыль,
Что из-под пепла Ниневии
Грозой не встанет в черный день
Царей развенчанная тень.



Акмеисты



Михаил Кузмин

Николай Гумилев

Анна Ахматова

Осип Мандельштам

Сергей Городецкий

Владимир Нарбут

Михаил Зенкевич

Максимилиан Волошин

Черубина де Габриак

Сергей Маковский

Василий Комаровский

Николай Недоброво

Михаил Лозинский

Владимир Шилейко

Валентин Кривич

Георгий Иванов

Георгий Адамович

Николай Оцуп

Ирина Одоевцева

Всеволод Рождественский

Николай Тихонов

Константин Вагинов

МИХАИЛ КУЗМИН

* * *

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар прохладе влаги рад.

Твой нежный взор, лукавый и манящий,—
Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьерро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!

1906

* * *

Кому есть выбор, выбирает;
Кто в путь собрался,— пусть идет;
Следи за картой, кто играет,
Лети скорей, кому — полет.
Ах, выбор вольный иль невольный
Всегда отрадней трех дорог!
Путь без тревоги, путь безбольный —
Тот путь, куда ведет нас рок.
Зачем пленяться дерзкой сшибкой?
Ты — мирный путник, не боец.
Ошибку думаешь ошибкой
Поправить ты, смешной слепец?
Всё, что прошло, как груз ненужный,
Оставь у входа навсегда.
Иди без дум росой жемчужной,
Пока горит твоя звезда.
Летают низко голубята,
Орел на солнце взор вперил.
Всё, что случается, то свято;
Кого полюбишь, тот и мил.

1907. Ноябрь

Из «Александрийских песен»

* * *

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу белые стены дома,
небольшой сад с грядкой левкоев,
бледное солнце осеннего вечера
и слышу звуки далеких флейт.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу звезды над стихающим городом,
пьяных матросов в темных кварталах,
танцовщицу, пляшущую «осу»,
и слышу звук тамбурина и крики ссоры.

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-багровый закат над зеленым
морем,

мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия!»

⟨1907⟩

* * *

Люди видят сады с домами
и море, багровое от заката,
люди видят чаек над морем
и женщин на плоских крышах,
люди видят воинов в латах
и на площади продавцов с пирожками,
люди видят солнце и звезды,
ручьи и светлые речки,
а я везде только и вижу
бледноватые смуглые щеки,
серые глаза под темными бровями
и несравнимую стройность стана,—
так глаза любящих видят
то, что видеть велит им мудрое сердце.

⟨1907⟩

* * *

Когда утром выхожу из дома,
я думаю, глядя на солнце:
«Как оно на тебя похоже,
когда ты купаешься в речке
или смотришь на дальние огороды!»
И когда смотрю я в полдень жаркий
на то же жгучее солнце,
я думаю про тебя, моя радость:
«Как оно на тебя похоже,
когда ты едешь по улице людной!»
И при взгляде на нежные закаты
ты же мне на память приходишь,
когда, побледнев от ласк, ты засыпаешь
и закрываешь потемневшие веки.

⟨1907⟩

Маскарад

Кем воспета радость лета:
Рощи, радуга, ракета,
На лужайке смех и крик?
В пестроте огней и света
Под мотивы менуэта
Стройный фавн главой поник.

Что белеет у фонтана
В серой нежности тумана,
Чей там шепот, чей там вздох?
Сердца раны — лишь обманы,
Лишь на вечер те тюрбаны
И искусствен в гроте мох.

Запах грядок прян и сладок,
Арлекин на ласки падок,
Коломбина не строга.
Пусть минутны краски радуг —
Милый, хрупкий мир загадок,
Мне горит твоя дуга!

⟨1907⟩

* * *

Сегодня что: среда, суббота?
Скоромный нынче день иль пост?
Куда девалася забота,
Что всякий день и чист и прост.

Как стерлись, кроме Вас, все лица,
Как ровно дни бегут вперед!
А, понял я: «Сплошной седмицы»
В любви моей настал черед.

Декабрь 1911— январь 1912

Мария Египетская

М. Замятниной

Ведь Марию Египтянку
Грешной жизни пустота
Прикоснуться не пустила
Животворного креста.
А когда пошла в пустыню,
Блуд забыв, душой проста,
Песни вольные звучали
Славой новою Христа.
Отыскал ее Зосима,
Разделив свою милоть,
Чтоб покрыла пред кончиной
Уготованную плоть.
Не грехи, а Спаса сила,
Тайной жизни чистота
Пусть соделает Вам легкой
Ношу вольного креста.
А забота жизни тесной,
Незаметна и проста,
Вам зачтется, как молитва,
У воскресного Христа,
И отыщет не Зосима,
Разделив свою милоть:
Сам Христос, придя, прикроет
Уготованную плоть.

1 апреля 1912 г.

Русская революция

Словно сто лет прошло, а всего неделя!
Какое, неделя... двадцать четыре часа!
Сам Сатурн удивился: никогда доселе
Не вертелась такой вертушкой его коса.
Вчера еще народ стоял темной кучей,
Изредка шарахаясь и смутно крича,
А Аничков дворец красной и пустынной тучей
Слал залп за залпом с продажного плеча.
Вести (такие обычные вести!)
Змеями ползли: «Там пятьдесят, там двести
Убитых...» Двинулись казаки.

«Они отказались. Стрелять не будут!..» —
Шипят с поднятыми воротниками шпики.
Сегодня... сегодня солнце, встав,
Увидело в казармах отворенными все ворота.
Ни караульных, ни городовых, ни застав.
Словно никогда и не было ни охранника, ни пулемета.
Играет музыка. Около Кирочной бой,
Но как-то исчезла последняя тень испуга.
Войска за свободу! Боже, о Боже мой!
Все готовы обнимать друг друга.
Вспомните это утро после черного вечера,
Это солнце и блестящую медь,
Вспомните, что не снилось вам в далекие вечера,
Но что заставляло ваше сердце гореть!
Вести все радостнее, как стая голубей...
«Взята Крепость... Адмиралтейство пало!»
Небо все ясней, все голубей.
Как будто Пасха в посту настала.
Только к вечеру чердачные совы
Начинают перекличку выстрелов,
С тупым безумием до конца готовы
Свою наемную жизнь выстрадать.
Мчатся грузовые автомобили,
Мальчики везут министров в Думу,
И к быстрому шуму
«Ура» льнет, как столб пыли.
Смех? Но к чему же постные лица,
Мы не только хороним, мы строим новый дом.
Как всем в нем разместиться,
Подумаем мы потом.
Помните это начало советских депеш,
Головокружительное: «Всем, всем, всем!»
Словно голодному говорят: «Ешь!»
А он, улыбаясь, отвечает: «Ем».
По словам прошелся крепкий наждак
(Обновители языка, нате-ка!).
И слово «гражданин» звучит так,
Словно его впервые выдумала грамматика.
Русская революция — юношеская, целомудренная,
благая,—
Не повторяет, только брата видит во французе,
И проходит по тротуарам, простая,
Словно ангел в рабочей блузе.

Март 1917

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Заклинание

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
Расточал рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений
Открывал пространства без границ,
Где носились сумрачные тени,
То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,
Огненные плавали столбы,
Гордые военные трибуны
Опускали взоры, как рабы.

А царица, тайное тревожа,
Мировой играла крутизной,
И ее атласистая кожа
Опьяняла снежной белизной.

Отданный во власть ее причуде,
Юный маг забыл про всё вокруг,
Он смотрел на маленькие груди,
На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал всё царице беззаконий,
Чем была жива его душа.

А когда на изумрудах Нила
Месяц закачался и поблек,
Бледная царица уронила
Для него алеющий цветок.

1907

Жираф

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад,
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых
трав...
Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад,
Изысканный бродит жираф.

1907

Старый конквистадор

Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор,
В дымном небе плавали кондоры,
Нависали снежные громады.

Восемь дней скитался он без пищи,
Конь издох, но под большим уступом
Он нашел уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с милым трупом.

Там он жил в тени сухих смоковниц,
Песни пел о солнечной Кастилье,
Вспоминал сраженья и любовниц,
Видел то пищали, то мантильи.

Как всегда, был дерзок и спокоен
И не знал ни ужаса, ни злости,
Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости.

⟨1908⟩

Из цикла
«Капитаны»

I

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель,

Чья не пылью затерянных хартий —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?

Памяти Анненского

К таким нежданным и певучим бредням
    Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
    Из царскосельских лебедей.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
    Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
    Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
    Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
    Мечтаний — слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи
    И еле слышные духи,

И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.

...Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей.

Там вечером и страшно и красиво,
В тумане светит мрамор плит,
И женщина, как серна боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.

Она глядит, она поет и плачет,
И снова плачет и поет,
Не понимая, что всё это значит,
Но только чувствуя — не тот.

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села.

1911

Возвращение

Анне Ахматовой

Я из дому вышел, когда все спали,
Мой спутник скрывался у рва в кустах,
Наверно, наутро меня искали,
Но было поздно, мы шли в полях.

Мой спутник был желтый, худой, раскосый,
О, как я безумно его любил!
Под пестрой хламидой он прятал косу,
Глазами гадюки смотрел и ныл.

О старом, о странном, о безбольном,
О вечном слагалось его нытье,
Звучало мне звоном колокольным,
Ввергало в истому, в забытье.

Мы видели горы, лес и воды,
Мы спали в кибитках чужих равнин,
Порою казалось — идем мы годы,
Казалось порою — лишь день один.

Когда ж мы достигли стены́ Китая,
Мой спутник сказал мне: «Теперь прощай.
Нам разны дороги: твоя — святая,
А мне, мне сеять мой рис и чай».

На белом пригорке, над полем чайным,
У пагоды ветхой сидел Будда́.
Пред ним я склонился в восторге тайном.
И было сладко, как никогда.

Так тихо, так тихо над миром дольным,
С глазами гадюки, он пел и пел
О старом, о странном, о безбольном,
О вечном, и воздух вокруг светлел.

⟨1912⟩

Змей

Ах, иначе в былые года
Колдовала земля с небесами,
Дива дивные зрелись тогда,
Чуда чудные деялись сами...

Позабыв Золотую Орду,
Пестрый грохот равнины китайской,
Змей крылатый в пустынном саду
Часто прятался полночью майской.

Только девушки видеть луну
Выходили походкою статной,—
Он подхватывал быстро одну,
И взмывал, и стремился обратно.

Как сверкал, как слепил и горел
Медный панцирь под хищной луною,
Как серебряным звоном летел
Мерный клекот над Русью лесною:

«Я красавиц таких, лебедей
С белизною такою молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной.

Но еще ни одна не была
Во дворце моем пышном, в Лагоре:
Умирают в пути, и тела
Я бросаю в Каспийское море.

Спать на дне, средь чудовищ морских,
Почему им, безумным, дороже,
Чем в могучих объятьях моих
На торжественном княжеском ложе?

И порой мне завидна судьба
Парня с белой пастушеской дудкой
На лугу, где девичья гурьба
Так довольна его прибауткой».

Эти крики заслышав, Вольга
Выходил и поглядывал хмуро,
Надевал тетиву на рога
Беловежского старого тура.

⟨1915⟩

Мужик

В чащах, в б отах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.

С остановившимся взглядом
Здесь проходил печенег...
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.

Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.

Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси

Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной,—
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.

Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?

Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.

«Что ж, православные, жгите
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?

В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».
⟨1916⟩

Рабочий

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

⟨1916⟩

Шестое чувство

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Всё ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

⟨1920⟩

Память

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи.
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья.
Память. Память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет.
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но всё пойму,

Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... Но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

⟨1920⟩

Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

⟨1920⟩

Заблудившийся трамвай

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,—
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик,— конечно тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
«Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?»

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: «Зеленная»,— знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

⟨1920⟩

Мои читатели

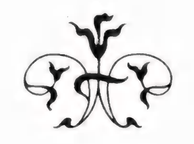
Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,

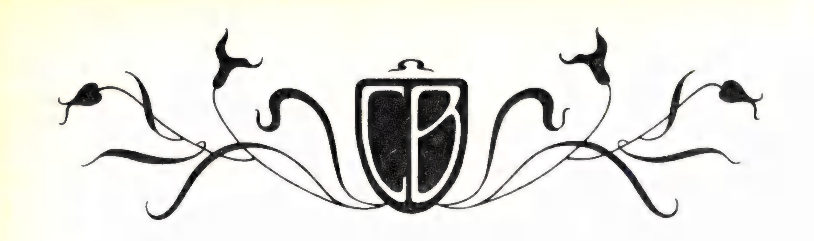
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас»,—
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

⟨1920⟩





АННА АХМАТОВА

Сероглазый король

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

11 декабря 1910
Царское Село

* * *

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

8 января 1911
Киев

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

29 сентября 1911
Царское Село

* * *

Покорно мне воображенье
В изображенье серых глаз.
В моем тверском уединенье
Я горько вспоминаю вас.

Прекрасных рук счастливый пленник,
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели вы,

Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но всё сильней скучает кровь.

И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет вам,
Кто стать звенящими поможет
Еще не сказанным словам?

Июль 1913
Слепнево

* * *

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои!

Декабрь 1913
Царское Село

Стихи о Петербурге

1

Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпенье
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных губ сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, —

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий —
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

1913

* * *

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий.
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

1913

* * *

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,

Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Январь 1914

* * *

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок божий — так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

Январь 1914

* * *

Был блаженной моей колыбелью
Темный город у грозной реки
И торжественной брачной постелью,
Над которой держали венки
Молодые твои серафимы, —
Город, горькой любовью любимый.

Солеёю молений моих
Был ты, строгий, спокойный, туманный.
Там впервые предстал мне жених,
Указавши мой путь осиянный,
И печальная Муза моя,
Как слепую, водила меня.

1914

Молитва

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Май 1915. Духов день
Петербург

* * *

Н. В. Н.

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти,—
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

Май 1915
Петербург

* * *

Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, темные селенья —
Хранилища бессмертного труда.

Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне в этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.

И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить —
Ты, тихая, сияешь предо мной.

1916

* * *

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон
И марево — столица эта.

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина,—
Всё искупить и всё исправить можно.

Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

1 января 1917
Слепнево

* * *

И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.
Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам,
Как после залпа сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

Лето 1917

* * *

И мнится — голос человека
Здесь никогда не прозвучит,
Лишь ветер каменного века
В ворота черные стучит.
И мнится мне, что уцелела
Под этим небом я одна —
За то, что первая хотела
Испить смертельного вина.

Лето 1917
Слепнево

* * *

А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.

Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Что наяву, не знаешь, что во сне,
Но зелены мучительные очи,—
Покоя, видно, не нашел в вине.

И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
Все чаще ветер западный приносит
Твои упреки и твои мольбы.

Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.

Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты не мог ее убить.

22 июля 1917
Слепнево

* * *

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Осень 1917

Петроград, 1919

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.

* * *

Наталии Рыковой

Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,

Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,—

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

Июнь 1921

* * *

Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?

Быть твоею сестрою отрадною
Мне завещано древней судьбой,
А я стала лукавой и жадною
И сладчайшей твоею рабой.

Но когда замираю, смиренная,
На груди твоей снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце — солнце отчизны моей!

25 сентября 1921

* * *

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насылала любовь.

С тобою мне сладко и знойно,
Ты близок, как сердце в груди.
Дай руки мне, слушай спокойно.
Тебя заклинаю: уйди.
И пусть не узнаю я, где ты.
О Муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
Моей не узнавший любви.

Осень 1921
Петербург

* * *

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

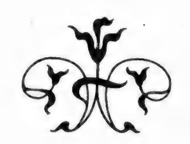
Июль 1922
Петербург

* * *

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..

Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный
подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Сентябрь 1922



ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

* * *

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть,—
Узора милого не зачеркнуть.

1909

Раковина

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь,
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей,

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

Айя-София

Айя-София,— здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен край, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество.
На парусах, под куполом, четыре
Архангела — прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

Notre Dame

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика,— и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна,— как броненосец в доке,—
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря.

1913

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи,—
На головах царей божественная пена,—
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

* * *

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,—
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

* * *

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

1917

* * *

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить,—
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1917

* * *

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа,
Нам пели Шуберта,— родная колыбель,
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир, коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник, пустое привиденье,
Бессмысленно глядит в холодное окно!

1918

* * *

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ!

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.

Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек,— и вот
Не видно солнца, вся стихия
Щебечет, движется, живет.
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца, и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1918

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате январской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи январской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах»,—

И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

1920

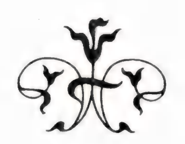
* * *

Умывался ночью на дворе,—
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч — как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова,—
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

1921



СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Зной

Не воздух, а золото,
Жидкое золото
Пролито в мир.
Скован без молота —
Жидкого золота
Не движется мир.

Высокое озеро,
Синее озеро
Молча лежит.
Зелено-косматое,
Спячкой измятое,
В воду глядит.

Белые волосы,
Длинные волосы
Небо прядет.
Небо без голоса,
Звонкого голоса,
Молча прядет.

Апрель 1905

Весна
(Монастырская)

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стены выбелены бело:
Мать игуменья велела!
У ворот монастыря
Плачет дочка звонаря:

«Ах ты, поле, моя воля,
Ах, дорога дорогá!
Ах, мосток у чиста поля,
Свечка чиста четверга!

Ах, моя горела ярко,
Погасала у него.
Наклонился, дышит жарко,
Жарче сердца моего.

Я отстала, я осталась
У высокого моста,
Пламя свечек колебалось,
Целовалися в уста.

Где ты, милый, лобызанный,
Где ты, ласковый такой?
Ах, пары весны туманны,
Ай, мой девичий спокой!»

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стены выбелены бело.
Мать игуменья велела
У ворот монастыря
Не болтаться зря!

15 апреля 1906

Весна

(Городская)

Вся измучилась, устала,
Мужа мертвого прибрала,
Стала у окна.
Высоко окно подвала,
Грязью стекла закидала
Ранняя весна.

Подышать весной немножко,
Поглядеть на свет в окошко:
Ноги и дома.
И, по лужам разливаясь,
Задыхается, срываясь,
Алая кайма.

Ноют руки молодые,
Виснут слезы горевые,
Темнота от мук.
Торжествует, нагло четок,
Конок стук и стук пролеток,
Деревянный стук.

Апрель 1905

Весна

(Деревенская)

Выступала по рыжим проталинам,
Растопляла снеги голубы,
Подошла к обнищалым завалинам,
Постучала в окошко избы:

«Выйди, девка, веселая, красная!
Затяни золотую косу,
Завопи: „Ой, весна, ой, прекрасная,
Наведи на лицо мне красу!“»

И выходит немытая, тощая:
«Ох, Белянка, Белянка, прощай!
Осерчала ты, мать Пирогощая,
Богородица-мать, не серчай!

Лупоглазую телку последнюю —
Помогай нам Никола! — продам.
За лесок, на деревню соседнюю
Поведу по весенним следам!»

28 февраля 1906

Веснянка

Жутко мне от вешней радости,
От воздушной этой сладости,
И от звона, и от грома
Ледолома
На реке
Сердце бьется налегке.

Солнце вешнее улыбчиво,
Сердце девичье узывчиво.
Эта сладкая истома
Незнакома
И страшна, —
Пала на́ сердце весна!

Верба, ягода пушистая,
Верба, ласковая, чистая!
Я бы милого вспугнула,
Хлестанула,
Обожгла,
В лес кружиться увела!

Я бы, встретивши кудрявого,
Из-за облака дырявого
Вихрем волосы раздула
И шепнула:
«Милый, на!
Чем тебе я не весна?»

1907

Гость

Ах ты, Ванечка-солдатик,
Размалиновый ты мой!

Вспоминается мне братик
Перед бунтом и тюрьмой.

Вот такой же был курносый
Сероглазый миловид,
Только глаз один раскосый
Да кругом лица обрит.

Вместе знамя подшивали,
Буквы клеили на нем.
Знали: сбудем все печали,
Только площадь перейдем.

Белошвейня мне постыла,
Переплетная — ему.
Сердце волею заныло,
Ну-ка, душу подыму!

Только почту миновали
И к собору подошли,
Серой тучей наскакали,
Словно встали из земли.

Жгли, давили, не жалели,
Вот такие же, как ты...
Прочь, солдат, с моей постели!
Память горше бедноты!

Вот такие же хлестали
Беззащитную гурьбу.
Что глаза мои видали,
Не забуду и в гробу.

Уходи, солдат проклятый!
Вон он, братик, за тобой
Смотрит, чахлый, бледноватый,
Из постели гробовой.

Январь 1907

Поясок

Ай, мой синий, васильковый да шелко́вый поясок!
А на этом поясочке крепко стянут узелок.

Крепко стянут да затянут милой ласковой моей —
Крепче поручней железных, крепче тягостных цепей.

Я гулял тогда на воле и ее любил, как свет.
Рано утром на прощанье завязала мне привет.

Полон силы неуемной, уезжал от милой я.
«Помни, солнце, мой любимый, я всегда, везде твоя!»

Ехал вольный, не доехал — угодил как раз в тюрьму,
Брошен в склеп зеленоватый, в ледяную полутьму.

Из углов смеются стены: «Посиди-ка тут один!»
Но, стряхнувши грусть усмешкой, им в ответ
приволья сын:

«Был один бы, кабы не был да со мною поясок,
А на этом поясочке да вот этот узелок.

Был один бы, каб не чуял, что любимая вот тут,
В самом сердце, где живые голоса гудят, поют.

Был один бы, каб не ведал, что тюрьма людей полна,
Что и в каменной неволе воля вольная вольна!»

Ах, мой синий, васильковый да шелко́вый поясок!
А на этом поясочке стянут милой узелок.

21 августа 1907

Череда

Вот и пятый день подходит,
И пройдет, уйдет, как все.
Видно, поровну отводит
Время горю и красе.

Красоты я знал немало
И все больше ждал да ждал.
Горя будто не бывало —
Только слух о нем слыхал.

Вот и выпало на долю
Выпить горькое вино,

Посмотреть на синю волю
Сквозь железное окно.

И смотрю: она всё та же.
Да уж я-то не такой!
Но меня ли силе вражьей
Надо сжать своей рукой?

Пусть одни уста остынут,
Эти очи отцветут,
А вот те повязки скинут,
А вот эти оживут.

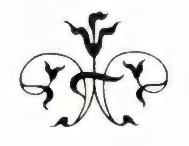
Камень сверху оторвался —
Убыль верху, прибыль там,
Где раскат его раздался
По долинам и горам.

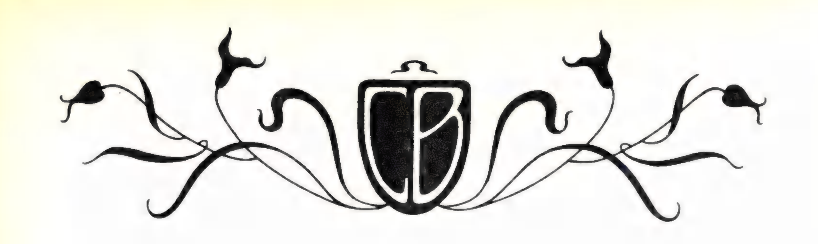
Сизый облак наклонился,
Сила вылилась дождем —
Свод пустынный прояснился,
А хлеба поют: взойдем!

Так и всё на этом свете,
И на всяком свете так:
Иссякают силы эти —
Восхожденью новых — знак.

Мы же, маленькие звенья,
Сохраняем череду:
«Ты прошел, сосед?» — «Прощенье!» —
«Ты идешь, сосед?» — «Иду!»

24 августа 1907





ВЛАДИМИР НАРБУТ

Гадалка

Слезливая старуха у окна
гнусавит мне, распластывая руку:
— Ты век жила и будешь жить — одна,
но ждет тебя какая-то разлука.
Он, кажется, высок и белоус.
Знай: у него — на стороне — зазноба...—
На заскорузлой шее — нитка бус:
так выгранить гранаты и не пробуй!
Зеленые глаза — глаза кота,
скупые губы — сборками поджаты;
с землей роднится тела нагота,
а жилы — верный кровяной вожатый.
Вся закоптелая, несметный груз
годов несущая в спине сутулой,—
она напомнила степную Русь
(ковыль да таборы), когда взглянула.
И земляное злое ведовство
прозрачно было так, что я покорно
без слез, без злобы — приняла его,
как в осень пашня — вызревшие зерна.

⟨1911⟩

Красная Россия

Щедроты сердца не разменяны.
И хлеб — все те же пять хлебов,
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов!

Бредя тропами незнакомыми
И ранами кровоточа,
Лелеешь волю исполкомами
И колесуешь палача.

Здесь, в меркнущей фабричной копоти,
Сквозь гул машин, вопит одно:
— И улюлюкайте, и хлопайте
За то, что совершить дано!

А там, зеленая и синяя,
Туманно-алая дуга
Восходит над твоею скинией,
Где — что ни капля, то серьга.

Бесслезная и безответная!
Колдунья рек, трущоб, полей!
Как медленно, но всепобедная
Точится мощь от мозолей!

И день грядет и — молний трепетных
Распластанные веера
На труп укажут за совдепами,
На околевшее Вчера.

И Завтра... веки чуть приподняты,
Но мглою даль заметена...
Ах, с розой девушка — Сегодня! Ты —
Обетованная страна!

⟨1918⟩

Самоубийца

В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!

А. Пушкин

Ну, застрелюсь. И это очень просто:
нажать курок, и выстрел прогремит.

И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонок торчит,
поддерживая плечи — для хламид.
А дальше — что?
Поволокут меня
в плетущемся над головами гробе
и, молотком отрывисто звеня,
придавят крышку, чтоб в сырой утробе
великого я дожидался дня.
И не заметят, что, быть может, гвозди
концами в сонную вопьются плоть:
ведь скоро, всё равно, под череп грозди
червей забьются и — начнут полоть
то, чем я мыслил, что мне дал господь.
Но в светопреставленье, в Страшный Суд —
язычник! — я не верю: есть же радий.
Почию и услышу разве зуд
в лиловой, прогнивающей громаде,
чьи соки жесткие жуки сосут?
А если вдруг распорет чрево врач,
вскрывая кучу (цвета кофе) слизи,—
как вымокший заматерелый грач,
я (я — не я!), мечтая о сюрпризе,
разбухший вывалю кишок калач.
И, чуя приступ тошноты от вони,
свивающей дыхание в спираль,
мой эскулап едва-едва затронет
пинцетом, выскобленным, как хрусталь,
зубов необлупившихся эмаль.
И вновь,— теперь уже, как падаль,— вновь
распотрошенного и с липкой течкой
бруснично-бурой сукровицы, бровь
задравшего разорванной уздечкой,
швырнут меня...
Обиду стерла кровь.
И ты, ты думаешь, по нем вздыхая,
что я приставлю дуло (я!) к виску?
...О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку...

⟨1920⟩

Зной

Упал, раскинулся и на небо гляжу.
В сиропе — в синеве густой — завязнуть хочет
расслабленный, дрожащий судорожно кобчик.
А зной, как ливень, в жито, в жито — чрез межу.
Голубенькая, глупенькая стрекоза
прилипла к льющемуся колосу и — жмутся
морщинистые складки живота; смеются
две пуговицы перламутровых: глаза.
Лупатая!
Висишь над самой головой
и слушаешь, как надрывается кузнечик.
Смешно, что нынче я — никчемный человечек,
сраженный зыбкой негой, млею, чуть живой?
Ну да.
Зато, когда б сквозь жаркий и зеленый,
и васильковый бор сюда вдруг забрела
она — и ты, как пасечник во дни урона,
во дни ройбы, промолвила бы:
— «Вот и рай!..»

⟨1920⟩

* * *

Одно влеченье: слышать гам,
чуть прорывающий застой,
бродя всю жизнь по хуторам
Григорием Сковородой.
Не хаты и не антресоль
прельстят, а груша у межи,
где крупной зернью ляжет соль
на ломоть выпеченной ржи.
Сверчат кузнечики.
И высь —
сверкающая кисея.
Земля-праматерь!
Мы слились:
твое — мое, я — ты, ты — я.
Мешает ветер пятачки,
тень к древу пятится сама;
перекрестились ремешки,
и на плечах опять сума.

Опять долбит клюка тропу,
и сердце, что поет, журча,—
проклюнувшее скорлупу
баюкаемое курча.

⟨1920⟩

* * *

Цедясь в разнеженной усладе,
вся жизнь текла и — протекла.
Но как побрел бы, бога ради,
поклянчить грубого угла!
К сохе, в степи, где край непочат,
подвесть мордатого коня,
и, знаю, ветры защекочут
руками хлябкими меня.
И, только солнце выткет кокон,
в него залезет и замрет,—
чрез прясло, возле влажных окон,
перевалиться в огород,
нарвать моркови и укропа,
гнездо картофеля подрыть
и после, в печке низколобой,
сгребая пену, суп варить...
И, помянув Христа во вздохе,
отдаться тяге сна легко,
чтоб видеть медленные сохи
на горизонте — далеко...

⟨1920⟩

После грозы

Как быстро высыхают крыши.
Где буря?
Солнце припекло!
Градиной вихрь на церкви вышиб —
под самым куполом — стекло.
Как будто выхватил проворно
остроконечную звезду —
метавший ледяные зерна,
гудевший в небе на лету.

Овсы — лохматы и корявы,
а рожью крытые поля:
здесь пересечены суставы,
коленцы каждого стебля!
Христос!
Я знаю, ты из храма
сурово смотришь на Илью:
как смел пустить он градом в раму
и тронуть скинию твою!
Но мне — прости меня, я болен,
я богохульствую, я лгу —
твоя раздробленная голень
на каждом чудится шагу.

⟨1920⟩

Сеанс

Для меня мир всегда был прозрачней воды.
Шарлатаны — я думал — ломают комедию.
Но вчера допотопного страха следы,
словно язвы, в душе моей вскрыл этот медиум.
С пустяков началось, а потом как пошло
и пошло — и туда, и сюда — раскомаривать:
стол дубовый, как гроб, к потолку волокло,
колыхалось над окнами желтое марево,
и звонил да звонил, что был заперт в шкапу,
колокольчик литой, не нечаянно тронутый.
На омытую холодом ровным тропу
двое юношей выплыли, в снег опелёнуты.
Обезглавлен, скользя, каждый голову нес
пред собой на руках, и глаза были зелены,
будто горсть изумрудов — драконовых слез —
переливами млела, застрявши в расщелинах.
Провалились и — вдруг потемнело.
Но дух
нехороший, тяжелый-тяжелый присунулся.
Даже красный фонарь над столом — не потух! —
почернел, как яйцо, где цыпленок наклюнулся.
— Ай, ай, ай — кто-то гладит меня по спине, —
дама, взвизгнув, забилась, как птица, в истерике.
Померещилось лапы касанье и мне...
Хлынул газ из рожков и — на ярком мы береге.

— Боже, как хорошо! — мой товарищ вздохнул,
проводя по лицу трепетавшими пальцами.
А за окнами плавился медленный гул:
может, полночь боролась с ее постояльцами.
И в гостиной — дерзнувший чрез душу и плоть
пропустить, как чрез кабель, стремление косное —
всё не мог, изможденный, еще побороть
сотворенное бурей волнение грозное.
И, конечно, еще приносили они —
двое юношей, кем-то в веках обезглавленных, —
перед меркнущим взором его простыни
в сферах, на землю брошенных, тленом отравленных.

⟨1920⟩

В эти дни

Дворянской кровию отяжелев,
густые не полощутся полотна,
и (в лапе меч), от боли корчась, лев
по киновари вьется благородной.
Замолкли флейты, скрипки, кастаньеты,
и чуют дети, как гудит луна,
как жерновами стынущей планеты
перетирает колья тишина.
— Глядите, сонмы нищих и калек
(се голос рыбака из Галилеи)! —
Лягушки кожей крытый человек
прилег за гаубицей короткошеей.
Кругом косматые роятся пчелы
и лепят улей медом со смолой.
А по ярам добыча волчья — сволочь, —
чуть ночь, обсасывается луной...
Не жить и не родиться б в эти дни!
Не знать бы маленького Вифлеема!
Но даже крик: распни его, распни! —
не уязвляет воинского шлема,
и, пробираясь чрез пустую площадь,
хромающий на каждое плечо,
чело вечернее прилежно морщит
на Тютчева похожий старичок.

1921

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ

* * *

Уж солнце маревом не мает,
Но и луны прохладный блеск
Среди хлебов не унимает
Кузнечиков тревожный треск.

Светло, пустынно в небе лунном.
И перистые облака
Проходят стадом среброрунным,
Лучистой мглой пыля слегка.

И только изредка зарница,
Сгущая млечной ночи гнет,
Как будто девка-озорница,
Подолом красным полыхнет.

1910

Темное родство

О темное, утробное родство,
Зачем ползешь чудовищным последом
За светлым духом, чтоб разумным бредом
Вновь ожило всё, что в пластах мертво?

Земной коры первичные потуги,
Зачавшие божественный наш род,
И пузыри, и жаберные дуги —
Всё в сгустке крови отразил урод.

И вновь, прорезав плотные туманы,
На теплые архейские моря,
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,
Льет бледный свет пустынная заря.

И, размножая легких инфузорий,
Выращивая изумрудный сад,
Всё радостней и золотистей зори
Из облачного пурпура сквозят.

И солнце парит топь в полдневном жаре,
И в зарослях хвощей из затхлой мглы
Возносятся гигантских сигиллярий
Упругие и рыхлые стволы.

Косматые — с загнутыми клыками —
Пасутся мамонты у мощных рек,
И в сумраке пещер под ледниками
Кремень тяжелый точит человек...

О предки дикие! Как жутко крепок
Союз наш кровный! Воли нет моей,
И я с душой мятущейся — лишь слепок
Давно прошедших, сумрачных теней.

И, им подвластный, солнечный рассудок,
Сгустив в мозгу кровавые пары,—
Как каннибалов пляшущих желудок,
Ликуя, правит темные пиры.

1911

* * *

Вы хищная и нежная. И мне
Мерещитесь несущеюся с гиком
За сворою, дрожащей на ремне,
На жеребце степном и полудиком.
И солнечен слегка морозный день.
Охвачен стан ваш синею черкеской.
Из-под папахи белой, набекрень
Надвинутой, октябрьский ветер резкий
Взлетающие пряди жадно рвет.
Но вы несетесь бешено вперед
Чрез бурые бугры и перелески,
Краснеющие мерзлою листвой,
И словно поволокой огневой
Подернуты глаза в недобром блеске
Пьянящегося кровью торжества.
И тонкие уста полуоткрыты,
К собакам под арапник и копыта
Бросают в ветер страстные слова.
И вот, оканчивая бег упругий
Могучим сокрушительным броском,
С изогнутой спиной кобель муругий
С откоса вниз слетает кувырком
С затравленным матерым русаком.
Кинжала взлет серебряный и краткий —
И вы, взметнув сияньем глаз стальным,
Швыряете кровавою перчаткой
Отрезанные пазанки борзым.
И, в стремена вскочив, опять во мглу
Уноситесь. И кто еще до ночи
На лошадь вспененную вам к седлу,
Стекая кровью, будет приторочен?
И верю, если только доезжачий
С выжлятниками, лихо отдаря
Борзятников, нежданною удачей
Порадует и гончих гон горячий
Поднимет с лога волка-гнездаря,—
То вы сумеете его повадку
Перехитрить, живьем, сострунив, взять
Иль в шерсть седеющую, под лопатку
Ему вонзить кинжал по рукоять.
И проиграет сбор рожок веселый,
И вечерами, отходя ко сну,
Ласкать вы будете ногою голой
Его распластанную седину...

Так что же неожиданного в том,
Что я вымаливаю, словно дара,
Как волк, лежащий на жнивье густом,
Лучистого и верного удара!

1916

* * *

Подсолнух поздний догорал в полях,
И, вкрапленный в сапфировых глубинах,
На легком зное нежился размах
Поблескивающих крыльев ястребиных.

Кладя пределы смертному хотенью,
Казалось, то сама судьба плыла
За нами по жнивью незримой тенью
От высоко скользящего крыла.

Как в этот полдень, пышности и лени
Исполнена, ты шла, смиряя зной.
Лишь платье билось пеной кружевной
О гордые и статные колени.

Да там, в глазах, под светлой оболочкой,
На обреченного готовясь пасть,
Средь синевы темнела знойной точкой,
Поблескивая, словно ястреб, страсть.

1916

* * *

За нивами настиг урон
Леса. Обуглился и сорван
Лист золотой. Какая прорва
На небе галок и ворон!

Чей клин, как будто паутиной
Означен, виден у луны?
Не гуси... нет!.. То лебединый
Косяк летит, то — кликуны.

Блестя серебряною грудью,
Темнея бархатным крылом,
Летят по синему безлюдью
Вдоль Волги к югу — напролом,

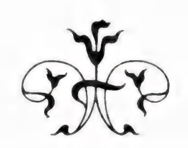
Спешат в молчанье. Опоздали:
Быть может, к солнцу теплых стран,
Взмутив свинцовым шквалом дали,
Дорогу застит им буран.

Тревожны белых крыльев всплески
В заре ненастно-огневой,
Но крик, уверенный и резкий,
Бросает вдруг передовой.

И подхватили остальные
Его рокочущий сигнал,
И долго голоса стальные
Холодный ветер в вихре гнал.

Исчезли. И опять в пожаре
Закатном, в золоте тканья
Лиловой мглы, как хлопья гари,
Клубятся стаи воронья...

1918



МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

Предвестия

Сознанье строгое есть в жестах Немезиды —
Умей читать условные черты:
Пред тем, как сбылись Мартовские Иды,
Гудели в храмах медные щиты...

Священный занавес был в скинии распорот —
В часы Голгоф трепещет смутный мир...
О, Бронзовый Гигант! Ты создал призрак-город,
Как призрак-дерево из семени факир...

В багряных свитках зимнего тумана
Нам солнце гневное явило лик втройне,
И каждый диск сочился, точно рана...
И выступила кровь на снежной пелене.

А ночью по пустым и гулким перекресткам
Струились шелесты невидимых шагов,
И город весь дрожал далеким отголоском
Во чреве времени шумящих голосов...

Уж занавес дрожит перед началом драмы...
Уж кто-то в темноте — всезрящий, как сова,
Чертит круги и строит пентаграммы,
И шепчет вещие заклятья и слова.

9 января 1905

Петроград

Сергею Эфрону

Как злой шаман, гася сознанье
Под бубна мерное бряцанье
И опоражнивая дух,
Распахивает дверь разрух,—
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,
Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда,—
И враг что друг и друг что враг —
Меречат и двоятся... — так,
Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый...
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града —
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.

9 декабря 1917. Коктебель

На дне преисподней

Памяти А. Блока и Н. Гумилева

С каждым днем всё диче и всё глуше
Мертвенная цепенеет ночь.

Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дно твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Коктебель, 12 января 1922

Россия

Поэма

1

С Руси тянуло выстуженным ветром.
Над Карадагом сбились груды туч.
На берег опрокидывались волны
Нечастые и тяжкие. Во сне
Как тяжело больной вздыхало море,
Ворочаясь со стоном. Этой ночью
Со дна души вздувалось, нагрубало
Мучительно-бесформенное чувство —
Безмерное и смутное:
                    Россия...
Как будто бы во мне самом легла
Бескрайняя и тусклая равнина,
Белесою лоснящаяся тьмой,
Остуженная жгучими ветрами.
В молчании вился морозный прах...
Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров.

Мерцали солью топи Сиваша,
Да камыши шуршали на Кубани,
Да стыл Кронштадт... Украина и Дон,
Урал, Сибирь и Польша — всё молчало.
Лишь горький снег могилы заметал...
Но было так неизъяснимо томно,
Что старая всей пережитой кровью,
Усталая от ужаса душа
Всё вынесла бы — только не молчанье.

2

Я нес в себе — багровый, как гнойник,
Горячечный и триумфальный город,
Построенный на трупах, на костях
«Всея Руси» во мраке финских топей,
Со шпилями церквей и кораблей,
С застенками подводных казематов,
С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра.

В болотной мгле клубились клочья марев,
Российских дел неизжитые сны:

Царь, пьяным делом, вздернувши на дыбу,
Допрашивает Стрешнева: «Скажи —
Твой сын я али нет?», а Стрешнев с дыбы:
«А черт тя знает, чей ты... много нас
У матушки-царицы переспало...»

В конклаве всешутейского собора
На медведях, на свиньях, на козлах,
Задрав полы духовных облачений,
Царь, в чине протодьякона, ведет
По Петербургу машкерную одурь.

В кунсткамере хранится голова,
Как монстра, заспиртованного в банке,
Красавицы Марии Гамильтон...

В застенке Трубецкого равелина
Пытает царь царевича и кровь
Засеченного льет по кнутовищу...

Стрелец в Москве у плахи говорит:
«Посторонись-ка, царь,— мое здесь место».
Народ уж знает свычаи царей
И свой удел в строительстве империй.

Кровавый пир столбом стоит над Русью,
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведет проспекты страшных просек,
Покамест сам великий дровосек
Не валится, удушенный рукою —
Водянки иль предательства?.. Как знать!..
Но вздутая, таинственная маска
С лица усопшего хранит следы
Не то петли, а может быть подушки.

Зажатое в державном кулаке
Зверье Петра кидается на волю:
Царица из солдатских портомой,
Волк Меншиков, стервятник Ягужинский,
Лиса Толстой, куница Остерман —
Клыками рвут российское наследство.

Петр написал коснеющей рукой:
«Отдайте всё...» Судьба же дописала:
«...распутным бабам с хахалями их».

Елисавета с хохотом, без гнева
Развязному курьеру говорит:
«Не лапай, дуралей! Не про тебя-де
Печь топится...» А печи в те поры
Топились часто, истово и жарко
У цесаревен и императриц.
Российский двор стирает все различья
Блудилища, дворца и кабака.
Царицы коронуются на царство
По похоти гвардейских жеребцов.
Пять женщин распухают телесами
На целый век в длину и в ширину.
Россия задыхается под грудой
Распаренных грудей и животов.

Ее гноят в острогах и в походах
По Ладогам да по Рогервикам,
Голландскому и прусскому манеру
Туземцев учат шкипер да капрал,
Голштинский лоск сержант наводит палкой,
Курляндский конюх тычет сапогом,
Тупейный мастер завивает души,
Народ цивилизуют под плетьми
И обучают грамоте в застенке.
А в Петербурге крепость и дворец
Меняются жильцами, и кибитка
Кого-то мчит в Березов и в Пелым...

3

Минует век. И мрачная фигура
Встает над Русью: форменный мундир,
Бескровные щетинистые губы,
Мясистый нос, солдатский узкий лоб.
И взгляд неизреченного бесстыдства
Пустых очей из-под припухших век.
У ног ее до самых бурных далей
Нагих равнин — казарменный фасад
И каланча: ни зверя, ни растенья...
Земля судилась и осуждена:
Все грешники записаны в солдаты.
Всяк холм понизился и стал, как плац.
А над землей солдатскою шинелью
Провис до крыш разбухший небосвод.
Таким он был написан Джорджем Доу —
Земли российской первый коммунист —
Граф Алексей Андреич Аракчеев.

Он вырос в смраде гатчинских казарм,
Его избрал, взрастил и всхолил Павел.
«Дружку любезному» вставлял клистир
Державный мистик тою же рукою,
Что иступила посох Кузьмича
И сокрушила волю Бонапарта.
Его посев взлелеял Николай,
Десятки лет удавьими глазами
Медузивший засеченную Русь.

Раздерганный и полоумный Павел
Собой парадный открывает ряд

Штампованных солдатских автоматов,
Расписанных по прусским образцам
(Знак: «Made in Germany»; клеймо: Романов).
Царь козыряет, делает развод,
Глаза пред фронтом пялит растопыркой
И пишет на полях: «Быть по сему».

А между тем от голода, от мора,
От поражений, как и от побед,
Россию прет и вширь и вдаль — безмерно;
Ее сознание уходит в рост,
На мускулы, на поддержанье массы,
На крепкий тяж подпружных обручей.
Пять виселиц на Кронверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу,
Волы в Тифлис волочат «Грибоеду»,
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На розвальнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: «Собаке —
Собачья смерть» — придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот...
И всё тесней, всё гуще этот список...

Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови.
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточье гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином,
Размах столицы стал не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить,—
И пляшет стол, и щелкает стена —
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя:
Желвак От-Цу, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф...
Тень Александра Третьего из гроба
Заезжий вызывает некромант;
Царице примеряют от бесплодья
В Сарове чудотворные штаны.

Она, как немка, честно верит в мощи,
В юродивых и в преданный народ...
И вот со дна самой народной гущи —
Из тех же недр, откуда Пугачев,—
Рыжебородый с оморошным взглядом —
Идет Распутин в государев дом,
Чтоб честь двора, и церкви, и царицы
В грязь затоптать мужицким сапогом
И до низов ославить власть цареву.
И всё хмельней, всё круче чертогон...
В Юсуповском дворце, на Мойке — Старец
С отравленным пирожным в животе,
Простреленный, грозит убийце пальцем:
«Феликс, Феликс, царице всё скажу...»

Раздутая войною до отказа,
Россия расседается, и год
Солдатчина гуляет на просторе...
И где-то на Урале, средь лесов,
Латышские солдаты и мадьяры
Расстреливают царскую семью
В сумятице поспешных отступлений:
Царевич на руках царя, одна
Из женщин мечется, подушкой прикрываясь,
Царица выпрямилась у стены...
Потом их жгут и зарывают пепел.
Всё кончено. Петровский замкнут круг.

4

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Строителю необходимо сручье:
Дворянство было первым Р. К. П.—
Опричниною, гвардией, жандармом,
И парником для ранних овощей.

Но, наскоро его стесавши, невод
Закинул Петр в морскую глубину.
Спустя сто лет иными рыбарями
На невский брег был вытащен улов.
В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоянный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер,—
Бесценный клад для революций сверху.
Но просвещенных принцев испугал
Неутолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семя разночинцев при Втором.
Не в первый раз без толка расточали
Правители созревшие плоды:
Боярский сын, долбивший при Тишайшем
Вокабулы и вирши,— при Петре
Служил царю армейским интендантом.
Отправленный в Голландию Петром
Учиться навигации, вернувшись,
Попал не в тон галантностям цариц.
Екатерининский вольтерианец
Свой праздный век в деревне пробрюзжал.
Ученики французских эмигрантов,
Детьми освобождавшие Париж,
Кончали жизнь на каторге в Сибири...
Так шиворот-навыворот текла
Из рода в род разладица правлений.
Но ныне рознь таила смысл иной:
Отвергнутый царями разночинец
Унес в себе рабочий пыл Петра
И утаенный пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона.

От их корней пошел интеллигент.
Его мы помним слабым и гонимым,
В измятой шляпе, в сношенном пальто,
Сутулым, бледным, с рваною бородкой,
Страдающей улыбкой и в пенсне,
Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра,

На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — всё наоборот,
Всё «под углом гражданского протеста».
Он верил в божие небытие,
В прогресс и в конституцию, в науку,
Он утверждал (свидетель — Соловьев),
Что «человек рожден от обезьяны,
А *потому* — нет большия любви,
Как положить свою за ближних душу».

Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним,
На каторге — по Ленам да по Карам...
Почти сто лет он проносил в себе —
В сухой мякине — искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.

Но — пасынок, изгой самодержавья
И кровь кровей, и кость его костей —
Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжен...
Судьбы его печальней нет в России.
И нам — вспоенным бурей этих лет —
Век не избыть в себе его обиды:
Гомункула, взращенного Петром
Из плесени в реторте Петербурга.

5

Все имена сменились на Руси
(Политика — расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав),
Но выверты мышления всё те же:
Мы говорим: «Коммуна на земле
Немыслима вне роста капитала,
Индустрии и классовой борьбы,
Поэтому не Запад, а Россия
Начнет собою мировой пожар».

До Мартобря (его предвидел Гоголь!)
В России не было ни буржуа,
Ни классового пролетариата...
Была земля, купцы, да голытьба,
Чиновники, дворяне, да крестьяне...

Да выли ветры, да орал сохой
Поля доисторический Микула...
Один поверил в то, что он буржуй,
Другой себя сознал, как пролетарий,
И началась кровавая игра...

На всё нужна в России только вера:
Мы верили в двуперстие, в царя,
И в сон, и в чох, в распластанных лягушек,
В матерьялизм и в Интернацьонал.
Позитивист ощупывал руками
Не вещество, а тень своей мечты;
Мы бредили, переломав машины,
Об электрификации; среди
Стрельбы и голода — о социальном рае
И ели человечью колбасу.
Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством, марксизм —
Догматикой, партийность — аскетизмом.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии:
В течение пятидесяти лет
Мы созерцали бедствия рабочих
На Западе с такою остротой,
Что приняли стигматы их распятий.
Все наши достиженья в том, что мы
В бреду и в корчах создали вакцину
От социальных революций: Запад
Переживет их вновь, и не одну,
Но выживет, не расточив культуры.

Есть дух Истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра,
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон
От берегов Ливонских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными российскими путями.
Грядущее — извечный сон корней.
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают древний ил
И новизны рыгают стариною.

Мы не вольны в наследии отцов,
И вопреки бичам идеологий

Колеса вязнут в старой колее:
Неверы очищают православье
Гоненьями и вскрытием мощей.
Большевики отстраивают зданья
На цоколях разбитого Кремля,
Социалисты разлагают рати,
Чтоб год спустя опять собрать в кулак.
И белые, и красные Россию
Плечом к плечу взрывают, как волы,—
В одном ярме сохой междоусобья,
И вновь Москва сшивает лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воль:
Партийность и программы — безразличны.

6

В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья.
(Как ныне — в свой черед — утверждено
Самодержавье правом революций.)

Крижанич жаловался до Петра:
«Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да средины,
Все по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безнарядья,
И власти нету более крутой»...

Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра.
При добродушье русского народа,
При сказочном терпенье мужика,—
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.
При всём упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв,— никто
С такой хулой не потрошил святыни,
Так страшно не кощунствовал, как мы.
При русских грамотах на благородство,
Как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев,—
Мы шли путем не их, а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.

В России нет сыновнего преемства,
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Курить в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке, привязанным к хвосту.

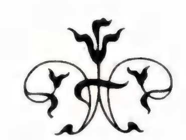
Зато в нас есть бродило духа — совесть
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых, и Достоевских,
И Иоанна Грозного... В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности,— рядом
С любым из европейцев — человек.

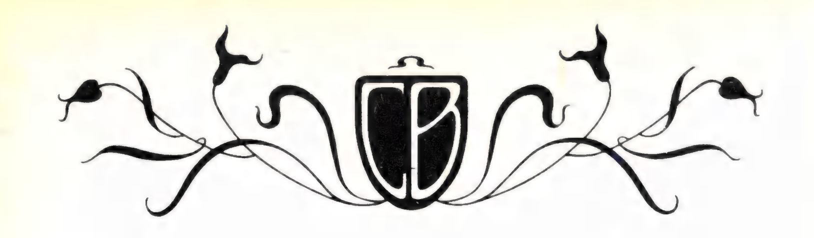
У нас в душе некошеные степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да своевольем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами — Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии — всё творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя,—
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда — тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр — стрельцу, как Аввакуму — Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволье, и в самодержавье.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

7

И этой ночью с напруженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Молитвами горящих о России...
И чувствую безмерную вину
Всея Руси — пред всеми и пред каждым.

Коктебель. 6 февраля 1924





ЧЕРУБИНА де ГАБРИАК

* * *

Лишь раз один, как папоротник, я
Цвету огнем весенней, пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточью,
В заклятый круг, приди, сорви меня!

Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.

⟨1909⟩

* * *

Горький и дикий запах земли:
Темной гвоздикой поля поросли!
В травы одежду скинув с плеча,
В поле вечернем горю, как свеча.

Вдаль убегая, влажны следы,
Нежно нагая, цвету у воды.
Белым кораллом в зарослях лоз,
Алая в алом, от алых волос.

⟨1909⟩

* * *

Братья-камни! Сестры-травы!
Как найти для вас слова?
Человеческой отравы
я вкусила — и мертва.

Принесла я вам, покорным,
бремя темного греха,
я склонюсь пред камнем черным,
перед веточкою мха.

Вы и всё, что в мире живо,
Что мертво для наших глаз,—
вы создали терпеливо
мир возможностей для нас.

И в своем молчанье — правы!
Святость жертвы вам дана.
Братья-камни! Сестры-травы!
Мать-земля у нас одна.

СПБ, 1917

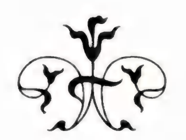
* * *

Где б нашей встречи ни было начало,
Ее конец не здесь!
Ты от души моей берешь так мало,
Горишь еще не весь!

И я с тобой всё тише, всё безмолвней...
Ужель идем к истокам той же тьмы?
О, если мы не будем ярче молний,
То что с тобою мы?

А если мы два пламени, две чаши,
С какой тоской глядит на нас Творец...
Где б ни было начало встречи нашей,
Не здесь — ее конец!

1921



СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

Прометей

В ущелье скал, среди угрюмых гор,
томился ты, страдалец дерзновенный.
Во тьме вещал твой ужас вдохновенный,
и небесам грозил твой приговор.

Свершился рок. Он умер — Зевс надменный.
Ты победил. Но отчего с тех пор
не легче нам? Ужели твой позор
не искупил гордыни нашей пленной?

Поведай нам, каких мы ждем чудес?
Зачем глядим в пустынный мрак небес?

И ты солгал, титан богоподобный!
Мы не могли страданий превозмочь.
Века прошли. Кругом всё та же ночь,
и мучит нашу грудь всё тот же коршун злобный.

Предчувствие

Еще темно, еще далек рассвет.
И жутко мне, и голос мой немеет,
и мысль моя бесславно цепенеет
в чаду земных, неправедных сует.

Но знаю я — стихия мной владеет;
в моей груди нездешний ветер веет;
меня томит невоплощенный бред,
и для него еще названья нет.

Настанет день. Душа порвет оковы;
с нее спадут тяжелые покровы —
греха и лжи презренные дары.

Проснется бог, и творческое слово,
как молния мгновенья грозового,
сверкнет в веках и озарит миры.

Ожидание

Я звал тебя. Душа моя молила
твоей любви. Казалось, никогда
с такой тоской блаженного стыда
ни с кем еще она не говорила.

И ты пришла... Но сердце изменило.
Мой поцелуй был холоднее льда.
Свиданье нас навеки разлучило,
И как враги расстались мы тогда.

И с той поры — сильнее, безнадежней
опять люблю, зову тебя и жду.
Вернись! Забудь невольную вражду.

Вернись ко мне моей, желанной, прежней:
мою тоску, я знаю, ты поймешь...

Напрасно. Нет. Ты больше не придешь.

Тайна

Мы говорим о чудесах незримых,
мы призраков боимся в час ночной...
Но чудо — здесь, но страшен свет дневной
знакомых чар и образов любимых.

Мы шепчемся о тайне гробовой,
О небесах, навек недостижимых.
Но тайна — в нас, в мелодии земной,
в доступности явлений ощутимых.

Что знаем мы? что можем мы понять?
Везде, на всём — единая печать,
живая тень загадки вековечной.

И жизнь, и смерть таинственны равно,
и красота — лишь символ бесконечный
того, что нам постигнуть не дано.

Город

Громадный город жил тревогою ночною.
Над ним в протяжный гул смешались голоса.
Вокруг был шум и блеск. Серебряною мглою
от тысячи огней дымились небеса.

И только далеко, за темною Невою,
багровым заревом светилась полоса:
там уходил закат, там жизнью нам чужою
дышала вечера предсмертная краса.

О вечер! — думал я, — над каменной громадой
зачем мерцаешь ты зловещею лампадой?
В забытых небесах так холодно горя,
какое таинство свершаешь ты над нами?

Погасни, не гляди кровавыми очами,
заря далекая, зловещая заря...

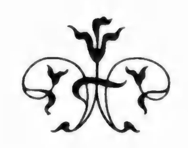
Одиночество

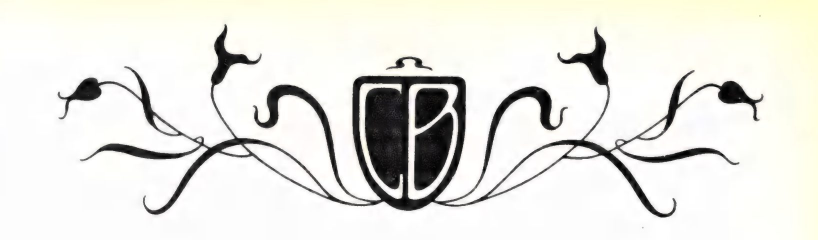
Уединенья нет. Ты раб земных оков.
От ближних ты бежал, но с дальним нет разлуки.
В молчании твоем родившиеся звуки —
лишь отзвуки иных, забытых голосов.

Кто б ни был ты, твой смех, твои живые муки
и слезы — не твои; из сумрака веков
к тебе протянуты невидимые руки
взывающих к тебе далеких мертвецов.

Свободы хочешь ты, к вершинам одиноким
мечта тебя влечет от мудрых и невежд...
Безумие! В тебе — миры былых надежд.

Смотри: из глаз твоих чудовищем стооким
глядит минувшее... Наедине с собой —
ты только тень теней, не знаемых тобой.





ВАСИЛИЙ КОМАРОВСКИЙ

Сентябрь

Внезапной бурею растрепана рябина
　　И шорохом аллей,
Вчерашнего дождя осыпались рубины
　　На изморозь полей.

И снова солнечный, холодный и приятный
　　И день, и блеск садов.
И легкой зелени серебряные пятна
　　В прозрачности прудов.

Морского воздуха далекое дыханье
　　Как ранняя весна.
Глав позолоченных веселое сверканье.
　　Безлюдье. Тишина.

Пусть это только день, и час, или мгновенье,
　　Пусть это день один,
И в тонком воздухе я чую дуновенье
　　И холод первых льдин.

Но солнце катится, и сердце благодарно,
В короткие часы,
За желтый мед листвы, и полдень светозарный,
И ясный звон косы.

Церера светлая сегодня отдала мне
И запахи смолы,
Все эти серые и розовые камни,
И мокрые стволы.

1912
Царское Село

В Царском Селе

Я начал, как и все,— и с юношеским жаром
Любил и буйствовал. Любовь прошла пожаром,
Дом на песке стоял — и он не уцелел.
Тогда, мечте своей поставивши предел,
Я Питер променял, туманный и угарный,
На ежедневную прогулку по Бульварной.
Здесь в дачах каменных — гостеприимный кров
За революцию осиротевших вдов.
В беседе дружеской проходит вечер каждый.
Свободой насладись — ее не будет дважды!
Покоем лечится примерный царскосел,
Гуляет медленно, избавленный от зол,
В аллеях липовых скептической Минервы.
Здесь пристань белая, где Александр Первый,
Мечтая странником исчезнуть от людей,
Перчатки надевал и кликал лебедей,
Им хлеба белого разбрасывая крошки.
Иллюминация не зажигает плошки,
И в бронзе неказист великий лицеист.
Но здесь над Тютчевым кружился «ржавый лист»,
И, может, Лермонтов скакал по той аллее?
Зачем же, как и встарь, а может быть и злее,
Тебя и здесь гнетет какой-то тайный зуд?—
Минуты, и часы, и месяцы — ползут.
Я знаю: утомясь опять гнездом безбурным,
Скучая до́сугом своим литературным,
Со страстью жадною я душу всю отдам
И новым странностям, и новым городам.

И в пестрой суете, раскаяньем томимый,
Ведь будет жаль годов, когда я, нелюдимый,
Упорного труда постигнув благодать,
Записывал стихи в забытую тетрадь...

1912

* * *

Я рад, сегодня снег! И зимнему беззвучью
В спокойном сердце нет преград.
В окно высокое повсюду смотрят сучья
И белый свет, которому я рад.

И знаю, смерть одолевая нежно,
Опять листы согласно зацветут.
И коченевшие печалью этой снежной,
Земля оттает, травы прорастут.

Зеленый сад, зеленые кочевья!
И, блеклой памятью спеша,
Вернется к вам, осенние деревья,
В урочный час вечерняя душа...

И говорливые и ропщущие думы
Застынут, замкнутые в круг,
Где легкий хруст ветвей и сумрачные шумы,
Всепроникающий недуг.

1913

Статуя

Над серебром воды и зеленью лугов
Ее я увидал. Откинув покрывало,
Дыханье майское ей плечи целовало
Далеким холодом растаявших снегов.

И, равнодушная, она не обещала —
Сияла мрамором у светлых берегов.
Но человеческих и женственных шагов
И милого лица с тех пор как будто мало.

В сердечной простоте, когда придется пить,
Я думал — мудрую сумею накопить,
Но повседневную, негаснущую жажду...

Несчастный! — Вечную и строгую любовь
Ты хочешь увидать одетой в плоть и кровь,
А лики смутные уносит опыт каждый!

1914

Анне Ахматовой

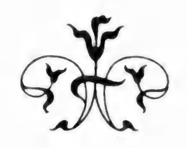
(«Вечер» и «Четки»)

В полуночи, осыпанной золою,
В условии сердечной тесноты,
Над темною и серою землею
Ваш эвкалипт раскрыл свои цветы.

И утренней порой голубоокой
Тоской весны еще не крепкий ствол,
Он нежностью, исторгнутой жестоко,
Среди камней недоуменно цвел.

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски,
И что взято рукою богомольно,
И что дано бесчувствием руки.

1914



НИКОЛАЙ НЕДОБРОВО

Юрию Никандровичу Верховскому

19 сентября 1912 г.

Видений и стихов кавказских
Вернулась славная пора
С тех пор, как жрец богов Парнасских,
Туда, где мечется Кура,
Ты унесен рукою рока.
И ладно: образы Востока
Пленяют любопытный глаз;
Но ожила с того же срока
Пора напутствий на Кавказ —
Печальный род! На этот раз
Мой, год назад молчавший, голос,
Тебя напутствуя, звучит:
Увесистый озимый колос
Слова питает, кто молчит.
В разлуке помни нашу дружбу...
Могла б, летала бы, что тень,
Тебя проведать каждый день,
Хоть и не в боевую службу
Лет прошлых, не под град свинца
Ты едешь — жребии смягчились,
Но умягчились и сердца.

В Колхиде вдосталь умягчились
Сплетенья русского венца
Победным дубом — лиры ныне
Везешь в далекую страну,
Ей не чужие: в старину
Те, кто водили по твердыне
Кавказа русские полки,
Умели пальцами руки,
Своей мечу, водить по лире
И петь... так петь, что в целом мире
То пенье слышно всё звончей.
Ты лиры их, без их мечей,
В дарьяльские уносишь двери,
Ты из-под наших мокрых крыш
В Тифлис профессором спешишь,
Где будешь гуриям и пери,
Курсистками решившим стать,
В разумно суженном размере
Литературный курс читать
И светом Пушкинской плеяды
Полуобразованья яды
Искоренять в умах. О друг,
Ведь это подвиг благородный!
С ним так удачно вступит в круг
Твой дар певца, живой, свободный
И духу предков соприродный.
Заветы дружества прими,
Души под спудом не томи.
Твое профессорство не кара,
Но воля видящей судьбы.
Ей доверяйся без борьбы,
Вей лавры, где плели дубы,
И будь Дедалом для «Икара»[1].

5 апреля 1904 года

Вернулся. Всё в Неве блестело,
Был ярок чистый небосклон.
Устало тело; тянет в сон.

[1] **«Икар» — наименование литературно-художественного кружка в Тифлисе.**

Устало тело... ноют ноги...
Я лег, бессильно, мглисто рад.
Сменил тревоги сонный лад.

Светлое воскресение четырнадцатого года

Господень день. Ликуя, солнце пышет
И плавит около сверкающую твердь.
Так чудесами Канны воздух дышит,
Что вот прозябнет и сухая жердь.

Свободна ото льда и пароходов,
Вся в тонких струйках искрится Нева
И, пышно поделясь на рукава,
Объемлет и, колеблясь в чистых водах,
Лелеет радостные острова!

А сердце полным роздыхом природы,
Овеянным благословенным днем,
Во мне расширено до той свободы,
Что никому теперь не тесно в нем.

И сердцем той, кто без того свободна,
Так радостно свободу подтвердить!
Господь сошел весь мир освободить,
И никакая жертва не бесплодна.

1913

* * *

Законодательным скучая вздором,
Сквозь невниманье, ленью угнетен,
Как ровное жужжанье веретен,
Я слышал голоса за дряблым спором.

Но жар души не весь был заметен.
Три А я бережно чертил узором,
Пока трех черт удачным уговором
Вам в монограмму не был он вплетен.

Созвучье черт созвучьям музыкальным
Раскрыло дверь — и внешних звуков нет.
Ваш голос слышен в музыке планет...

И здесь при всех, назло глазам нахальным,
Что Леонардо, я письмом зеркальным
Записываю спевшийся сонет.

1914

Заяц

На лыжах пробираясь между елей,
Сегодня зайца я увидел близко.
Где снег волною хрупкой от метелей
Завился, заяц притаился низко.
Весь белый; только черными концами
Пряли его внимательные ушки.
Скользнув по мне гранатными глазами,
Хоть я и вовсе замер у опушки,
Он подобрался весь, единым махом
Через сугроб — и словно кто платочек
Кидал, скакал, подбрасываем страхом.

Горячей жизни беленький комочек
На холоду! Живая тварь на воле!
Ты жаркою слезой мне в душу пала,
Такую нынче мерзлую, как поле,
Где вьюга от земли весь снег взвевала.

1916

* * *

С тобой в разлуке от твоих стихов
Я не могу душою оторваться.
Как мочь? В них пеньем не твоих ли слов
С тобой в разлуке можно упиваться.

Но лучше б мне и не слыхать о них!
Твоей душою, словно птицей, бьется
В моей груди у сердца каждый стих,
И голос твой у горла, ластясь, вьется.

Беспечной откровенности со мной
И близости — какое наважденье!
Но бреда этого вбирая зной,
Перекипает в ревность наслажденье.

Как ты звучишь в ответ на все сердца,
Ты душами, раскрывши губы, дышишь,
Ты, в приближенье каждого лица,
В своей крови свирелей пенье слышишь!

И скольких жизней голосом твоим
Искуплены ничтожество и мука...
Теперь ты знаешь, чем я так томим? —
Ты, для меня не спевшая ни звука.

1916
Петербург

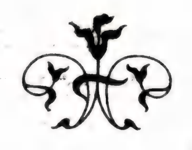
Демерджи

Не бойся; подойди; дай руку; стань у края.
Как сдавливает грудь от чувства высоты.
Как этих острых скал причудливы черты!
Их розоватые уступы облетая,

Вон, глубоко внизу, орлов кружится стая.
Какая мощь и дичь под дымкой красоты!
И тишина кругом; но в ветре слышишь ты
Обрывки смятые то скрипа арб, то лая?

А дальше, складками, долины и леса
Дрожат, подернуты струеньем зыбким зноя,
И море кажется исполненным покоя:

Синеет, ровное, блестит — что небеса...
Но глянь: по берегу белеет полоса;
То пена грозного — неслышного — прибоя.



МИХАИЛ ЛОЗИНСКИЙ

Белая ночь

Горят отдаленные шпили
Вечерних и светлых соборов,
И медля, и рея в сияньях,
Нисходит к зеркальным каналам
Незримая в воздухе ночь.

Печаль о земле озарили
Моря просветленных просторов,
И нам, в наших смутных блужданьях,
Так радостно — сердцем усталым,
Усталой мечтой изнемочь...

Безумная ночь опустилась
Над пепельно-нежной Невою,
И крылья торжественных ростров,
И легкие мачты — как тени,
Как сны, отраженные в снах.

И всё, что прошло, только снилось,
Мы снова, как дети, с тобою,
Мы — светлый, затерянный остров
В спокойных морях сновидений,
Мы — остров на светлых волнах.

1908

Не забывшая

Анне Ахматовой

Еще свою я помню колыбель,
И ласково земное новоселье,
И тихих песен мимолетный хмель,
И жизни милой беглое веселье.

Я отдаюсь, как кроткому лучу,
Неярким дням моей страны родимой.
Я знаю — есть покой, и я хочу
Тебя любить и быть тобой любимой.

Но в душном сердце — дивно и темно,
И ужас в нем, и скорбь, и песнопенье,
И на губах, как темное пятно,
Холодных губ лежит напечатленье,

И слух прибоем и стенаньем полн,
Как будто вновь, еще взглянуть не смея,
Я уношу от безутешных волн
Замученную голову Орфея.

1912

* * *

То был последний год. Как чаша в сердце храма,
Чеканный, он вместил всю мудрость и любовь, —
Как чаша в страшный миг, когда вино есть кровь,
И клир безмолвствует, и луч нисходит прямо.

Я к жертве наклонил спокойные уста,
Чтоб влить бессмертие в пречистый холод плоти,
Чтоб упокоить взор в светящейся дремоте.
И чуда не было. И встала темнота.

Но легким запахом той огненной волны
Больные, тихие уста напоены.
Блаженный и слепой, в обученном молчанье,
Пока не хлынет смерть, я пью свое дыханье.

1914

* * *

Еще светло, но день уж обречен,
И в небе ветви тают смуглым дымом.
Опять звенит знакомый, ломкий звон
О прежнем, нежном, о давно любимом.

Идти, дышать, лелея хрупкий час,
И заклинать оснеженные дали,
Чтоб звон не смолк, чтоб медленнее гас
Небесный жемчуг в зеркале печали.

⟨1921⟩

* * *

Так много милого, и сердцу не снести
Счастливой памятью накопленного груза,
И стала, слабая, на пламенном пути,
И просит слепоты, и просит ночи Муза.

Да. Можно всё убить. Но был крылатый час,
Когда над юностью бессмертье пролетело.
Пусть день отверженный давно уже погас,
Пусть в ризах вечера уже свежеет тело.

Когда оно уснет во прахе черных лет
И будет, страшное, к истлению готово,
В замершие глаза все тот же хлынет свет,
Все тот же царственный, неодолимый бред
Пустынной площади и ветра золотого.

⟨1921⟩

Последняя вечеря

Последний помысел — об одном,
И больше ничего не надо.
Гори, над роковым вином,
Последней вечери лампада!

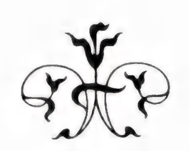
И кто расскажет, кто поймет,
Какую тьму оно колышет,
Какого солнца черный мед
В его волне горит и дышит?

Смотри: оно впивает свет,
Как сердце жертвенная рана.
Весь мрак, всю память мертвых лет
Я наливаю в два стакана.

Сегодня будет ночь суда,
Сегодня тьма стоит над нами.
Я к этой влаге никогда
Не приникал еще губами.

Пора. За окнами темно.
Там — одичалый праздник снега.
Какое страшное вино!
Какая кровь, и смерть, и нега!

⟨1921⟩



ВЛАДИМИР ШИЛЕЙКО

1

(Иов 11, 9)

Ничего не просил у Бога:
Знал, что Бог ничего не даст.
Только пристально так и строго
Всё смотрел на красный закат.

За спиной жена говорила:
«Что ты смотришь так? Что стоишь?
Похули Господне Имя
И с закатом, с темным, умри».

Не хотел. И был без надежды,
И опять не хотел — не мог.
А холодная ночь одежды
Уронила на мокрый песок.

2

Она — бледнее, чем вчера, —
Полулежала в пестром кресле,

Пока дрожали веера
Вечерних вздохов легкой песни.

Над тишиной печальных лиц
Зажглась презрительно и тонко
В свинцовом сумраке ресниц
Слеза капризного ребенка.

И в час, когда тоску труда
Переплывает смутный гений,
Душа взмывает иногда
В туманах темных вдохновений.

Пронзительно поет любовь,
Живет в словах, как в складках шали,
В простом узоре скудных снов
На черном кружеве печали.

3

Я думал: всё осталось сзади —
Круги бессмысленных планет,
Страницы порванных тетрадей.
Я верил: будущего нет.

Так я темно и слепо верил,
Так обручил себя судьбе,
Сказал обет и запер двери,
А ключ, Господь, вручил Тебе.

Ты видел все мои года
За книгою о Беспредельном,
Все ночи страшного труда,
Все слезы о труде бесцельном.

⟨1913⟩

* * *

Господь, Ты знаешь, сколько раз
В моих дверях томился кто-то.
Я верил: не придет Суббота,
И не отвел от книги глаз.

Так верил. Но она пришла,
И было это так: весь вечер
Над Иовом я теплил свечи
И пел священные слова.

И вдруг забыл последний стих,
И вот упал в крови и в поте,
Вот в криках бился, вот жених, —
Жених во сретенье Субботе!..

Безумие поет, звеня
Неистовыми голосами.
Теперь конец. Убей меня
Неумолимыми глазами.

⟨1913⟩

Лилии

Сияя светом диадем,
Два лучших сердца в дланях Бога
Хранят томящийся Эдем,
Свершают стражу у порога.

Они глядят на мир живых,
Неопалимы в белом зное, —
Как очи звезд сторожевых
Взирают с неба на земное.

Они глядят — и меркнет час,
И вся душа — в руках печали,
И веру словно в первый раз
Престольной скорбью увенчали.

⟨1916⟩

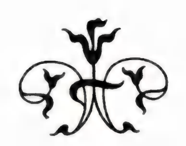
Юродивая

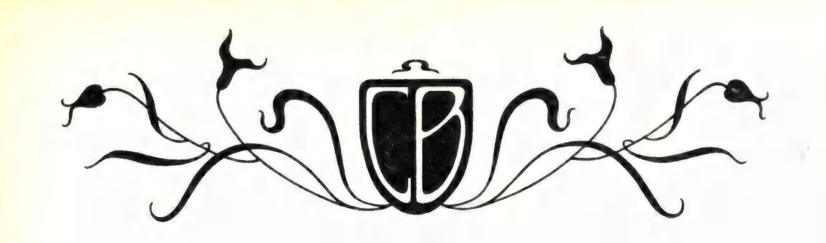
Влачится — у! — через волчец,
Скрывая рваную порфиру:
Ее привел сюда отец
И водит за руку по миру.

Она и жизнью не живет,
Она и мерою не мерит, —
На всех углах поклоны бьет,
На церкви крестится и верит, —

Уж так ничтожна и тиха,
Как будто мертвого омыла,
Как будто имя жениха
Неумолимо позабыла.

⟨1916⟩





ВАЛЕНТИН КРИВИЧ

В осеннем саду

В каких полях меня встречала
Душа смятенная твоя...
Наш путь начертан изначала
На ветхой карте бытия.

Ты ждешь ли ярких откровений,
Иль будем вместе с этих пор
Топтать истертые ступени
И жизни выцветший ковер...

Но если тайну разгадали —
В ней нет предчувствий волшебства...
Сквозят осенние эмали,
Шуршит осенняя листва...

И трезвый день грозит расплатой,
А ночь придет — простит опять...
В пустом саду, меж белых статуй,
Так странно сердцу вспоминать,

Что где-то там, за гранью были,
Лучи неведомой звезды
Для новой жизни оживили
Захолодевшие следы.

⟨1909⟩

Оттуда

Поднимают... несут... наклонили...
Так неловко толкают шаги,
Из холодной ноябрьской пыли
Одинокие смотрят стоги.

Темной вере, безрадостной вере
Стало страшно в забытом углу...
Кто-то запер балконные двери,
Кто-то с плачем прижался к стеклу...

Потянулись поля и облоги,
Скрип обозов и встречных телег...
Каждый кустик знакомой дороги
Я ловлю из-за каменных век.

Это было, всё было, всё было,
Это будет, я верю, опять...
В темной церкви, сырой и остылой,
Мне мешали всю ночь вспоминать.

Утром стало всё дальше и тише,
А на тонкой руке — два кольца...
Я не верю... я плачу...— ты слышишь —
Подо льдом костяного лица...

⟨1909⟩

* * *

На мокрых улицах столицы
Дождливая томится тьма.
Какие сморщенные лица...
Какие мертвые дома...

И тихо в мокрые туманы
Тягучей вяжущей тоски
Уходят призраки-обманы,
Как сгорбленные старики...

И нет ни сказок, ни загадки,
Ни даже завтрашнего дня...
Есть только сумрак мглисто-шаткий
Да пятна окон без огня.

И чудится — на грани стертой
Набухшей мглы, издалека,
Над мертвым городом простерта
И ждет костлявая рука.

1917. Осень

* * *

Коридоры улиц пусты и туманны.
Грешен сон безжизненных домов.
Пятна фонарей во мгле желты и странны,
И так странно-гулок стук шагов.

Лица бледных женщин смотрят вслед,
И больной тоской пропитан сумрак зыбкий,
И сквозь мглу, с болезненной улыбкой,
Крадется заплаканный рассвет.

В сером доме

Все то же и так же, как было.
И так же опять, как вчера,
Шарманка фальшивая ныла
В туманном колодце двора.

Вы, чуждые... вам незнакома, —
Иль, может быть, тоже близка, —
Высокого серого дома
Гнетущая душу тоска...

Здесь жизни ненужные вянут,
И в запертых окнах темно...
Но узел мой крепко затянут,
И узел затянут давно.

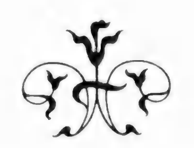
Апрель

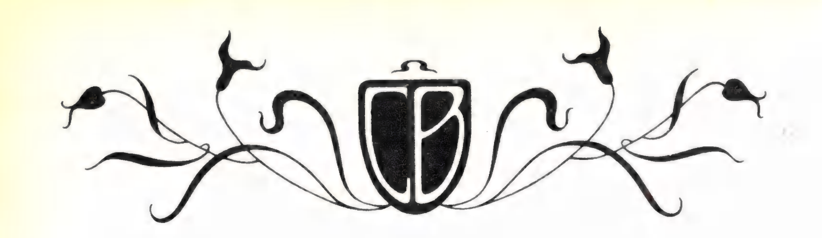
Опять утра нежны и чисты,
А в полдень ярко и пестро...
Запел в полях Апрель ручьистый
И чернью кроет серебро.

И над узором вешней тали,
Над шумом радостной воды
Смеются палевые дали
И плачут матовые льды.

Пусть вечера еще упорно,
Еще по-зимнему строги —
Так бодро, звонко и задорно
Хрустят веселые шаги...

И я иду с веселым смехом
На затененное крыльцо,
Чтоб целовать под темным мехом
Твое весеннее лицо.





ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Оттепель

Снегом наполнена урна фонтана,
Воды замерзшие больше не плачут.
Нимфа склонилась в тоске у бассейна,
С холодом зимним бороться не в силах.

Всплыло печальное светлое солнце,
Белую землю стыдливо пригрело.
Вспомнила нимфа зеленые листья,
Летнее солнце в закатной порфире.

Брызги фонтана в прозрачности милой,
Лунную негу и вздохи влюбленных...
Слезы из глаз у нее полилися,
Тихо к подножью стекая.

1910

* * *

Настанут холода,
Осыпятся листы —
И будет льдом — вода.
Любовь моя, а ты?

И белый, белый снег
Покроет гладь ручья,
И мир лишится нег...
А ты, любовь моя?

Но с милою весной
Снега растают вновь.
Вернутся свет и зной —
А ты, моя любовь?

1913—1914

* * *

Я не любим никем! Пустая осень!
Нагие ветки средь лимонной мглы.
А за киотом дряхлые колосья
Висят, пропылены и тяжелы.

Я ненавижу полумглу сырую
Осенних чувств и бред гоню, как сон,
Я щеточкою ногти полирую
И слушаю старинный полифон.

Фальшивит нежно музыка глухая
О счастии несбыточных людей
У озера, где, вод не колыхая,
Скользят стада бездушных лебедей.

1913—1914

* * *

Измучен ночью ядовитой,
Бессонницею и вином,
Стою, дышу перед раскрытым
В туман светлеющий окном.

И вижу очертанья веток
В лилово-розовом дыму.
И нет вопроса, нет ответа,
Которого я не приму.

Отдавшись нежному безволью,
Слежу за вами — облака,
И легкой головною болью
Томит вчерашняя тоска.

1913—1914

* * *

Всё бездыханней, всё желтей
Пустое небо. Там у ската
На бледной коже след когтей
Отпламеневшего заката.

Из урны греческой не бьет
Струя и сумрак не тревожит,
Свирель двухтонная поет
Последний раз в году, быть может!

И ветер с севера, свища,
Летает в парке, дик и злостен,
Срывая золото с плаща,
Тобою вышитого, осень.

Взволнован тлением, стою
И, словно музыку глухую,
Я душу смутную мою
Как перед смертным часом — чую.

1913—1914

* * *

Поблекшим золотом, холодной синевой
Осенний вечер светит над Невой.
Кидают фонари на волны блеск неяркий.
И зыблются слегка у набережной барки.

Угрюмый лодочник, оставь свое весло!
Мне хочется, чтоб нас течение несло.
Отдаться сладостно вполне душою смутной
Заката блеклого гармонии минутной.

И волны плещутся о темные борта.
Слилась с действительностью легкая мечта.
Шум города затих. Тоски распались узы.
И чувствует душа прикосновенье Музы.

1913—1914

* * *

Кофейник, сахарница, блюдца,
Пять чашек с узкою каймой
На голубом подносе жмутся,
И внятен их рассказ немой:
Сначала — тоненькою кистью
Искусный мастер от руки,
Чтоб фон казался золотистей,
Чертил кармином завитки.
И щеки пухлые румянил,
Ресницы наводил слегка
Амуру, что стрелою ранил
Испуганного пастушка.
И вот уже омыты чашки
Горячей черною струей.
За кофием играет в шашки
Сановник важный и седой,
Иль дама, улыбаясь тонко,
Жеманно потчует друзей,
Меж тем как умная болонка
На задних лапках — служит ей.
О, столько губ и рук касалось,
Причудливые чашки — вас,
Над живописью улыбалось
Изысканною — столько глаз.
И всех и всех давно забытых
Взяла безмолвия страна,
И даже на могильных плитах,
Пожалуй, стерты имена.
А на кофейнике пастушки
По-прежнему плетут венки,

Пасутся овцы на опушке,
Ныряют в небо голубки;
Амур не изменяет позы,
И заплели со всех сторон —
Неувядающие розы
Антуанетты медальон.

1914—1915

* * *

Как хорошо и грустно вспоминать
О Фландрии неприхотливом люде:
Обедают отец и сын — а мать
Картофель подает на плоском блюде.

Зеленая вода блестит в окне,
Желтеет берег с неводом и лодкой —
Хоть солнца нет, но чувствуется мне
Так явственно его румянец кроткий.

Неяркий луч над жизнью трудовой,
Спокойной и заманчиво нехрупкой, —
В стране, где воздух, пахнущий смолой,
И рыбаки не расстаются с трубкой.

1914—1915

* * *

Беспокойно сегодня мое одиночество —
У портрета стою — и томит тишина.
Мой прапрадед Василий — не вспомню я отчества —
Как живой, прямо в душу — глядит с полотна.

Темно-синий камзол отставного военного,
Арапчонок у ног и турецкий кальян.
В заскорузлой руке — серебристого пенного
Круглый ковш. Только видно, помещик не пьян.

Хмурит брови седые над взорами карими,
Опустились морщины у темного рта.
Эта грудь, уцелев под стольким ударами
Неприятельских шашек, — тоской налита.

Что ж? На старости лет с сыновьями не справиться,
Иль плечам тяжелы прожитые года,
Иль до смерти мила крепостная красавица,
Что завистник-сосед не продаст никогда.

Нет, иное томит. Как сквозь полог затученный
Прорезается белое пламя луны, —
Тихий призрак встает в подземелье замученной
Неповинной страдалицы — первой жены.

Не избыть этой муки в разгуле неистовом,
Не залить угрызения влагой хмельной...
Запершись в кабинете — покончил бы выстрелом
С невеселою жизнью, — да в небе темно.

И теперь, заклейменный семейным преданием,
Как живой, как живой, он глядит с полотна,
Точно нету прощенья его злодеяниям
И загробная жизнь, как земная, — черна.

1914—1915

* * *

Всё образует в жизни круг —
Слиянье уст, пожатье рук.
Закату вслед встает восход,
Роняет осень зрелый плод.
Танцуем легкий танец мы,
При свете ламп — не видим тьмы.
Равно — лужайка иль паркет —
Танцуй, монах, танцуй, поэт.
А ты, амур, стрелами рань —
Везде сердца — куда ни глянь.
И пастухи и колдуны
Стремленью сладкому верны.
Весь мир — влюбленные одни.
Гасите медленно огни...
Пусть образует тайный круг —
Слиянье уст, пожатье рук!..

1914—1915

* * *

Как древняя ликующая слава,
Плывут и пламенеют облака,
И ангел с крепости Петра и Павла
Глядит сквозь них — в грядущие века.

Но ясен взор — и неизвестно, что там —
Какие сны, закаты, города —
На смену этим блеклым позолотам —
Какая ночь настанет навсегда!

1914—1915

* * *

Веселый ветер гонит лед,
А ночь весенняя — бледна,
Всю ночь стоять бы напролет
У озаренного окна.

Глядеть на волны и гранит,
И слышать этот смутный гром,
И видеть небо, что сквозит
То синевой, то серебром.

О сердце, бейся волнам в лад,
Тревогой вешнею гори...
Луны серебряный закат
Сменяют отблески зари.

Летят и тают тени птиц
За крепость — в сумрак заревой.
И всё светлее тонкий шпиц
Над дымно-розовой Невой.

1914—1915

* * *

Все дни с другим, все дни не с вами,
Смеюсь, вздыхаю и курю
И равнодушными словами
О безразличном говорю.

Но в ресторане и в пролетке,
В разнообразных сменах дня,
Ваш образ сладостно-нечеткий
Не отступает от меня.

Я не запомнил точных линий,
Но ясный взор и нежный рот,
Но шеи над рубашкой синей
Неизъяснимый поворот, —

Преследуют меня и мучат,
Сжимают обручем виски,
Долготерпенью сердце учат,
Не признававшее тоски.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

1914—1915

* * *

Тяжелые дубы, и камни, и вода,
Старинных мастеров суровые виденья,
Вы мной владеете. Дарите мне всегда
Всё те же смутные, глухие наслажденья.

Я словно в сумерки из дома выхожу,
И ветер, злобствуя, срывает плащ дорожный,
И пена бьет в лицо... Но зорко я гляжу
На море, на закат багровый и тревожный.

О, ветер старины, я слышу голос твой,
Взволнован, как матрос, надеждою и болью,
И знаю — там, в огне, над зыбью роковой
Трепещут паруса, пропитанные солью!..

⟨1916⟩

* * *

И пение пастушеского рога
Медлительно растаяло вдали,

И сумрак веет. Только край земли
Румянит туч закатная тревога.

По листьям золотым — моя дорога...
О сердце, увяданию внемли!
Пурпурные, плывите, корабли,
И меркните у синего порога.

Нет, смерть меня не ждет, и жизнь проста
И радостна, но терпкая отрава
Осенняя в душе перевита

С тобою, радость, и с тобою, слава!
И сладостней закатной нет дорог,
Когда трубит и умолкает рог.

⟨1916⟩

Петергоф

Опять заря! Осенний ветер влажен,
И над землею, за день не согретой,
Вздыхает дуб, который был посажен
Императрицею Елизаветой.

Как хорошо! На горизонте дынный
Трепещет диск трепещущим сияньем...
О, если бы застыть в саду пустынном
Фонтаном, деревом иль изваяньем!

Не быть влюбленным и не быть поэтом
И, смутно грезя мучившим когда-то,
Прекрасным рисоваться силуэтом
На зареве осеннего заката...

1920

* * *

Зеленою кровью дубов и могильной травы
Когда-нибудь станет любовников томная кровь,
И ветер, что им шелестел при разлуке: «Увы»,
«Увы», — прошумит над другими влюбленными вновь.

Прекрасное тело смешается с горстью песка,
И слезы в родной океан возвратятся назад...
— Моя дорогая, над нами бегут облака,
Звезда зеленеет, и черные ветки шумят!

Зачем же тогда веселее играет вино
И женские губы целуют хмельней и нежней
При мысли, что вскоре рассеяться им суждено
Летучею пылью, дождем, колыханьем ветвей...

1921

* * *

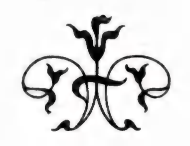
Погляди: бледно-синее небо покрыто звездами,
А холодное солнце еще над водою горит,
И большая дорога на запад ведет облаками
В золотые, как поздняя осень, сады Гесперид.

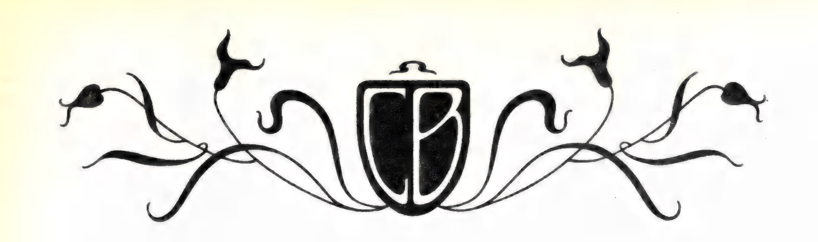
Дорогая моя, проходя по пустынной дороге,
Мы, усталые, сядем на камень и сладко вздохнем,
Наши волосы спутает ветер душистый, и ноги
Предзакатное солнце омоет прохладным огнем.

Будут волны шуметь, на печальную мель набегая,
Разнесется вдали заунывная песнь рыбака...
Это всё оттого, что тебя я люблю, дорогая,
Больше теплого ветра, и воли, и морского песка.

В этом темном, глухом и торжественном мире — нас двое.
Больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:
Потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,
Как живое влюбленное сердце, что бьется в груди.

1921





ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

* * *

Девятый век у Северской земли
Стоит печаль о мире и свободе,
И лебеди не плещут, и вдали
Княгиня безутешная не бродит.

О Днепр, о солнце, кто вас позовет
Повечеру кукушкою печальной,
Теперь, когда голубоватый лед
Всё затянул, и рог не слышен дальний,

И только ветер над зубцами стен
Взметает снег и стонет на просторе,
Как будто Игорь вспоминает плен
У синего разбойничьего моря.

⟨1916⟩

* * *

Устали мы. И я хочу покоя,
Как Лермонтов, — чтоб небо голубое

Тянулось надо мной, и дрозд бы пел,
Зеленый дуб склонялся и шумел.

Пустыня — жизнь. Живут и молят Бога,
И счастья ждут, — но есть еще дорога:

Ничто, мой друг, ничто вас не спасет
От темных и тяжелых невских вод.

Уж пролетает ветер под мостами
И жадно плещет гладкими волнами,

А вам-то, друг мой, вам не всё ль равно,
Зеленый дуб или речное дно?

1917

* * *

Опять гитара. Иль не суждено
Расстаться нам с унылою подругой?
Как белым полотенцем бьет в окно
Рассвет — предутренней и сонной вьюгой.

Я слушаю... Бывает в мире боль,
Бывает утро, Петербург и пенье,
И всё я слушаю... Не оттого ль
Еще бывает головокруженье?

О, лошадей ретивых не гони,
Ямщик! Мы здесь совсем одни.
По снегу белому куда спешить?
По свету белому кого любить?

1917

По Марсову полю

Сияла ночь. Не будем вспоминать
Звезды, любви — всего, что прежде было.

Пылали дымные костры, и гладь
Пустого поля искрилась и стыла.

Сияла ночь. Налево над рекой
Остановился мост ракетой белой.
О чем нам говорить? Пойдем со мной,
По рюмке коньяку, да и за дело.

Сияла ночь. А может быть, и день,
И может быть, февраль был лучше мая,
И заметенная, в снегу, сирень
Быть может, шелестела, расцветая,

Но было холодно. И лик луны
Насмешливо глядел и хмурил брови.
«Я вас любил... И как я ждал весны,
И роз, и утешений, и любови!»

Ночь холодней и тише при луне.
«Я вас любил. Любовь еще, быть может...»
— Несчастный друг! Поверьте мне,
Вам только пистолет поможет.

1918

* * *

Как холодно в поле, как голо,
И как безотрадны очам
Убогие русские села
(Особенно по вечерам).

Изба под березкой, болото,
По черным откосам ручьи,
Невесело жить здесь, но кто-то
Мне точно твердит: «Поживи,

Недели, и зимы, и годы,
Чтоб выплакать слезы тебе
И выучиться у природы
Ее безразличью к судьбе».

1919

* * *

Холодно. Низкие кручи
Полуокутал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полян.

Тихо. Пустая телега
Изредка продребезжит.
Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И, умирая,
Через полвека, едва ль
Этого мертвого края
Я позабуду печаль.

1920

* * *

По широким мостам... Но ведь мы всё равно не успеем,
Эта вьюга мешает, ведь мы заблудились в пути,
По безлюдным мостам, по широким и черным аллеям
Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.

Просыпаясь, дымит и вздыхает тревожно столица.
Рестораны распахнуты. Стынет дыханье в груди.
Отчего нам так страшно? Иль, может быть, всё это снится,
Ничего нет в прошедшем, и нет ничего впереди?

Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то,
Но как скошены ноги, я больше бежать не могу.
О, еще б хоть минуту! И щелкнул курок пистолета,
Всё погибло, всё кончено... Видишь ты, — кровь на снегу.

Тишина. Тишина. Поднимается солнце. Ни слова.
Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.
И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

1921

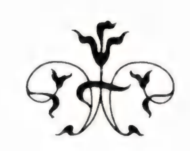
* * *

За миллионы долгих лет
Нам не утешиться... И наш корабль, быть может,
Плывя меж ледяных планет,
Причалит к берегу, где трудный век был прожит.

Нам голос прозвучит с кормы:
«Здесь ад был некогда, — он вам казался раем».
И, силясь улыбнуться, мы
Мечеть лазурную и Летний сад узнаем.

Помедли же! О, как дышать
Легко у взморья нам и у поникшей суши.
Но дрогнет парус, и опять
Поднимутся хранить воспоминанья души.

⟨1921⟩



НИКОЛАЙ ОЦУП

На дне

О, если здесь такая непогода,
Что ж на море, где ветер сам не свой?
Сирена тонущего парохода,
И стон дождя, и волн гортанный вой!

И, скользкое бревно обняв за шею,
Глотая волн кипящее вино,
Я не могу дышать и цепенею,
И, смытый, наконец иду на дно.

Я двигаюсь, и я дышу не скоро,
Как ерш на суше, раскрываю рот,
Гигантский краб Казанского Собора
Меня в зеленой тине стережет.

Шевелятся мохнатые колонны,
Проваливаюсь в лужу до колен,
От бури жмурясь, длинные тритоны
Плюются пеной с почерневших стен.

Но кто-то любит, и кому-то жалко,
И кто-то помолился обо мне,
Проходит в дождевом плаще русалка,
Стихает буря — радуга на дне.

1921

Война

Араб в кровавой чалме на длинном паршивом верблюде
Смешал караваны народов и скрылся среди песков
Под шепот охрипших окопов, и кашель усталых орудий,
И легкий печальный шорох прильнувших к полям облаков.

Воробьиное пугало тщетно осеняет горох рукавами:
Солдаты топчут пшеницу, на гряды ложатся ничком,
Сколько стремительных пуль остановлено их телами,
Полмира пропитано дымом словно густым табаком.

Все одного со мной сомнительного поколенья,
Кто ранен в сердце навылет мечтой о кровавой чалме,
От саранчи ночей в себе ищите спасенья,
Воспоминанья детства зажигайте в беззвездной тьме!

Вот царскосельский дуб, орел над прудом и лодки,
Овидий в изданье Манштейна, растрепанный сборник задач,
В нижнем окне сапожник стучит молотком по колодке,
В субботу последний экзамен, завтра футбольный матч!

А летом балтийские дюны, янтари и песок и снова
С молчаливыми рыбаками в синий простор до утра!..
Кто еще из читателей «Задушевного Слова»
Любит играть в солдатики?.. Очень плохая игра...

⟨1921⟩

* * *

Я приснился себе медведем,
И теперь мне трудно ходить —
Раздавил за столом тарелку,
А в ответ на нежный укор
Проворчал: «Скорлупку ореха
Я не так еще раздавлю!»

Даже медом грежу я, даже
Лапу сунул в рот и сосу.
Что же делать в этой берлоге,
Где фарфоровые сервизы
Не дают вздохнуть от души?
Уведи меня, Варя, в табор, —
С безымянного пальца скинув,
В нос продень кольцо золотое
И вели мне плясать под песни,
Под которые я мурлычу
И сейчас у тебя в ногах!
О, теперь я совсем очнулся:
Больше я не медведь, но кто я?
Отрок, радостно подраставший
На парадах в Царском Селе?
Или юноша — парижанин,
Проигравший деньги на скачках,
Всё, что брат прислал из России,
Где его гвоздильный завод?
Или тот, кто слушал Бергсона
В многолюдном колледже, или
Тот, кто может писать стихи?
Маленькая, ты не поверишь,
Что медведь я и парижанин,
Царскосел, бергсонист, писатель
И к тому же я сумасшедший,
Потому что мне показалось,
Что и Нельдихен — это я!

⟨1921⟩

* * *

Я много проиграл. В прихожей стынут шубы.
Досадно и темно. Мороз и тишина.
Но что за нежные застенчивые губы,
Какая милая неверная жена.

Покатое плечо совсем похолодело,
Не тканью дымчатой прохладу обмануть,
Упорный шелк скрипит, угадываю тело,
Едва прикрытую вздыхающую грудь.

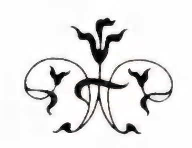
Пустая комната, зеленая лампадка,
Из залы голоса — кому-то повезло:

— К семерке два туза! Четвертая девятка! —
И снова тишина. Метелью замело

Блаженный поцелуй. Глубокий снег синеет,
С винтовкой человек зевает у костра.
Люблю трагедию — беда глухая зреет
И тяжко падает ударом топора.

А в жизни легкая комедия пленяет,
Любовь бесслезная, развязка у ворот.
Фонарь еще горит и тени удлиняет,
И солнце мутное в безмолвии растет.

⟨1921⟩



ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Толченое стекло

К. И. Чуковскому

Солдат пришел к себе домой —
Считает барыши:
«Ну, будем сыты мы с тобой —
И мы, и малыши.

Семь тысяч. Целый капитал.
Мне здорово везло:
Сегодня в соль я подмешал
Толченое стекло».

Жена вскричала: «Боже мой!
Убийца ты и зверь!
Ведь это хуже, чем разбой,
Они умрут теперь».

Солдат в ответ: «Мы все умрем,
Я зла им не хочу —
Сходи-ка в церковь вечерком,
Поставь за них свечу».

Поел и в чайную пошел,
Что прежде звали «Рай»,
О коммунизме речь повел
И пил советский чай.

Вернувшись, лег и крепко спал,
И спало все кругом,
Но в полночь ворон закричал
Так глухо под окном.

Жена вздохнула: «Горе нам!..
Ах горе, ах беда!
Не каркал ворон по ночам
Напрасно никогда».

Но вот пропел второй петух,
Солдат поднялся зол,
Был с покупателями сух
И в «Рай» он не пошел.

А в полночь сделалось черно
Солдатское жилье,
Стучало крыльями в окно,
Слетаясь, воронье.

По крыше скачут и кричат,
Проснулась детвора,
Жена вздыхала, лишь солдат
Спал крепко до утра.

И снова встал он раньше всех,
И снова был он зол.
Жена, замаливая грех,
Стучала лбом о пол.

«Ты б на денек, — сказал он ей, —
Поехала в село.
Мне надоело — сто чертей! —
Проклятое стекло».

Один оставшись, граммофон
Завел и в кресло сел.
Вдруг слышит похоронный звон,
Затрясся, побелел.

Семь кляч дощатых семь гробов
Везут по мостовой,
Поет хор бабьих голосов
Слезливо: «Упокой».

«Кого хоронишь, Константин?» —
«Да Машу вот, сестру —
В четверг вернулась с именин
И померла к утру.

У Николая умер тесть,
Клим помер и Фома,
А что такое за болесть —
Не приложу ума».

Ущербная взошла луна,
Солдат ложится спать,
Как гроб тверда и холодна
Двуспальная кровать!

И вдруг — иль это только сон? —
Идет вороний поп,
За ним огромных семь ворон
Несут стеклянный гроб.

Вошли и встали по стенам,
Сгустилась сразу мгла:
«Брысь, нечисть! В жизни не продам
Толченого стекла».

Но поздно, замер стон у губ,
Семь раз прокаркал поп.
И семь ворон подняли труп
И положили в гроб.

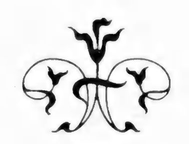
И отнесли его туда,
Где семь кривых осин
Питает мертвая вода
Чернеющих трясин.

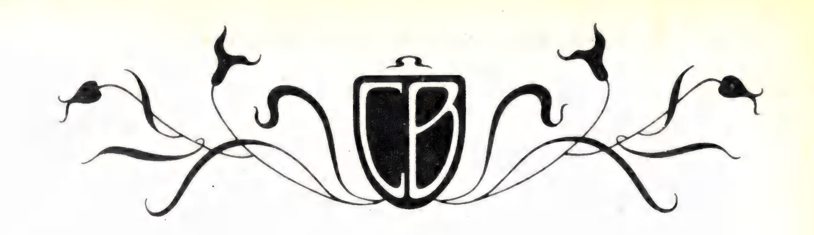
* * *

Январская луна. Огромный снежный сад.
Неслышно мчатся сани.

И слово каждое, и каждый новый взгляд
Тревожней и желанней.

Как облака плывут! Как тихо под луной!
Как грустно, дорогая!
Вот этот снег, и ночь, и ветер над Невой
Я вспомню умирая.





ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

* * *

Друг, Вы слышите, друг, как тяжелое сердце мое,
Словно загнанный пес, мокрой шерстью порывисто дышит.
Мы молчим, а мороз всё крепчает, а руки как лед.
И в бездонном окне только звезды да синие крыши.

Там медведицей белой встает, колыхаясь, луна.
Далеко за становьем бегут прошуршавшие лыжи,
И, должно быть, вот так же у синего в звездах окна
Кто-нибудь о России подумал в прозрачном Париже.

Больше нет у них дома, и долго бродить им в снегу,
Умирать у костров да в бреду говорить про разлуку.
Я смотрю Вам в глаза, я сказать ничего не могу,
И горячее сердце кладу в Вашу бедную руку.

1919

* * *

Н. С. Тихонову

Был полон воздух вспышек искровых,
Бежали дни — товарные вагоны,
Летели дни. В неистовстве боев,
В изодранной шинели и обмотках
Мужала Родина и песней-вьюгой
Кружила по истоптанным полям.

Бежали дни... Январская заря,
Как теплый дым, бродила по избушке,
И, валенками уходя в сугроб,
Мы умывались придорожным снегом,
Пока огонь завертывал бересту
На вылизанном гарью очаге.

Стучат часы. Шуршит газетой мышь.
«Ну что ж! Пора!» — мне говорит товарищ,
Хороший, беспокойный человек
С веселым ртом, с квадратным подбородком,
С ладонями шершавее каната,
С висками, обожженными войной.

Опять с бумагой шепчется перо,
Бегут неостывающие строки
Волнений, дум. А та, с которой жизнь
Как звездный ветер, умными руками,
Склонясь к огню, перебирает пряжу —
Прекрасный шелк обыкновенных дней.

1921

Памяти Ал. Блока

(7 августа 1921)

Обернулась жизнь твоя цыганкою,
А в ее мучительных зрачках
Степь, закат да с горькою тальянкою
Поезда на запасных путях.

Ты глазами, словно осень, ясными
Пьешь Россию в первый раз такой —

С тройкой, с колокольцами напрасными,
С безысходной девичьей тоской.

В пламенное наше воскресение,
В снежный вихрь — за голенищем нож —
На высокое самосожжение
Ты за ней, красавицей, пойдешь.

Довелось ей быть твоей подругою,
Роковою ночью, без креста,
В первый раз хмельной крещенской вьюгою
Навсегда поцеловать в уста...

Трех свечей глаза мутно-зеленые,
Дождь в окне, и острые, углом,
Вижу плечи — крылья преломленные —
Под измятым черным сюртуком.

Спи, поэт! Колокола да вороны
Молчаливый холм твой стерегут,
От него на все четыре стороны
Русские дороженьки бегут.

Не попам за душною обеднею
Лебедей закатных отпевать...
Был ты нашей песнею последнею,
Лучшей песней, что певала Мать.

1921

В зимнем парке

(1916)

1

Через Красные ворота я пройду
Чуть протоптанной тропинкою к пруду.

Спят богини, охраняющие сад,
В мерзлых досках заколоченные, спят.

Сумрак плавает в деревьях. Снег идет.
На пруду, за «Эрмитажем», поворот.

Чутко слушая поскрипыванье лыж,
Пахнет елкою и снегом эта тишь

И плывет над отраженною звездой
В темной проруби с качнувшейся водой.

1921

2

Бросая к небу колкий иней
И стряхивая белый хмель,
Шатаясь, в сумрак мутно-синий
Брела усталая метель.

В полукольце колонн забыта,
Куда тропа еще тиха,
Покорно стыла Афродита,
Раскинув снежные меха.

И мраморная грудь богини
Приподнималась горячо,
Но пчелы северной пустыни
Кололи девичье плечо.

А песни пьяного Борея,
Взмывая, падали опять,
Ни пощадить ее не смея,
Ни сразу сердце разорвать.

1916

3

Если колкой вьюгой, ветром встречным
Дрогнувшую память обожгло,
Хоть во сне, хоть мальчиком беспечным
Возврати мне Царское Село!

Бронзовый мечтатель за Лицеем
Посмотрел сквозь падающий снег,
Ветер заклубился по аллеям,
Звонких лыж опередив разбег.

И бегу я в лунный дым по следу
Под горбатым мостиком, туда,
Где над черным лебедем и Ледой
Дрогнула зеленая звезда.

Не вздохнуть косматым, мутным светом, —
Это звезды по снегу текут,
Это за турецким минаретом
В снежной шубе разметался пруд.

Вот твой теплый, твой пушистый голос
Издали зовет — вперегонки!
Вот и варежка у лыжных полос
Бережет всю теплоту руки.

Дальше, дальше!.. Только б не проснуться,
Только бы успеть — скорей! скорей! —
Губ ее снежинками коснуться,
Песнею растаять вместе с ней!

Разве ты не можешь, Вдохновенье,
Легкокрылой бабочки крыло,
Хоть во сне, хоть на одно мгновенье
Возвратить мне Царское Село!

1922

4

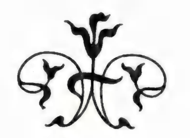
Сквозь падающий снег над будкой с инвалидом
Согнул бессмертный лук чугунный Кифаред.
О, Царское Село, великолепный бред,
Который некогда был ведом аонидам!

Рожденный в сих садах, я древних тайн не выдам.
(Умолкнул голос муз, и Анненского нет...)
Я только и могу, как строгий тот поэт,
На звезды посмотреть и «всё простить обидам».

Воспоминаньями и рифмами томим,
Над круглым озером метется лунный дым,
В лиловых сумерках уже сквозит аллея,

И вьюга шепчет мне сквозь легкий лыжный свист,
О чем задумался, отбросив Апулея,
На бронзовой скамье кудрявый лицеист.

Декабрь 1921



НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

Перекресток утопий

Мир строится по новому масштабу.
В крови, в пыли, под пушки и набат
Возводим мы, отталкивая слабых,
Утопий град — заветных мыслей град.

Мы не должны, не можем и не смеем
Оставить труд, заплакать и устать:
Мы призваны великим чародеем
Печальный век грядущим обновлять.

Забыли петь, плясать и веселиться, —
О нас потом и спляшут и споют,
О нас потом научатся молиться,
Благословят в крови начатый труд.

Забыть нельзя — враги стеною сжали,
Ты, пахарь, встань с оружием к поля
Рабочий, встань сильнее всякой ста
Все, кто за нас, — к зовущим знаме

И впереди мы видим град утопий,
Позор и смерть мы видим позади,
В изверившейся, немощной Европе
Мы — первые строители-вожди.

Мы — первые апостолы дерзанья,
И с нами все: начало и конец.
Не бросим недостроенного зданья
И не дадим сгореть ему в огне.

Здесь перекресток — веруйте, поймите,
Решенье нам одним принадлежит,
И гений бурь начертит на граните —
Свобода или рабство победит.

Утопия — светило мирозданья,
Поэт-мудрец, безумствуй и пророчь, —
Иль новый день в невиданном сиянье,
Иль новая, невиданная ночь!

20 ноября 1918

О России

Не плачьте о мертвой России —
Живая Россия встает, —
Ее не увидят слепые,
И жалкий ее не поймет.

О ней горевали иначе,
Была ли та горесть чиста?
Она возродится не в плаче,
Не в сладостной ласке кнута.

Не к морю пойдет за варягом,
Не к княжей броне припадет, —
По нивам, лесам и оврагам
Весенняя сила пройдет.

Не будет пропита в кружале,
Как прежде, святая душа
Под песни, что цепи слагали
На белых камнях Иртыша.

От Каспия к Мурману строго
Поднимется вешний народ,

Не скованный именем бога,
Не схваченный ложью тенет.

Умрет горевая Россия
Под камнем, седым горюном,
Где каркали вороны злые
О хищников пире ночном.

Мы радости снова добудем,
Как пчелы — меды по весне,
Поверим и солнцу, и людям,
И песням, рожденным в огне.

1918

* * *

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желание простое
Освятить неповторимым днем.

Так живу, а если жить устану,
И запросится душа в траву,
И глаза, не видя, в небо взглянут, —
Адвокатов рыжих позову.

Пусть найдут в законах трибуналов
Те параграфы и те года,
Что в земной дороге растоптала
Дней моих разгульная орда.

1920

* * *

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

Ноябрь 1921

* * *

Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногою,
Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов...
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

1921

Баллада о гвоздях

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост:
«С якоря в восемь. Курс — ост.

У кого жена, дети, брат —
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

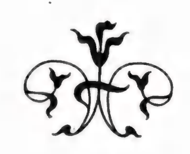
А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

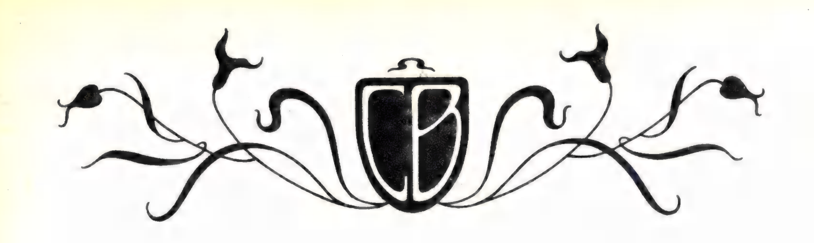
«Не всё ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Между 1919 и 1922





КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

Путешествие в Хаос

* * *

Седой табун из вихревых степей
Промчался, всё круша и руша.
И, серый, покрыл стада камней.
Травой зеленой всходят наши души.

Жуют траву стада камней.
В ночи я слышу шорох жуткий,
И при большой оранжевой Луне
Уходят в камни наши души.

* * *

Еще зари оранжевое ржанье
Ерусалимских стен не потрясло,
Лицо Иоконоанна — белый камень —
Цветами зелени и глины поросло.

И голова моя качается как череп
У окон сизых, у пустых домов,
И в пустыри открыты двери,
Где щебень, вихрь, круженье облаков.

* * *

Под пегим городом заря играла в трубы,
И камышами одичалый челн пророс.
В полуоткрытые заоблачные губы
Тянулся месяц с сетью желтых кос.

И завывал над бездной человек нечеловечьи
И ударял в стада сырых камней,
И выходили души на откос Кузнечный,
И Хаос резали на призрачном огне.

Пустую колыбель над сумеречным миром
Качает желтого Иосифа жена.
Ползут туманы в розовые дыры,
И тленье подымается из ран.

* * *

Бегут туманы в розовые дыры,
И золоченых статуй в них мелькает блик,
Маяк давно ослеп над нашею квартирой,
За бахромой ресниц — истлевшие угли.

Арап! Сдавай скорее карты!
Нам каждому приходится ночной кусок,
Заря уже давно покашливает
И выставляет солнечный сосок.

Сосите, мол, и уходите в камни,
Вы что-то засиделись за столом,
И, в погремушках вся, Мария в ресторане
О сумасшедшем Сыне думает своем.

* * *

Цветы цветут из глаз зеленых наших,
И наши мысли лепестки твердят,

Безумный Иисус с виновною ромашкой
Бредет куда глаза глядят.

О, только бы уйти от Бога,
Солгавшего и лгавшего всегда,
И месяц ржет на голубой дороге,
И там, вдали, смеется Иордан.

* * *

Надел Исус колпак дурацкий,
Озера сохли глаз Его,
И с ликом, вывшим из акаций,
Совокупился лик Его.

Кусает солнце холм покатый,
В крови листва, в крови песок...
И бродят овцы между статуй,
Носами тычут в пальцы ног.

* * *

Вихрь, бей по Лире,
Лира, волком вой,
Хаос всё шире, шире...
Господи! Упокой.

* * *

Набухнут бубны звезд над нами,
Бубновой дамой выйдет ночь,
И над великим рестораном
Прольет багряное вино.

И ты себя как горсть червонцев,
Как тонкий мех индийских коз
Отдашь в ее глухое лоно
И в нем задремлешь глубоко.

Прильни овалом губ холодных
Последний раз к перстам чужим
И в человеческих ладонях
Почувствуй трепетанье ржи.

Твой дом окном глядит в пространство,
Сырого лона запах в нем,
Как Финикия в вечность канет
Его Арийское веретено.

* * *

Уж сизый дым влетает в окна.
Простертый на диване труп
Всё ищет взорами волокно
Хрустальных дней разъятую игру.

И тихий свет над колыбелью,
Когда рождался отошедший мир,
Тогда еще Авроры трубы пели
И у бубновой дамы не было восьми.

* * *

Так маятник умолкает,
И останавливаются часы.
Хаос — арап с глухих окраин —
Карты держит, как человеческий сын.

Сдал бубновую даму и доволен,
Даже нет желанья играть,
И хрустальный звон колокольный
Бежит к колокольням вспять.

Острова

* * *

О, удалимся на о рова Вырождений,
Построим хрустальные замки снов,
Поставим тигров и львов на ступенях,
Будем следить теченье облаков.

Пусть звучит музыка в узорных беседках,
Звуки скрипок среди аллей,
Пусть поют птицы в золоченых клетках,
Будут наши лица лилий белей.

Будем в садах устраивать маскарады,
Песни петь и стихи слагать,
Будем печалью тихою рады,
Будем печально произносить слова.

Голосом надтреснутым говорить о Боге,
О больном одиноком Паяце,
У него сияет месяц двурогий,
Месяц двурогий на его венце.

* * *

Тихо, тихо качается небо,
С тихими бубенцами Его колпак,
Мы только атомы Его тела,
Такие же части, как деревьев толпа.

Такие части, как кирпич и трубы,
Ничем не лучше забытых мостов над рекой,
В своей печали не будем мы грубы,
Не будем руки ломать с тоской.

Мы будем попарно звенеть бубенцами,
На островах Вырождений одиноко жить,
Чтоб не смутить своими голосами
Людей румяных в колосьях ржи.

* * *

Сегодня — дыры, не зрачки у глаз,
Как холоден твой лик, проплаканы ресницы,
Вдали опять адмиралтейская игла
Заблещет, блещет в утренней зарнице.

И может быть, ночной огромный крик
Был только маревом на обулыженном болоте,
И стая не слетится черных птиц,
И будем слышать мы орлиный клекот...

* * *

Луна, как глаз, налилась кровью,
Повисла шаром в темноте небес,

И воздух испещрен мычаньем коровьим,
И волчьим завываньем полон лес.

И старый шут, горбатый и зеленый,
Из царских комнат прибежал к реке
И телом обезьянки обнаженным
Грозил кому-то в небесах в тоске.

И наверху, где плачут серафимы,
Звенели колокольцы колпака,
И старый Бог, огромный и незримый,
Спектакль смотрел больного червяка.

И шут упал, и ангелы молились,
Заплаканные ангелы у трона Паяца,
А он в сиянье золотистой пыли
Смеялся резким звоном бубенца.

И век за веком плыл своей орбитой,
Родились юноши с печалью вместо глаз,
С душою обезьянки, у реки убитой,
И с той поры идет о Паяце рассказ.

Кафе в переулке

Есть странные кафе, где лица слишком бледны,
Где взоры странны, губы же ярки,
Где посетители походкою неверной
Обходят столики, смотря на потолки.

Они оборваны, движенья их нелепы,
Зрачки расширены их бегающих глаз,
И потолки их давят, точно стены склепа,
Светильня грустная для них фонарный газ.

Один в углу сидит и шевелит губами:
«Я новый бог, пришел, чтоб этот мир спасти,
Сказать, что солнце в нас, что солнце не над нами,
Что каждый — бог, что в каждом — все пути,

Что в каждом — города, и рощи, и долины,
Что в каждом существе — и реки, и моря,
Высокие хребты, и горные низины,
Прозрачные ручьи, что золотит заря.

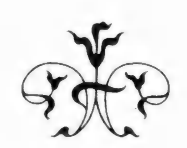
О, мир весь в нас, мы сами — боги,
В себе построили из камня города
И насадили травы, провели дороги,
И путешествуем в себе мы целые года...»

Но вот умолкла скрипка на эстраде,
И новый бог лепечет — это только сон,
И муха плавает в шипучем лимонаде,
И неуверенно к дверям подходит он.

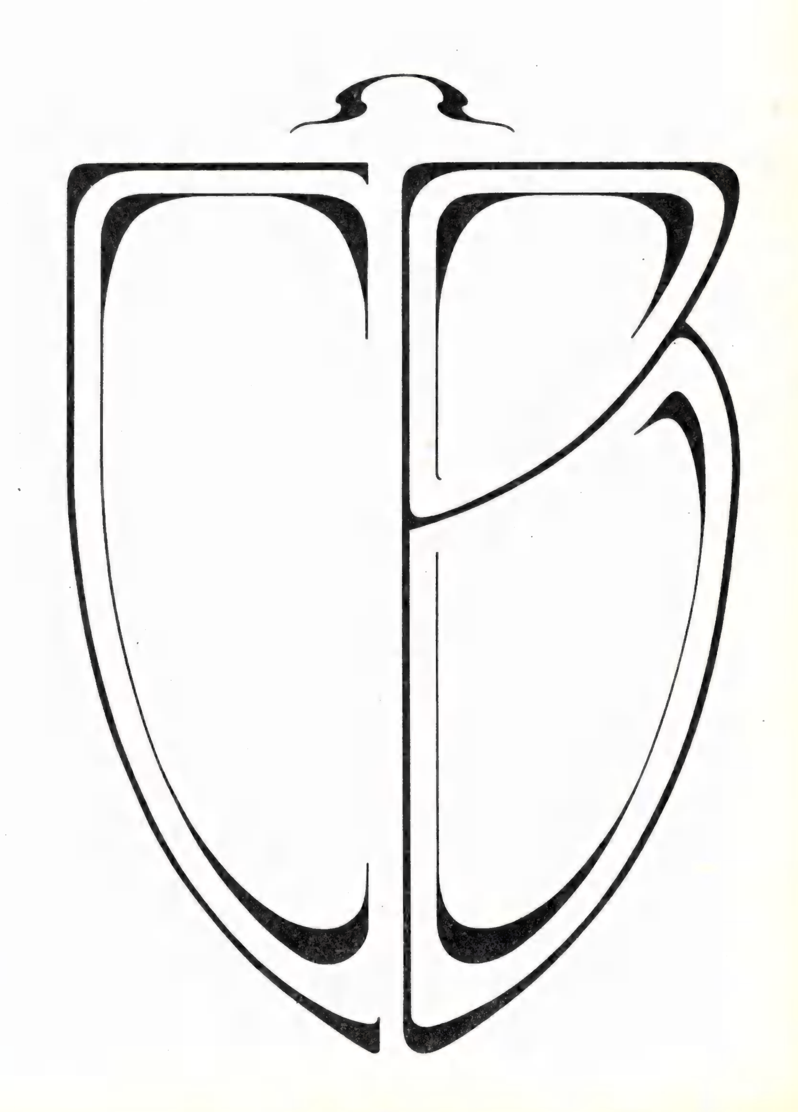
На улице стоит поэт чугунный,
В саду играет в мячик детвора,
И в небосклон далекий и лазурный
Пускает мальчик два шара.

Есть странные кафе, где лица слишком бледны,
Где взоры странны, губы же ярки;
Там посетители походкою неверной
Обходят столики, смотря на потолки.

1921



Футуристы



Владимир Маяковский
Велимир Хлебников
Василий Каменский
Игорь Северянин
Елена Гуро
Бенедикт Лившиц

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

<1913>

Кое-что про Петербург

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски;
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

<1913>

Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

<1913>

Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,

боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мýку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

<1914>

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?
Как это?»

А когда геликон —
меднорожий,
потный —
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к
Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,—
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,

как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

<1915>

Лиличка!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.

Если быка трудом умо́рят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

Последняя петербургская сказка

Стоит император Петр Великий,
думает:

«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвáлась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

<1916>

Революция

Поэтохроника

26 февраля.
Пьяные, смешанные с полицией, солдаты
стреляли в народ.

27-е.

Разли́лся по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и до́лог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
    «Стрелять за голод!» —
    заткнули пулей орущий рот.
    Чье-то — «Смирно!»
    Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
пó сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:

«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!

Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,

или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.

Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле

солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех ма́ло?!
Или небо над нами мало́ голу́бое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громо́вое:
— Верую
величию сердца человечьего! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 года, Петроград

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.

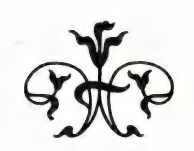
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала!
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

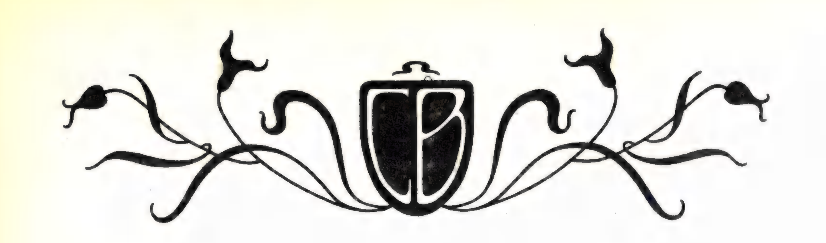
Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».

Может быть — старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И всё ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918





ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

* * *

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна́,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!

Начало 1908

Заклятие смехом

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешиц надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Сме́йево, сме́йево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

⟨1908—1909⟩

* * *

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

⟨1912⟩

* * *

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!

⟨1914⟩

* * *

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.

В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.

⟨1915⟩

* * *

Вновь труду доверил руки
И доверил разум свой.
Он ослабил голос муки,
Неумолчный ночью вой.
Судьбы чертеж еще загадочный
Я перелистываю днями.
Блеснет забытыми заботами
Волнующая бровь,
Опять звенит работами
Неунывающая кровь.

⟨1916⟩

О свободе

Вихрем разумным, вихрем единым
Все за богиней — туда!
Люди крылом лебединым
Знамя проносят труда.

Жгучи свободы глаза,
Пламя в сравнении — холод!
Пусть на земле образа!
Новых построит их голод.

Двинемся, дружные, к песням!
Все за свободой — вперед!
Станем землею — воскреснем,
Каждый потом оживет!

Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам!

Начало ноября 1918, 1922

Ладомир

⟨Отрывок⟩

И за́мки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.
Кто изнемог в старинных спорах
И чей застенок там на звездах,
Неси в руке гремучий порох —
Зови дворец взлететь на воздух.
И если в зареве пламен
Уж потонул клуб дыма сизого,
С рукой в крови взамен знамен
Бросай судьбе перчатку вызова.
И если меток был костер
И взвился парус дыма синего,
Шагай в пылающий шатер,
Огонь за пазухою — вынь его.
И где ночуют барыши,
В чехле стекла, где царский замок,
Приемы взрыва хороши
И даже козни умных самок,
Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
О девушка, души косой
Убийцу юности в часы свидания
За то, что девою босой
Ты у него молила подаяния.
Иди кошачьею походкой,
От нежной полночи чиста.
Больная, поцелуй чахоткой
Его в веселые уста.
И ежели в руке железа нет —
Иди к цепному псу,
Целуй его слюну.
Целуй врага, пока он не исчезнет.
Холоп богатых, улю-лю,
Тебя дразнила нищета,
Ты полз, как нищий, к королю
И целовал его уста.
Высокой раною болея,
Снимая с зарева засов,
Хватай за ус созвездье Водолея,
Бей по плечу созвездье Псов!

И пусть пространство Лобачевского
Летит с знамен ночного Невского.
Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте.
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.
Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
И будет молния рыдать,
Что вечно носится слугой,
И будет некому продать
Мешок от золота тугой.
Смерть смерти будет ведать сроки,
Когда вернется он опять,
Земли повторные пророки
Из всех письмен изгонят ять.
В день смерти зим и раннею весной
Нам руку подали венгерцы.
Свой замок цен, рабочий, строй
Из камней ударов сердца.
И, чокаясь с созвездьем Девы,
Он вспомнит умные напевы
И голос древних силачей
И выйдет к говору мечей.
И будет липа посылать
Своих послов в совет верховный,
И будет некому желать
Событий радости греховной.
И пусть мещанскою резьбою
Дворцов гордились короли,
Как часто вывеской разбою
Святых служили костыли.
Когда сам бог на цепь похож,
Холоп богатых, где твой нож?
Вперед, колодники земли,
Вперед, добыча голодовки,
Кто трудится в пыли,
А урожай снимает ловкий.

Вперед, колодники земли,
Вперед, свобода голодать,
А вам, продажи короли,
Глаза оставлены — рыдать.
Туда, к мировому здоровью,
Наполнимте солнцем глаголы,
Перуном плывут по Днепровью,
Как падшие боги, престолы.
Лети, созвездье человечье,
Всё дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор.
Где роем звезд расстрел небес,
Как грудь последнего Романова,
Бродяга дум и друг повес
Перекует созвездье заново...

22 мая 1920, 1921

* * *

Тайной вечери глаз знает много Нева,
Здесь спасителей кровь причастилась вчера
С телом севера, камнем булыжника.
В ней воспета любовь отпылавших страниц.
Это пеплом любви так черны вечера
И рабочих, и бледного книжника.
Льется красным струя,
Лишь зажжется трояк
На усталых мостах.
Трубы ветра грубы́,
А решетка садов стоит стражей судьбы.
Тайной вечери глаз знает много Нева
У чугунных коней, у широких камней
Дворца Строганова.

Февраль 1921, начало 1922

* * *

Помимо закона тяготения
Найти общий строй времени,
Яровчатых солнечных гусель —
Основную мелкую ячейку времени и всю сеть.

1921

Я и Россия

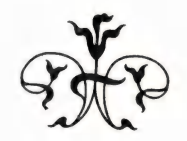
Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху,
И каждый зеркальный небоскреб моего волоса,
Каждая скважина
Города тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня — государства
Тысячеоконных кудрей толпились у окон.
Ольги и Игори,
Не по заказу
Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу.
Пала темница рубашки!
А я просто снял рубашку —
Дал солнце народам Меня!
Голый стоял около моря.
Так я дарил народам свободу,
Толпам загара.
1921

Не шалить!

Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!
Не затем высока
Воля правды у нас,
В соболях-рысаках
Чтоб катались, глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки.
Не зубами скрипеть
Ночью долгою —
Буду плыть, буду петь
Доном-Волгою!

Я пошлю вперед
Вечеровые уструги.
Кто со мною — в полет?
А со мной — мои други!

Февраль 1922



ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

Чурлю-журль

Звенит и смеется,
Солнится, весело льется
Дикий лесной журчеек,
Своевольный мальчишка:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль.
Звенит и смеется,
И эхо живое несется
Далеко в зеленой тиши
Корнистой глуши:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль.
Звенит и смеется.
Отчего никто не проснется
И не побежит со мной
Далеко в разгулье:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль.

Смеется и солнится,
С гор несет песню
И не видит, лесная лесинка
Низко нагнулась над ним.
И не слышит цветинка
Песню ответную.
Еще зовно зовет:
Чурлю-журль,
Чурлю-журль.

Крестьянская

В. Маяковскому

Дай бог здоровья себе да коням!
Я научу тебя землю пахать.
Знай, брат, держись, как мы погоним,
И недосуг нам будет издыхать.
Чего схватился за поясницу?
Ишь ты — лентяй — ядрено ешь, —
Тебе бы к девкам на колесницу
Вертеться, леший, на потешь.
Дай бог здоровья себе да коням!
Я те заставлю пни выворачивать.
Мы с тобой силы зря не оброним,
Станем кулаками тын заколачивать.
Чего когтями скребешь затылок?
Разминай-ко силы проворнее,
Да сделай веселым рыжее рыло,
Хватайся — ловись — жми задорнее.
Дай бог здоровья себе да коням!
Мы на работе загрызем хоть кого.
Мы не сгорим, на воде не утонем.
Станем — два быка — вво!

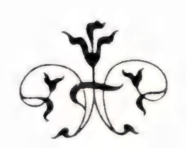
Сарынь на кичку

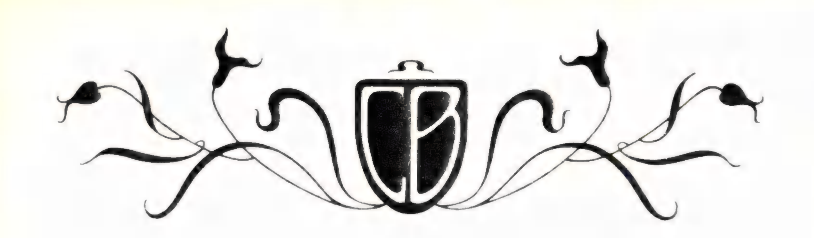
(Глава из поэмы «Степан Разин»)

А ну, вставайте,
Подымайте паруса,
Зачинайте
Даль окружную,

Звонким ветром
Раздувайте голоса,
Затевайте
Песню дружную.
Эй, кудрявые,
На весла налегай —
Разом
Ухнем,
Духом
Бухнем.
Наворачивай на гай.
Держи
Май,
Разливье
Май,—
Дело свое делаем,—
Пуще,
Гуще
Нажимай,
Нажимай на левую.
На струг вышел Степан —
Сердцем яростным пьян.
Волга — синь-океан.
Заорал атаман:
«С а р ы н ь н а к и ч к у !»
Ядреный лапоть
Пошел шататься
По берегам.
Сарынь на кичку!
В Казань!
В Саратов!
В дружину дружную
На перекличку!
На лихо лишное
Врагам!
Сарынь на кичку!
Бочонок с брагой
Мы разопьем
У трех костров,
И на приволье
Волжском вагой
Зарядим пир
У островов.
С а р ы н ь
Н а
К и ч к у !

Ядреный лапоть,
Чеши затылок
У подлеца.
Зачнем
С низовья
Хватать,
Царапать
И шкуру драть —
Парчу с купца.
Сарынь
На кичку!
Кистень за пояс,
В башке зудит
Разгул до дна.
Свисти!
Глуши!
Зевай!
Раздайся!
Слепая стерва,
Не попадайся! Вва!
Сарынь на кичку!
Прогремели горы.
Волга стала
Шибче течь.
Звоном отзвенели
Острожные затворы.
Сыпалась горохом
По воде картечь.





ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Это было у моря...

Поэма-миньонет

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат,
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.

Февраль 1910

Весенний день

Дорогому К. М. Фофанову

Весенний день горяч и золот,—
Весь город солнцем ослеплен!
Я снова — я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!

Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на «ты»...
Какой простор! Какая воля!
Какие песни и цветы!

Скорей бы — в бричке по ухабам!
Скорей бы — в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам,
Как друга, целовать врага!

Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! Цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!

Апрель 1911

На Островах

В ландо моторном, в ландо шикарном
Я проезжаю по Островам,
Пьянея встречным лицом вульгарным
Среди дам просто и — «этих» дам.

Ах, в каждой «фее» искал я фею
Когда-то раньше. Теперь не то.
Но отчего же я огневею,
Когда мелькает вблизи манто?

Как безответно! Как безвопросно!
Как гривуазно! Но всюду — боль!
В аллеях сорно, в куртинах росно,
И в каждом франте жив Рокамболь.

И что тут прелесть? И что тут мерзость?
Бесстыж и скорбен ночной пуант.
Кому бы бросить наглее дерзость?
Кому бы нежно поправить бант?

Май 1911

В осенокошенном июле

Июль блестяще осенокошен.
Ах, он уходит! Держи! Держи!
Лежу на шелке зеленом пашен,
Вокруг — блондинки, косички ржи.

О небо, небо! Твой путь воздушен!
О поле, поле! Ты — грезы верфь!
Я онебесен! Я онездешен!
И бог мне равен, и равен червь!

Июль 1911

На реке форелевой

На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.

На реке форелевой в трепетной осиновке
Хорошо мечтается над крутыми веслами.
Вечереет, холодно. Зябко спят малиновки.
Скачет лодка скользкая камышами рослыми.
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами.

Август 1911

Качалка грезёрки

Л. Д. Рындиной

Как мечтать хорошо Вам
В гамаке камышовом
Над мистическим оком — над бестинным прудом!

Как мечты — сюрпризерки
Над качалкой грезёрки
Истомленно лунятся: то — Верлен, то —
Прюдом!
Что за чудо и диво!
То Вы — леди Годива,
Через миг — Иоланта, через миг Вы — Сафо́...
Сто́ит Вам повертеться —
И загрезится сердце:
Все на свете возможно, все для Вас ничего!
Покачнетесь Вы влево —
Королев королева,
Властелинша планеты голубых антилоп,
Где от вздохов левкоя
Упоенье такое,
Что загрезит порфирой заурядный холоп!
Покачнетесь Вы вправо —
Улыбнется Вам Слава,
И дохнет Ваше имя, как цветы райских клумб;
Прогремит Ваше имя,
И в омолненном дыме
Вы сойдете на Землю,— мирозданья Колумб!
А качнетесь Вы к выси,
Где мигающий бисер,
Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс.
И мечты-сюрпризерки
Над качалкой грезёрки
Воплотятся в капризный, но бессмертный
эксцесс!

1911

Кензель

В шумном платье муаровом, в шумном платье
муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево...
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.

Для уто́нченной женщины ночь всегда
новобрачная...
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...

В шумном платье муаровом, в шумном платье
муаровом —
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...
Но кого же в любовники! и найдется ли пара
Вам?

Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете
бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше
резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем
жасминовым —
Шумным платьем муаровым, шумным платьем
муаровым!..

1911

Эпилог

1

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Я — год назад — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.

«Я одинок в своей задаче!» —
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.

Нас стало четверо, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.

Она росла в своем единстве,
Самодержавна и горда,—
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатер орда...

От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот;
У каждого в плече заноза,—
Зане болезнен беглых взлет.

Я их приветил: я умею
Приветить все,— божи́, Привет!
Лети, голубка, смело к змию!
Змея, обвей орла в ответ!

2

Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным наудачу
Завоевателя порыв.

Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.

Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный *Рим*.

Я изнемог от льстивой свиты,
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.

Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,

Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

Октябрь 1912

Увертюра

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро́!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропро́свист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!

Январь 1915

Поэза северного озера

В двенадцати верстах от Луги,
В лесу сосновом, на песке,
В любимом обществе подруги
Живу в чарующей тоске...

Среди озер, берез и елок
И сосен мачтовых среди
Бежит извилистый проселок,
Шум оставляя позади.

Я не люблю дорог шоссейных:
На них — харчевни и обоз.
Я жить привык в сквозных, в кисейных
Лесах, где колыбели грез.

В просторном доме, в десять комнат,
Простой, мещанистый уют,
Среди которого укромно
Дни северлетние текут.

Дом на горе, а в котловине,
Как грандиозное яйцо,
Блистает озеро сталь-сине,
И в нем — любимое лицо!

С ольховой удочкой, в дырявой
И утлой лодке, на корме,
Ты — нежный отдых мой от славы,
Который я найти сумел...

То в аметистовом, то в белом,
То в бронзовом, то в голубом,
Ты бродишь в парке запустелом
И песней оживляешь дом.

На дне озерном бродят раки
И плоскотелые лещи.
Но берегись: в зеленом мраке
Медведи, змеи и клещи!

А вечерами крыломыши
Лавируют среди берез,
И барабанит дождь по крыше,
Как громоносный Берлиоз.

Да, много в жизни деревенской
Несносных и противных «но»,
Но то, о чем твердит Каменский,
Решительно исключено...

Здесь некому плести интриги,
И некому копать здесь ям...
Ни до Вердена, ни до Риги
Нет дела никакого нам...

Здесь царство в некотором роде,
И оттого, что я — поэт,
Я кровью чужд людской породе
И свято чту нейтралитет.

Конец июля 1916

Моему народу

Народ оцарен! Царь низложен!
Свободно слово и печать!
Язык остер, как меч без ножен!
Жизнь новую пора начать!

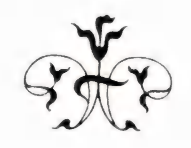
Себя царями осознали
Еще недавние рабы:
Разбили вздорные скрижали
Веленьем солнечной судьбы!

Ты, единенье, — златосила,
Тобою свергнут строй гнилой!
Долой, что было зло и хило!
Долой позорное! Долой!

Долой вчерашняя явь злая:
Вся гнусь! Вся низость! Вся лукавь!
Долой эпоха Николая!
Да здравствует иная явь!

Да здравствует народ весенний,
Который вдруг себя обрел!
Перед тобой клоню колени,
Народ-поэт! Народ-орел!

8 марта 1917



ЕЛЕНА ГУРО

* * *

Пролегала дорога в стороне,
Не было в ней пути.
Нет!
А была она зато очень красива!
Да, именно зато.
Приласкалась к земле эта дорога,
Так прильнула, что душу взяла.
Полюбили мы эту дорогу,
На ней поросла трава.
Доля, доля, доляночка!
Доля ты тихая, тихая моя.
Что мне в тебе, что тебе во мне?
А ты меня замучила!

1914

Вечернее

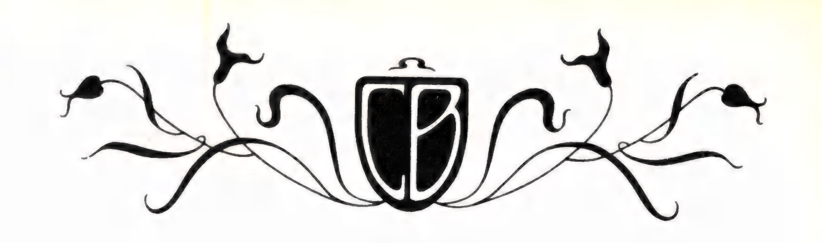
Покачнулось море —
Баю-бай.

Лодочка поплыла.
Встрепенулись птички...
Баю-бай,
Правь к берегу!
    Море, море, засыпай,
    Засыпайте кулички,
В лодку девушка легла,
Косы длинней, длинней
    Морской травы.

. . . .

Нет, не заснет мой дурачок!
Я не буду петь о любви.
Как ты баюкала своего?
Старая Озе, научи.
    Ветви дремлют...
        Баю-бай,
    Таратайка не греми,
        Сердце верное — знай —
    Ждать длинней морской травы.
Ждать длинней, длинней морской травы,
    А верить легко.
Не гляди же, баю-бай,
Сквозь оконное стекло!
Что окошко может знать?
    И дорога рассказать?
Пусть говорят — мечты-мечты,
Сердце верное может знать
То, что длинней морской косы.
    Спи спокойно,
    Баю-бай,
    В море канули часы,
    В море лодка уплыла
    У сонули рыбака,
    Прошумела нам сосна,
    Облака тебе легли,
    Строятся дворцы вдали, вдали!..

1914



БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

Казанский собор

И полукруг, и крест латинский,
И своенравца римский сон
Ты перерос по-исполински —
Удвоенный дугой колонн.

И вздыбленной клавиатуре
Удары звезд и лёт копыт
Равны, когда вдыхатель бури
Жемчужным воздухом не сыт.

В потоке легком небоската
Ты луч отвергнешь ли один,
Коль зодчий тратил, точно злато,
Гиперборейский травертин?

Не тленным камнем — светопада
Опоясался ты кольцом,
И куполу дана отрада
Стоять колумбовым яйцом.

1914

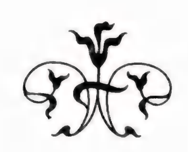
Закат у Дворцового моста

И треугольник птичьей стаи
И небосклона блеклый прах —
Искусный фокус Хокусаи,
Изобличенный в облаках,

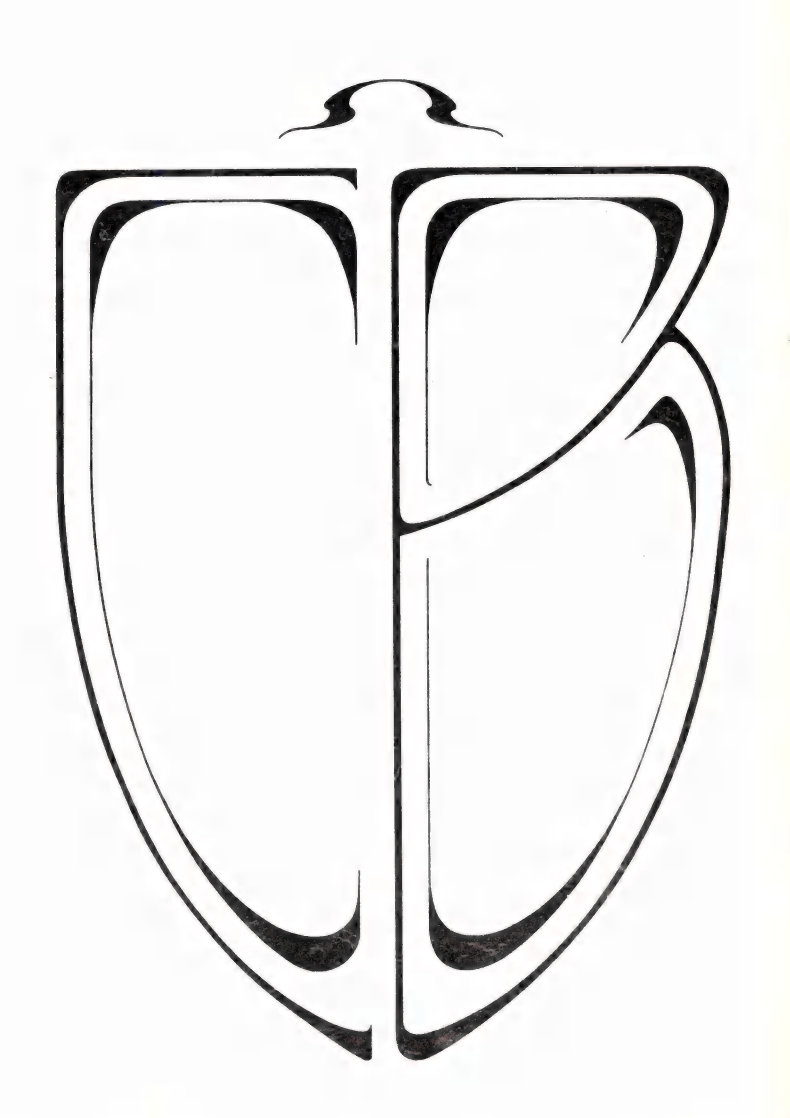
А душу водную волнуя —
Как пламенная сыть! —
Из солнечного златоструя
Мы не торопимся уплыть,

Не веря сами, что добыто
Такое счастье над Невой
И не раздавит нас копыто
На набережной роковой.

1915



Новокрестьянские и пролетарские
ПОЭТЫ



Николай Клюев

Сергей Есенин

Сергей Клычков

Петр Орешин

Демьян Бедный

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Пусть я в лаптях

Пусть я в лаптях, в сермяге серой,
В рубахе грубой, пестрядной,
Но я живу с глубокой верой
В иную жизнь, в удел иной!

Века насилья и невзгоды,
Всевластье злобных палачей
Желанье пылкое свободы
Не умертвят в груди моей!

Наперекор закону века,
Что к свету путь загородил,
Себя считать за человека
Я не забыл! Я не забыл!

<1905>

Голос из народа

Вы — отгул глухой, гремучей,
Обессилевшей волны,
Мы — предутренние тучи,
Зори росные весны.

Ваши помыслы — ненастье,
Дрожь и тени вечеров,
Наши — мерное согласье
Тяжких времени шагов.

Прозревается лишь в книге
Вами мудрости конец,—
В каждом облике и миге
Наш взыскующий Отец.

Ласка Матери-природы
Вас забвеньем не дарит,—
Чародейны наши воды
И огонь многоочит.

За слиянье нет поруки,
Перевал скалист и крут,
Но бесплодно ваши стуки
В лабиринте не замрут.

Мы, как рек подземных струи,
К вам незримо притечем
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольем.

1910

Александру Блоку

1

Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета,—
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?

Вышли из хижины мы,
Смотрим в морозные дали:

Духи метели и тьмы
Взморье снегами сковали.

Тщетно тоскующий взгляд
Скал испытует граниты,—
В них лишь родимый фрегат
Грудью зияет разбитой.

Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка.

В снежности синих ночей
Будем под прялки жужжанье
Слушать пролет журавлей,
Моря глухое дыханье.

Радость незримо придет,
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжет
Зорь незакатное пламя.

2

Я болен сладостным недугом —
Осенней, рдяною тоской.
Нерасторжимым полукругом
Сомкнулось небо надо мной.

Она везде неуловима,
Трепещет, дышит и живет:
В рыбачьей песне, в свитках дыма,
В жужжанье ос и блеске вод.

В шуршанье трав — ее походка,
В нагорном эхе — всплески рук,
И казематная решетка —
Лишь символ смерти и разлук.

Ее ли косы смоляные,
Как ветер смех, мгновенный взгляд...
О, кто Ты: Женщина? Россия?
В годину черную собрат!

Поведай: тайное сомненье
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?

1910

* * *

Я был прекрасен и крылат
В богоотеческом жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.

Блаженной родины лишен
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
Молитвословящий пустыне.

Лишь одного недостает
Душе в подветренной юдоли,—
Чтоб нив просторы, лоно вод
Не оглашались стоном боли,

Чтоб не стремил на брата брат
Враждою вспыхнувшие взгляды,
И ширь полей, как вертоград,
Цвела для мира и отрады,

И чтоб похитить человек
Венец Создателя не тщился,
За что, отверженный навек,
Я песнокрылия лишился.

<1911>

* * *

Есть на свете край обширный,
Где растут сосна да ель,
Неисследный и пустынный,—
Русской скорби колыбель.

В этом крае тьмы и горя
Есть забытая тюрьма,
Как скала на глади моря,
Неподвижна и нема.

За оградою высокой
Из гранитных серых плит
Пташкой пленной, одинокой
В башне девушка сидит.

Злой кручиною объята,
Всё томится, воли ждет,
От рассвета до заката,
День за днем, за годом год.

Но крепки дверей запоры,
Недоступно-страшен свод,
Сказки дикого простора
В каземат не донесет.

Только ветер перепевный
Шепчет ей издалека:
«Не томись, моя царевна,
Радость светлая близка.

За чертой зари туманной,
В ослепительной броне,
Мчится витязь долгожданный
На вспененном скакуне».

<1911>

* * *

Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор,
Из-за быстрых рек, из-за дальних гор,
Чтоб у ног твоих, витязь схимнище,
Подышать лесной древней силищей!

Ты прости, отец, сына нищего,
Песню-золото расточившего,
Не кудрявичем под гуслярный звон
В зелен терем твой постучался он!

Богатырь душой, певник розмыслом,
Раздружился я с древним обликом,
Променял парчу на сермяжину,
Кудри-вихори на плешь-лысину.

Поклонюсь тебе, государь, душой —
Укажи тропу в зелен терем свой!
Там, двенадцать в ряд, братовья сидят —
Самоцветней зорь боевой наряд...

Расскажу я им, баснослов-баян,
Что в родных степях поредел туман,
Что сокрылися гады, филины,
Супротивники пересилены.

Что крещеный люд на завалинах
Словно вешний цвет на прогалинах...
Ах, не в руку сон! Седовласый бор
Чуда-терема сторожит затвор:
На седых щеках слезовая смоль,
Меж бровей-трущоб вещей думы боль.

1912

Из цикла «Избяные песни»

Памяти матери

1

Четыре вдовицы к усопшей пришли...
(Крича, бороздили лазурь журавли,
Сентябрь-скопидом в котловин сундуки
С сынком-листодером ссыпал медяки).

Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной с руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебедка, бела и тепла,
Как допрежь сытовые хлебы пекла.

Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.

Как ель под пилою, вздохнула изба,
В углу зашепталася теней гурьба,
В хлевушке замукал сохатый телок,
И вздулся, как парус, на грядке платок...
Дохнуло молчанье... Одни журавли,
Как витязь победу, трубили вдали:

«Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселем, словно кипень, белы,—
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель Иван с ендовы расписной
Их поит живой иорданской водой!..»

Зарделось оконце... Закат-золотарь
Шасть в избу незваный: принес-де стихарь —
Умершей обнову, за песни в бору,
За думы в рассветки, за сказ ввечеру,
А вынос блюсти я с собой приведу
Сутёмки, зарянку и внучку-звезду,
Скупцу ж листодеру чрез мокреть и гать
Велю золотые ширинки постлать.

12

В селе Красный Волок пригожий народ:
Лебедушки девки, а парни как мед,
В моленных рубахах, в беленых портах,
С малиновой речью на крепких губах;

Старухи в долгушках, а деды — стога,
Их россказни внукам милей пирога:
Вспушатся усищи, и киноварь слов
Выводит узоры пестрей теремов.

Моленна в селе — семискатный навес:
До горнего неба семь нижних небес,
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре — заутренний день.

Рундук запорожный — пречудный Фавор,
Где плоть убелится, как пена озер.

Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двуперстьем креста.

Озерная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:

«Сладчайшего гостя готовьтесь принять!
Грядет он в нощи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень как дед...»
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глуби уходит столбом
До сердца земного, где праотцев дом.

Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов:
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что попрана Бездна и Ада ключи.

Между 1914 и 1916

Из цикла
«Поэту Сергею Есенину»

3

Бумажный ад поглотит вас
С чернильным черным сатаною,
И бесы: Буки, Веди, Аз
Согнут построчников фитою.

До воскрешающей трубы
На нас падут, как кляксы, беды,
И промокательной судьбы
Не избежат бумагоеды.

Заместо славы будет смерть
Их костяною рифмой тешить,
На клякс-папировую жердь
Насадят лавровые плеши.

Построчный пламень во сто крат
Горючей жупела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад
Не для певцов любви и веры.

Не для тебя, мой василек,
Смола терцин, устава клещи,
Ржаной колдующий восток
Тебе открыл земные вещи:

«Заря-котенок моет рот,
На сердце теплится лампадка».
Что мы с тобою не народ —
Одна бумажная нападка.

Мы, как Саул, искать ослиц
Пошли в родные буераки
И набрели на блеск столиц,
На ад, пылающий во мраке.

И вот, окольною тропой,
Идем с уздой и кличем: сивка!
Поют хрустальною трубой
Во мне хвоя, в тебе наливка —

Тот душегубный варенец,
Что даль рязанская сварила.
Ты — Коловратов кладенец,
Я — бора пасмурная сила.

Таран бумажный нипочем
Для адамантовой кольчуги...
О, только б странствовать вдвоем,
От Соловков и до Калуги.

Через моздокский синь-туман,
На ржанье сивки, скрип косули!..
Но есть полынный, злой дурман
В степном жалеечном Июле.

Он за курганами звенит
И по-русалочьи мурлычет:
«Будь одиноким, как зенит,
Пускай тебя ничто не кличет».

Ты отдалился от меня
За ковыли, глухие лужи...
По ржанью певчего коня
Душа курганная недужит.

И знаю я, мой горбунок
В сосновой лысине у взморья;
Уж преисподняя из строк
Трепещет хвойного Егорья.

Он возгремит, как божья рать,
Готовя ворогу расплату,
Чтоб в книжном пламени не дать
Сгореть родному Коловрату.

1916–1917

Красная песня

Распахнитесь, орлиные крылья,
Бей, набат, и гремите, грома, —
Оборвалися цепи насилья,
И разрушена жизни тюрьма!

Широки черноморские степи,
Буйна Волга, Урал златоруд, —
Сгинь, кровавая плаха и цепи,
Каземат и неправедный суд!

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!

Сбылись думы и давние слухи,
Пробудился Народ-Святогор —
Будет мед на домашней краюхе
И на скатерти ярок узор.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Хлеб да соль, Костромич и Волынец,
Олончанин, Москвич, Сибиряк!
Наша Волюшка — божий гостинец —
Человечеству светлый маяк!

От Байкала до теплого Крыма
Расплеснется ржаной Океан...
Ослепительней риз серафима
Заревой Святогоров кафтан.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Ставьте ж свечи Мужицкому Спасу!
Знанье — брат, и наука — сестра.
Лик пшеничный с брадой солнцевласой —
Воплощенье любви и добра!

Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш рай вожделенный, родной.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Верьте ж, братья, за черным ненастьем
Блещет солнце — господне окно;
Чашу с кровью, всемирным причастьем,
Нам испить до конца суждено.

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами,
На бой, на бой!

1917

Песнь солнценосца

Три огненных дуба на пупе земном,
От них мы три желудя-солнца возьмем:
Лазоревым — облачный хворост спалим,
Павлиньим — грядущего даль озарим,
А красное солнце — мильонами рук
Подымем над миром печали и мук.
Пылающий кит взбороздит океан,
Звонарь преисподний ударит в Монблан,
То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бечеву свил архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы.
О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!
Мы — рать солнценосцев на пупе земном —
Воздвигнем стобашенный, пламенный дом:
Китай и Европа, и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,
Чтоб бездну с Зенитом в одно сочетать.
Им бог — восприемник, Россия же — мать.
Из пупа вселенной три дуба растут:
Премудрость, Любовь и волхвующий Труд...
О, молот-ведун, чудотворец-верстак,
Вам ладан стиха, в сердце сорванный мак,
В ваш яростный ум, в многострунный язык
Я пчелкою-рифмой, как в улей, проник,
Дышу восковиной, медынью цветов,
Сжигающих Индий и Волжских лугов!..
Верстак — Назарет, наковальня — Немврод,
Их слил в песнозвучье родимый народ:
«Вставай, подымайся» и «Зелен мой сад» —
В кровавом окопе и в поле звучат...
«Вставай, подымайся»,— старуха поет,
В потемках телега и петли ворот,
За ставнем береза и ветер в трубе
Гадают о вещей народной судьбе...

Три желудя-солнца досталися нам —
Засевный подарок взалкавшим полям:
Свобода и Равенство, Братства венец —
Живительный выгон для ярых сердец.

Тучнейте, отары голодных умов,
Прозрений телицы и кони стихов!
В лесах диких грив, звездных рун и вымян
По струнным лугам потечет молоко,
И певчей калиткою стукнет Садко:
«Пустите Бояна — Рублевскую Русь,
Я тайной умоюсь, а песней утрусь,
Почестному пиру отвешу поклон,
Румянее яблонь и краше икон:

Здравствуешь, Волюшка-мать,
Божьей Земли благодать,
Белая Меря, Сибирь,
Ладоги хлябкая ширь!

Здравствуйте, Волхов-гусляр,
Степи Великих Бухар,
Синий моздокский туман,
Волга и Стенькин курган!

Чай стосковались по мне,
Красной поддонной весне,
Думали — злой водяник
Выщербил песенный лик?

Я же — в избе и в хлеву
Ткал золотую молву,
Сирин мне вести носил
С плах и бескрестных могил.

Рушайте ж лебедь-судьбу,
В звон осластите губу,
Киева сполох-уста
Пусть воссияют, где Мста.

Чмок городов и племен
В лике моем воплощен,
Я — песноводный жених,
Русский яровчатый стих!»

1917

* * *

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых
Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть всё небо в алмазах,
Уловить серафимов хвалы,
Причаститься из Спасовой чаши!
Наши юноши — в тучах орлы,
Звезд задумчивей девушки наши.

Город-дьявол копытами бил,
Устрашая нас каменным зевом.
У страдальческих теплых могил
Обручились мы с пламенным гневом.
Гнев повел нас на тюрьмы, дворцы,
Где на правду оковы ковались...
Не забыть, как с детями отцы
И с невестою милый прощались.

Мостовые расскажут о нас,
Камни знают кровавые были...
В золотой, победительный час
Мы сраженных орлов схоронили.
Поле Марсово — красный курган,
Храм победы и крови невинной...
На державу лазоревых стран
Мы помазаны кровью орлиной.

Конец 1917 — начало 1918

* * *

Владимиру Кириллову

Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.

Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.

Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово,—
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.

У подножья кости бранные,
Черепа с кромешным хохотом;
Где же крылья ураганные,
Поединок с мечным грохотом?

На святыни пролетарские,
Гнезда вить слетелись филины;
Орды книжные, татарские
Шестернею не осилены.

Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном.
Сон Кольцовский, терем Меевский
Утонули в море клюквенном.

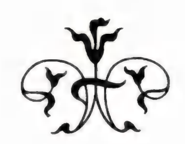
Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.

Мы — ржаные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное.

Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлиные...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.

Воск, с медынью яблоновою,—
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.

1918



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

* * *

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую до́пьяна, изомну, как цвет,
Хме́льному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари,
Есть тоска веселая в алостях зари.

1910

* * *

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» —
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

* * *

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Под соломой-ризою
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.

Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.

И вновь вернусь я в отчий дом.
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
И Русь всё так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

1916

* * *

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зёрна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж кто выдумал твой гибкий стан
и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

1916

* * *

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,

Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,
Уста — вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиренный Миколай.

Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.

И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

<1917>

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Всё любя, ничего не желать?

1918

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

Песнь о собаке

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1918 — начало 1919

Сорокоуст

А. Мариенгофу

1

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль <........>?

Полно кротостью мордищ праздниться,
Любо ль, не любо ль — знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задницы
Окровавленный веник зари.

Скоро морозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню,

Водит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх.
И дворовый молчальник бык,
Что весь мозг свой на телок пролил,
Вытирая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом
Так плачет жалостно гармоника:
Таля-ля-ля, тили-ли-гом
Висит над белым подоконником.
И желтый ветер осенницы
Не потому ль, синь рябью тронув,
Как будто бы с коней скребницей,
Очесывает листья с кленов.
Идет, идет он, страшный вестник,
Пятой громоздкой чащи ломит.
И всё сильней тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

3

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысчи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

4

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,—
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Август 1920

Исповедь хулигана

Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам,

Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,
Что где-то у меня живут отец и мать,
Которым наплевать на все мои стихи,
Которым дорог я, как поле и как плоть,
Как дождик, что весной взрыхляет зеленя.

Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога и болотных недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,
Когда босые ноги он в лужах осенних макал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,
Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Я нежно болен вспоминаньем детства,
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки погреться
Присел наш клен перед костром зари.
О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Всё тот же он теперь, с верхушкою зеленой?
По-прежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,
Верный пегий пес?!
От старости ты стал визглив и слеп
И бродишь по двору, влача обвисший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где хлев.
О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погребав.

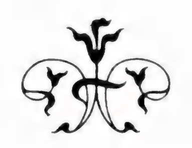
Я всё такой же.
Сердцем я всё такой же.
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Стеля стихов злаченые рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.

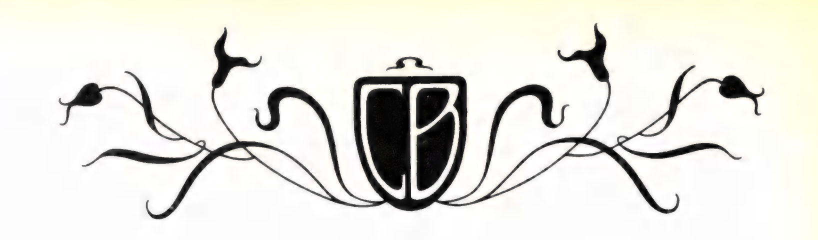
Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!
Отзвенела по траве сумерек зари коса.
Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну <........>.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пегас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?
Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

Ноябрь 1920





СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

Весна в лесу

Снег обтаял под сосною,
И тепло на мягком мху,
Рано в утренник весною
Над опушкою лесною
Гаснут звезды наверху.

Соберутся зайцы грудой
Под капелью и теплом,
Громче дятел красногрудый
Застучит в сухой и рудый
Ствол со щелью и дуплом.

И медведь с хребтом багровым
Встанет, щуряся, в лому,
По болотам, по дубровам
Побродить с тягучим ревом
И с очей согнать дрему.

Как и я уйду весною
В яр дремучий до зари
Поглядеть, как никнет хвоя,
Как в истоме клохчут сои
И кружатся глухари.

Как гуляет перед бором
Чудный странничек в кустах:
В золотых кудрях с пробором,
В нарукавнице с узором,
Со свирелкой на устах...

<1913>

Подпасок

Над полем туманит, туманит,
В тумане мигает грудок,
А за лесом гаснет и манит
Меж туч заревой городок.

Сегодня я в поле ночую,
Лежу, притаясь за скирдой,—
Вон в высь голубую, ночную
Катится звезда за звездой...

И нехотя месяц всплывает
Над ширью покосов и нив,
И ряски свои одевают
Ряды придорожные ив...

И кто-то под голос волынки
Незримо поет в вышине,
И никнет былинка к былинке,
И грустно от песенки мне.

И то ли играет подпасок,
Поет ли волынка сама —
Ах, беден на нем опоясок
И сбоку убога сума!..

Но в полночь, когда он на кочке
Сидит в голове табуна,
В кафтан с золотой оторочкой
Его наряжает луна...

А в сумку, пропахшую хлебом,
Волшебную дудку кладет,—
И тихо под песенку небом
За облаком облак плывет...

Плывет он и смотрит с опаской,
Что скоро потухнет грудок,—
Замолкнет волынка подпаска,
Зальется фабричный гудок.

<1918>

* * *

Сегодня у нас на деревне
Дерутся, ругаются, пьют —
Не слышно, как птицы царевне
В лесу деревенском поют.

А в роще Дубравна гуляет
И в лад им поет на ходу.
И тихо заря догорает
В далеком, небесном саду.

Не видит никто и не слышит,
Что шепчет в тумане ковыль,
Как лес головою колышет
И сказкой становится быль...

Сидят и грустят о старинке,
Угрюмо глядят старики,
Как по полю, словно ширинки,
Туманы постлались с реки...

И часто они отирают
Очей устаревших слюду,
И тихо заря догорает
В далеком, небесном саду...

И, может, что было недавно —
Давно только песни и сны
И синие очи Дубравны
Слились с синевою весны.

<1918>

Гость чудесный

Свет вечерний мерцает вдоль улиц,
Словно призрак, в тумане плетень,
Над дорогою ивы согнулись,
И крадется от облака тень.

Уж померкли за сумраком хвои,
И сижу я у крайней избы,
Где на зори окно локовое
И крылечко из тонкой резьбы.

А в окно, может, горе глядится,
И хозяйка тут — злая судьба,
Уж слетают узорные птицы,
Уж спадает с застрехи резьба.

Может быть, здесь в последней надежде
Все ж, трудясь и страдая, живут,
И лампада пылает, как прежде,
И все гостя чудесного ждут.

Вон сбежали с огорка овины,
Вон согнулся над речкою мост —
И так сказочен свист соловьиный!
И так тих деревенский погост!

Всё он видится старой старухе
За туманом нельющихся слез,
Ждет и ждет, хоть недобрые слухи
Ветер к окнам с чужбины принес.

Будто вот полосой некошеной
Он идет с золотою косой
И пред ним рожь, и жито, и пшёны
Серебристою брызжут росой!

И, как сторож, всю ночь стороною
Ходит месяц и смотрит во мглу,
И в закуте соха с бороною
Тоже грезят — сияют в углу.

<1918>

Масленица

На поляне, на поляне
Вкруг костра веселый крик,
На костре худые сани,
В санях парень и старик...
Старина сидит на плахе,
Занесла его метель,
Парень в вышитой рубахе,
И свирель в руке, и хмель...
Старый трубит в рог коровий,
Сыпят искры с армяка,
А у парня круты брови,
В кольцах белая рука...
Песни, пляска на поляне,
Старый, старый трубит в рог!
Ярый змей пополз под сани
И в костре, свернувшись, лег...
Машет шапкой запевало,
И сама поет свирель,
А вокруг рубахи алой
Обвился огневый хмель...
Старый обнял молодого,
И сгорел костер дотла...
Ночью искры на дорогу
Рассыпались у села.
Ночью ясной, ночью ясной
Обвивал сырой пенек
Огонек, как пояс красный,
Тлел, как уголь, перстенек...

<1919>

Лада у окна

Мокрый снег поутру выпал,
Каплет с крыши у окна,
На оконницу насыпал
Дед поутру толокна...
Толокно объяло пламя,
Толокно петух клюет,
И в окно стучит крылами,
И, нахохлившись, поет.
Ленту алую вплетая,
Села Лада у окна:

— Здравствуй, тучка золотая,
Солнце-странничек, весна!.. —
Светит перстень на оконце:
За окном бегут ручьи,
Высоко гуляет солнце,
Кружат стаями грачи...
Далеко ж в дали веселой,
Словно вешние стада,
Разбеглись деревни, села
И большие города!..
А оконце всё в узоре:
За туманной пеленой,
Словно сон, синеет море,
А за морем край земной...

<1919>

Лада купается

Над серебряной рекой
На златом песочке...

Песня

Лада плавает в затоне,
В очарованной тиши...
Над рекой рыбачьи тони
И стеною камыши...
И в затоне, как в сулée,
Словно в чаше средь полей,
Лада краше, веселее,
Веселее и белей...
В речку Лада окунулась,
Поглядела в синеву,
Что-то вспомнилось — взгрустнулось,
Что не сбылось наяву...
Будто камушки бросая,
Лада смотрится в реку,
И скользит нога босая
Снова в реку по песку...
Лада к ивушке присела,
И над нею меж ветвей
Зыбь туманная висела,
Пел печально соловей...
И волна с волной шепталась,
И катились жемчуга,

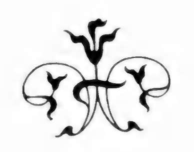
Где зарей она купалась,
По-за краю бочага.
А вокруг нея русалки,
Встав туманами из вод,
По кустам играли в салки
И водили хоровод...

<1919>

* * *

Люблю тебя я, сумрак предосенний,
Закатных вечеров торжественный разлив,
Играет ветерок, и тих и сиротлив,
Листвою прибережных ив,
И облака гуськом бегут, как в сновиденье;
Редеет лес, и льются на дорогу
Серебряные колокольчики синиц:
То осень старый бор обходит вдоль границ,
И лики темные с божниц
Глядят в углу задумчиво и строго.
Вкушает мир покой и увяданье,
И в сердце у меня такой же тихий свет:
Не ты ль, златая быль благоуханных лет,
Не ты ль, завороженный след
Давно в душе угасшего страданья?

<1923>



ПЕТР ОРЕШИН

Думка

Наши песни недопеты,
Пляски недоплясаны.
Мы разуты и раздеты,
Лыком опоясаны.

Я засеял бы полоску,
Руки не отрублены.
Мы земли родной отброски,
Мы навек загублены.

Я узнал бы все науки,
Присказки мудреные.
Мы сидим, сложивши руки,
Счастьем обойденные.

Я покрыл бы наши хаты
Жестью либо золотом.
Сшил бы я чепан богатый,
Бросил бы распоротый.

Мы ли солнышком согреты,
Шелком опоясаны?
Наши песни недопеты,
Пляски недоплясаны.

1913

Ждут

Неподвижны хижины
С выбитыми окнами.
Обнялись обиженно
Бревнами поблеклыми.

Ждут они под горкою
Парня кудреватого,
Стеньку, птицу зорькую,
С Волги из Саратова.

Он придет негаданно
С молодцами красными,
Пустит в небо ладаном
Думы ежечасные.

И с детьми и женами
Вольницу разбойную
Встретим мы поклонами,
Лаской достойною.

Ночкой темно-синею
Будет пир с подарками.
Чокнемся с дружиною
Золотыми чарками.

Будут песни молотом,
Думы — наковальнями.
Зори вспыхнут золотом
Над полями дальними.

Будет пир-веселие,
Загудим ватагою.
И запьем похмелие
Белопенной брагою.

Будем все богатыми,
Будем все счастливыми,
С теремами-хатами,
С женами красивыми.

1914

Думы мои

Красные зори обняли темную землю.
Русь подняла миру свой солнечный стяг.
Крику набата сердцем надорванным внемлю,
Бедный народ бос и по-прежнему наг.

Бедность сокрыта в каждой сермяжной заплате,
Бедностью пахарь, как брагой осеннею, пьян.
Шмыгают полем те же разбитые лапти,
Валится с плеч молодецких дерюжный кафтан.

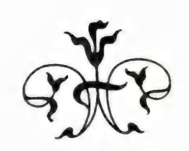
Тощие земли в поле измызганы плугом,
Чахлое поле, и слезы блестят в бороде.
Пьяные тени бродят по дымным лачугам,
В избах худых сладко живется нужде.

Стонет за речкой колокол голосом ржавым,
Тень мужика выросла грозно во мгле.
— Суд беспощадный наглым царевым оравам,
Грабившим нас долго на бедной земле!

Темные избы пламенем алым объяты,
Жаркая степь запахом сена пьяна.
Где-то с надсадом песню горланят солдаты,
Где-то опять душно хохочет война.

В поле несжатом звезды разбросаны всюду.
Клонится рожь в окна родного села.
В поле Россия мощно голодному люду —
Миру всему! — огненный стяг подняла.

1917



ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Кларнет и рожок

Однажды летом
У речки, за селом, на мягком бережку
Случилось встретиться пастушьему рожку
С кларнетом.
«Здорово!» — пропищал кларнет.
«Здорово, брат,— рожок в ответ,—
Здорово!
Как вижу, ты из городских...
Да не пойму: из бар аль из каких?»
«Вот это ново,—
Обиделся кларнет.— Глаза вперед протри
Да лучше посмотри,
Чем задавать вопрос мне неуместный.
Кларнет я, музыкант известный.
Хоть, правда, голос мой с твоим немного схож,
Но я за свой талант в места какие вхож?!
Сказать вам, мужикам, и то войдете в страх вы.

А всё скажу, не утаю.
Под музыку мою
Танцуют, батенька, порой князья и графы!
Вот ты свою игру с моей теперь сравни:
Ведь под твою — быки с коровами одни
Хвостами машут».
«То так,— сказал рожок,— нам графы не сродни;
Одначе, помяни:
Когда-нибудь они
Под музыку и под мою запляшут!»

1912

Проводы

Красноармейская песня

Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.

Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты.

Мать, страдая по тебе,
Поседела.
Эвон в поле и в избе
Сколько дела!

Как дела теперь пошли:
Любо-мило!

Сколько сразу нам земли
Привалило!

Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.

С молодой бы жил женой,
Не ленился!»
Тут я матери родной
Поклонился.

Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне
Ради бога.

Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?

Всё пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь от нас назад
Землю, волю;

Сел бы барин на земле
Злым Малютой.
Мы б завыли в кабале
Самой лютой.

А иду я не на пляс,
На пирушку,
Покидаючи на вас
Мать-старушку:

С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом,

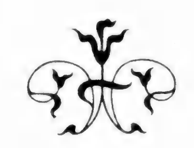
Что с попом, что с кулаком —
Вся беседа:

В брюхо толстое штыком
Мироеда!

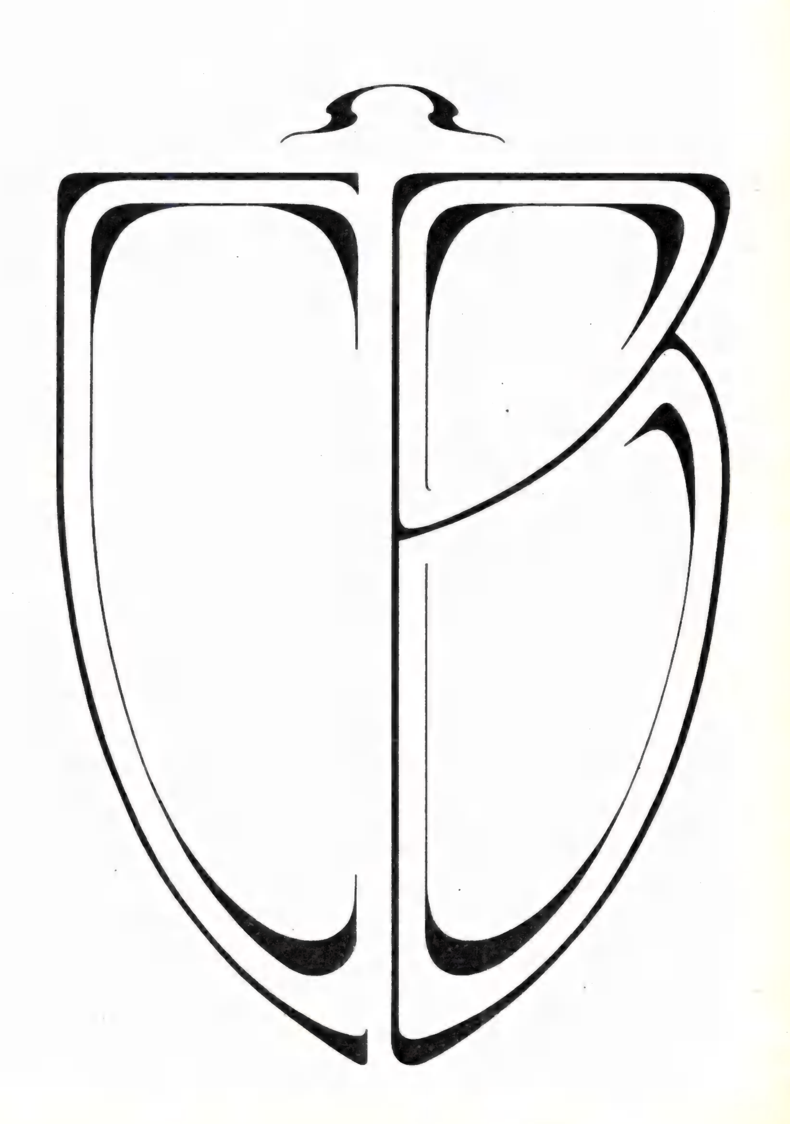
Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою, —

Не кровавый, пьяный рай
Мироедский, —
Русь родная, вольный край,
Край советский!»

Свияжск 1918



Вне литературных школ



Дмитрий Цензор

Алексей Толстой

Тэффи

Владислав Ходасевич

Алексей Лозина-Лозинский

Николай Агнивцев

Николай Рерих

Лариса Рейснер

Владимир Набоков

Анна Радлова

Мария Шкапская

Рюрик Ивнев

Татьяна Ефименко

ДМИТРИЙ ЦЕНЗОР

Старый город

Безумный старый гробовщик!
Копаешь ты свои могилы,
И жизнь, и молодость, и силы,
Глумясь, хоронишь каждый миг.

Среди твоих гниющих стен
Палач, предатель наготове.
Ты весь пропитан смрадом крови,
Ты западня и душный плен.

Ты весь незримо населен
Тенями скорби и страданья.
Твои насупленные зданья
Таят рыданья всех времен.

Людей коварно ты зовешь
В свои порочные трущобы
И, преисполнен чахлой злобы,
Из их сердец невинность пьешь.

И дряхлый кашель мостовых,
И хриплый вой голодной голи,
И крик мольбы, и страх неволи
На тесных улицах твоих.

О, будь же проклят, злой паук,
Соткавший гибельные сети!
О, проклят будь за стоны эти
Бесплодных жертв, ненужных мук!

Но в тягостном плену твоем
Таится буря возмущенья.
Мы произносим клятву мщенья,
Оружье верное куем.

И всех, кто был тобою смят,
Поднимет буйное восстанье.
И час возмездия настанет
Среди пылающих громад.

1906

Петербургские сумерки

Сегодня звуки и движенья
Заворожил упавший снег,
И нежностью изнеможенья
Овеян уличный разбег.

Беззвучно движутся трамваи,
Шипя на мерзлых проводах.
Скользят полозья, развевая
На поворотах снежный прах.

Деревья, выступы, решетки
Светло одеты в белый пух.
Весь город стал такой нечеткий,
Притих, задумался, потух.

И ждет, когда над ним сомкнется
Вечерний сумрак не спеша.
И с этим сумраком сольется
Его холодная душа.

На площадях, во мгле простертых,
Пока не вспыхнул рой огней,
Встают забытые когорты
Неуспокоенных теней.

1911

Рассвет

О зори северного лета!
О набережная Невы!
Как часто в сумерках рассвета
Моей тоске внимали вы.

Опять, мечтателен и молод,
У нелюдимых берегов
Вдыхаю я ваш ранний холод,
И четок звук моих шагов.

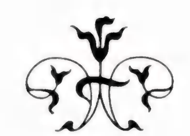
Все эти пристани и сходни,
Весь этот смутный кругозор
Так неожиданно сегодня
Впервые поражают взор.

Среди дворцов и старых зданий
Екатерининских времен
Невнятным веяньем преданий
Прозрачный воздух напоен.

Бесплотным, призрачным, неверным
Я становлюсь, как все кругом.
Душа томится эфемерным,
Неощутимым бытием.

Брожу и трогаю рукою
Прохладный невский парапет,
И жизнь мне кажется такою,
Какой была за двести лет.

1915



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Лель

Опенками полно лукошко,
А масленик некуда деть;
На камне червивом морошка
Раскинула тонкую сеть.
И мох, голубой и пахучий,
Окутал поваленный пень;
Летают по хвое горючей
Кружками и светы и тень.
Шумят, вековечные, важно
И пихты, и сосны, и ель...
А в небе лазоревом бражно,
Хмельной, поднимается Лель.
Вином одурманены пчелы
В сырое дупло полегли.
И стрел его сладки уколы
В горячие груди земли.

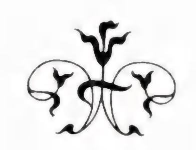
Семик

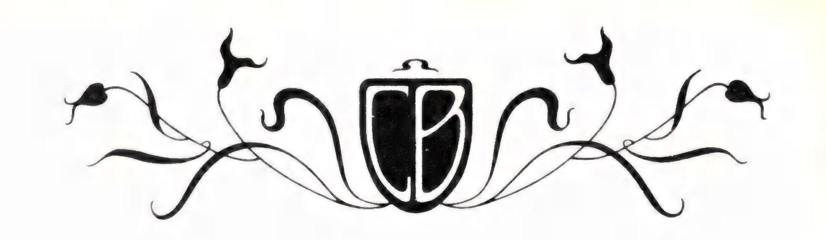
Ох, кукуется кукушке во лесу!
Заплетите мне тяжелую косу;
Свейте, девушки, веночек невелик —
Ожила береза-древо на Семик.
Ох, Семик, Семик, ты выгнал из бучил,
Водяниц с водою чистой разлучил,
И укрыл их во березовый венец.
Мы навесим много серег и колец;
Водяницы, молодицы,
Белы птицы,
Погадайте по венку,
Что бросаем на реку.
По воде венок плывет,
Парень сокола зовет,
Принести велит венок
В златоверхий теремок.
Ой, родненьки!
Ой, красные!
Ой, страшно мне,
Молоденькой.

Скоморохи

Из болот да лесов мы идем,
Озираемся, песни поем;
Нехорошие песни — бирючьи,
Будто осенью мокрые сучья
Раскачала и плачется ель,
В гололедицу свищет метель,
Воет пес на забытом кургане,
Да чернеется яма в бурьяне,
Будто сына зарезала мать...
Мы не свадьбу идем пировать:
Пированье — браги нет,
Целованье — бабы нет,
И без песен пиво — квас,
Принимай хозяин нас.
Хозяину, хозяюшке — слава;
Невесте да молодцу — слава!
Всем бородам поклон да слава!
А нам, дуракам, у порога сидеть,
В бубенцы звенеть да песни петь,

Песни петь, на гуслях играть,
Под гуслярный звон весело́ плясать...
Разговаривай звончее бубенцы!
Ходу, ходу, руки, ноги,— лапотцы...
Напоил, хозяин, допьяна вином,
Так покажь, где до рассвета отдохнем;
Да скажи-ка, где лежит твоя казна,
Чтоб ошибкою не взять ее со сна;
Да укажь-ка, где точило мы найдем —
Поточить ножи булатные на нем:
Нож булатный скажет сказку веселей...
Проливай-ка брагу красную полней...
Скоморохи, скоморохи, удальцы!
Стоном стонут скоморошьи бубенцы!





ТЭФФИ

Семь огней

Я зажгу свою свечу!
Дрогнут тени подземелья,
Вспыхнут звенья ожерелья, —
Рады зыбкому лучу.
И проснутся семь огней,
Заколдованных камней!
Рдеет радостный Рубин:
Тайны темных утолений,
Без любви, без единений
Открывает он один...
Ты, Рубин, гори, гори!
Двери тайны отвори!
Пышет искрами Топаз.
Пламя грешное раздует,
Защекочет, заколдует
Злой ведун, звериный глаз...
Ты, Топаз, молчи, молчи!
Лей горячие лучи!

Тихо светит Аметист,
Бледных девственниц услада,
Мудрых схимников лампада,
Счастье тех, кто сердцем чист...
      Аметист, свети! Свети!
      Озаряй мои пути!
И бледнеет, и горит,
Теша ум игрой запретной,
Обольстит двуцвет заветный,
Лживый сон — Александрит...
      Ты, двуцвет, играй! Играй!
      Все познай — и грех, и рай!
Васильком цветет Сафир,
Сказка фей, глазок павлиний,
Смех лазурный, ясный, синий,
Незабвенный, милый мир...
      Ты, Сафир, цвети! Цвети!
      Дай мне прежнее найти!
Меркнет, манит Изумруд:
Сладок яд зеленой чаши,
Глубже счастья, жизни краше
Сон, в котором сны замрут...
      Изумруд! Мани! Мани!
      Вечной ложью обмани!
Светит благостный Алмаз,
Свет Христов во тьме библейской,
Чудо Каны Галилейской,
Некрушимый Адамас...
      Светоч вечного веселья,
      Он смыкает ожерелье!

Снег

О, как я жду тебя! Как долго, долго жду я!..
Затихло всё... Должно быть, близок ты...
Я ветер позвала. Дыханьем смерти дуя,
Он солнце погасил и, злясь и негодуя,
Прогнал докучных птиц и оборвал цветы.

О, дай мне грез твоих бестрепетных и чистых!
Пусть будет сон мой сладок и глубок...
Над цепью туч тоскующих и мглистых
Небесных ландышей воздушных и пушистых
Ты разорви серебряный венок!

Как белых бабочек летающая стая,
Коснешься ты ресниц опущенных моих...
Закинув голову, отдам тебе уста я,
Чтоб, тая, мог ты умереть на них!

Бедный Азра

Каждый день чрез мост Ани́чков,
Поперек реки Фонтанки,
Шагом медленным проходит
Дева, служащая в банке.

Каждый день на том же месте,
На углу, у лавки книжной,
Чей-то взор она встречает —
Взор горящий и недвижный.

Деве томно, деве странно,
Деве сладостно сугубо:
Снится ей его фигура
И гороховая шуба.

А весной, когда пробилась
В скверах зелень первой травки,
Дева вдруг остановилась
На углу, у книжной лавки.

«Кто ты? — молвила. — Откройся!
Хочешь — я запламенею,
И мы вместе по закону
Предадимся Гименею?»

Отвечал он: «Недосуг мне.
Я агент. Служу в охранке
И поставлен от начальства,
Чтоб дежурить на Фонтанке».

<1911>

Подсолнечник

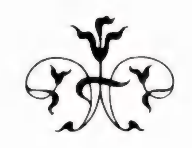
Когда Оно ушло и не вернулось днем,
Прекрасное жестокое светило,

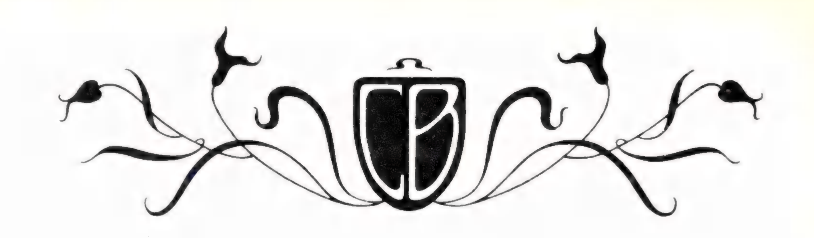
Не думая о нем, я в садике моем
Подсолнечник цветущий посадила.

Свети! Свети! — сказала я ему,
Ты солнышко мое, твоим лучом согрета,
Вновь зацветет во мне ушедшая во тьму
Душа свободного и гордого поэта.

Мы нищие. Для нас ли будет день!
Мы гордые. Для нас ли упованья!
И если черная над нами встала тень,
Мы смехом заглушим свои стенанья.

<1915>





ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

* * *

Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно всё:
И материнство горькое свое,
И просто всё, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастье
песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная жива еще отрада,
Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.

12 февраля 1917, 2 марта 1922

День

Горячий ветер, злой и лживый.
Дыханье пыльной духоты.
К чему, душа, твои порывы?
Куда еще стремишься ты?

Здесь хорошо. Вкушает лира
Свой усыпительный покой
Во влажном сладострастье мира,
В ленивой прелести земной.

Здесь хорошо. Грозы раскаты
Над ясной улицей ворчат,
Идут под музыку солдаты,
И бесы юркие кишат:

Там разноцветные афиши
Спешат расклеить по стенам,
Там скатываются по крыше
И падают к людским ногам.

Тот ловит мух, другой танцует,
А этот, с мордочкой тупой,
Бесстыжим всадником гарцует
На бедрах ведьмы молодой...

И верно, долго не прервется
Блистательная кутерьма,
И с грохотом не распадется
Темно-лазурная тюрьма,

И солнце не устанет парить,
И поп, деньку такому рад,
Не догадается ударить
Над этим городом в набат.

Весна 1920, Москва
14—28 мая 1921, Петроград

* * *

Пускай минувшего не жаль,
Пускай грядущего не надо —
Смотрю с язвительной отрадой
Времен в приближенную даль.
Всем равный жребий, вровень хлеба
Отмерит справедливый век.
А все-таки порой на небо
Посмотрит смирный человек,—
И одиночество взыграет,
И душу гордость окрылит:
Он неравенство оценит
И дерзновенья пожелает...
Так чинче травка прорастает
Сквозь трещины гранитных плит.

Лето 1920, 22 апреля 1921

Душа

Душа моя — как полная луна:
Холодная и ясная она.

На высоте горит себе, горит —
И слез моих она не осушит;

И от беды моей не больно ей,
И ей невнятен стон моих страстей;

А сколько здесь мне довелось страдать —
Душе сияющей не стоит знать.

4 января 1921

* * *

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

8—29 июня 1921

Буря

Буря! Ты армады гонишь
По разгневанным водам,
Тучи вьешь и мачты клонишь,
Прах подъемлешь к небесам.

Реки вспять ты обращаешь,
На скалы бросаешь понт,

У старушки вырываешь
Ветхий, вывернутый зонт.

Вековые рощи косишь,
Градом бьешь посев полей, —
Только мудрым не приносишь
Ни веселий, ни скорбей.

Мудрый подойдет к окошку,
Поглядит, как бьет гроза, —
И смыкает понемножку
Пресыщённые глаза.

13 июня 1921

Искушение

«Довольно! Красоты не надо.
Не стоит песен подлый мир.
Померкни, Тассова лампада,
Забудься, друг веков, Омир!

И Революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать.

Вотще на площади пророчит
Гармонии голодный сын:
Благих вестей его не хочет
Благополучный гражданин.

Самодовольный и счастливый,
Под грудой выцветших знамен,
Коросту хамства и наживы
Себе начесывает он:

«Прочь, не мешай мне, я торгую.
Но не буржуй, но не кулак,
Я прячу выручку дневную
Свободы в огненный колпак».

Душа! Тебе до боли тесно
Здесь, в опозоренной груди.

Ищи отрады поднебесной,
А вниз, на землю, не гляди».

Так искушает сердце злое
Психеи чистые мечты.
Психея же в ответ: «Земное,
Что о небесном знаешь ты?»

4 июня —9 июля 1921

* * *

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

Весна 1921, 11 января 1922

Сумерки

Снег навалил. Всё затихает, глохнет.
Пустынный тянется вдоль переулка дом.
Вот человек идет. Пырнуть его ножом —
К забору прислонится и не охнет.
Потом опустится и ляжет вниз лицом.
И ветерка дыханье снеговое,
И вечера чуть уловимый дым —
Предвестники прекрасного покоя —
Свободно так закружатся над ним.
А люди черными сбегутся муравьями
Из улиц, со дворов и станут между нами.
И будут спрашивать, за что и как убил,—
И не поймет никто, как я его любил.

5 ноября 1921

Элегия

Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни услад.

Глядит бесстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.

Там всё огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.

И не понять мне бедным слухом
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком.

20—22 ноября 1921

Баллада

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещенные тоже,
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу — и в смущенье не знаю,
Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытьи.

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвиё.

Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звезды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи, —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает — Орфей.

9—22 декабря 1921

АЛЕКСЕЙ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ

Приговоренные

Мы — в лазоревой капле простора
Вековечных таинственных сил;
Им не надо молитв, ни укора,
Ни названий им нет, ни мерил.

И, сознав это, в странном испуге,
Мы лишь жить, только жить мы хотим;
Мы несемся в неведомом круге,
Мы спешим, мы спешим, мы спешим...

Мы спешим и жестоки, и немы:
Жизнь как миг, а за жизнью лишь тьма;
Смертный приговор слышали все мы,
И земля эта — наша тюрьма.

Недоступно нам гордое небо,
Ждем мы казни в норах, как кроты,
А до казни нам кинули хлеба,
Два аршина тюрьмы и мечты.

И, друг друга грызя, хочет каждый
Взять побольше, жить в ярком огне,
Распаленный и страхом, и жаждой,
Женщин требует!.. Девушку! Мне!

Тот живет среди женщин в дурмане,
Тот считает минуты свои,
Тот застыл в равнодушной нирване...
Всех страшней, кто в уюте семьи.

Всех страшней, кто старательно моет,
Чистит, любит свой угол тюрьмы...
Это — жизни. И смерть их покроет.
Ложь, и трусость, и злость. Это — мы.

И, не зная любви и возмездий,
Ритм бьют Космоса-Бога часы,
Создавая из жизни созвездий
Чары нам недоступной красы.

<1912>

* * *

Уже рассвет. Какая тишь...
Да, за окном уж ночь поблекла...
И видны массы мокрых крыш
Сквозь затуманенные стекла.

Один. Не скрипнет сзади дверь,
Я не услышу шорох платья...
Один... А где она теперь?
Кто дарит ей свои объятья?

Иль вновь хандрит? Что ж, может быть...
Она всегда ведь цель искала,
Ждала ответ — чем жить, как жить...
Нашла иль нет? Искать устала?

Быть может, кто-нибудь сказал,
Ей разгадал загадку злую...
Но я... Я никогда не знал,
Зачем еще я существую.

Шепни ж, рассвет, шепни же ей,
Капризной, слабой ханше,
Что я в тоске, я жду когтей,
Всего когтей, как раньше.

<1912>

* * *

Я, замкнутый в квадрат со скучными углами,
Под белой простыней, как длинный, потный труп
С уставленными в мрак незрящими глазами,
Когда тяжелый мозг надменен, прям и туп,
Как древний фараон священными ночами,

Я взвешиваю мир. Сходя с ума, в постели,
Я чую сладостно, как в мраке и тиши
Мышленья мерные и черные качели,
Как виселица в тьме, качают Божьи цели
И ужас вскрикнувшей и смолкнувшей души.

И знаю я тогда, холодный и бескрайний,
Что всё, что строим мы, мы строим на песке,
Что обладание действительное Тайной
Обязывает нас дрожать в дыре случайной
С кривой улыбкою на восковом лице.

<1915>

* * *

Когда я буду стар, я буду, как гравер,
Язвительный, печальный, но довольный...
Кладущий медленно на хаос и простор
Едва начерченный, но правильный узор,
Легко стираемый, ненужный, произвольный...

И будет контуров необычайно много!
Рисунки душ, эпох, и местностей, и Бога,
Все выползут из тьмы, медлительны, страшны,
Как утонченные, уродливые сны,
Как те чудовища, что населять должны
Кошмар геолога иль палеонтолога.

И будут знать они, творимые кошмары,
Что в мой последний час, я — деревянно-старый,
Я не почую рук мне самых дорогих,
Что формы дальнего затмят моих родных
И, глядя в призраки, я выпью снова чары
Несуществующих, холодных и пустых...
<1915>

* * *

Assai palpitasti...

Leopardi

Когда закончит дух последнюю эклогу,
И Marche funebre, дрожа, порвет последний звук,
И улетит с чела тепло ласкавших рук —
Прах отойдет к земле, а дух вернется к Богу.
И смысл всей жизни, Всей, откроется мне вдруг...
И нищим я пойду к далекому чертогу.

Средь белых колоннад там будут так легко
Бродить задумчиво сияющие тени,
Как самый нежный грех, упавший на колени...
Там будут сонмы жен с запавшим глубоко
В лазоревых глазах познанием всего,
И к Богу поведут прекрасные ступени.

И я туда войду, кривляясь беспокойно,
Сдирая струпья с ран, как Диоген в пыли,
Что в жертву вшей принес когда-то недостойно,
И вот пред Богом храм раздвинется спокойно,
Неизъяснимое представится вдали,
И тихо скажет Бог: «Кто ты, пришлец Земли?»

— Твой верный Арлекин, великий Господине,
Жонглер и мученик, который не в пустыне,
А на асфальте жил, но бичевал себя;
Который вечно лгал, всё портя, всё губя,
Смеялся над Тобой и плакал так, как ныне,
Что он всю жизнь любил на свете лишь Тебя!

<1915>

* * *

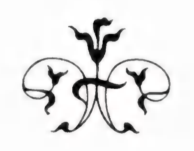
Иду один, смеясь, в прозрачных перелесках,
С моим веселым псом серьезно говоря,
По разноцветности немого сентября,
Среди больных тонов, то блекнущих, то резких...
Меж облаков лежат лазоревые блески,
Как окна терема подводного царя.

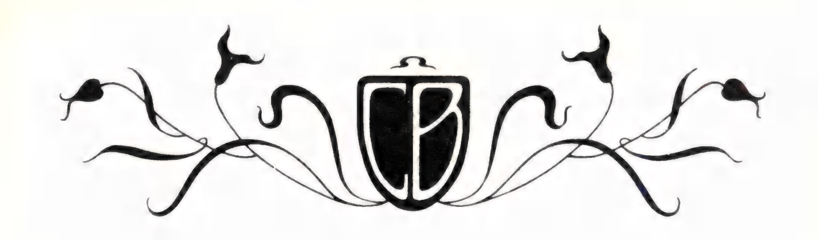
И путь мой без конца. Но как кому, а мне так
Ужасно нравится идти средь мхов и веток...
Здесь жили Кривичи, а также Чудь и Мерь;
В лосиной шкуре здесь мой самый древний предок,
Шепча заклятия и радуясь, как зверь,
Блуждал и слушал лес вот так, как я теперь.

Я — вольный музыкант. За мной бежит в извивах
Тот самый хвойный лес, зазубренная нить,
Где должен серый волк народных сказок жить...
Да, есть значительность в осенних переливах.
А я? Я чужд всему. Я полон слов красивых.
Вот вересковый холм. Взойти мне, может быть?

С холма видна вся даль, лесистая бескрайность,
Где клинья желтые врезаются берез.
Простор, простор, простор и все необычайность...
Зачем живет лишай? Зачем живет мой пес?
Во мне лишь больше лжи и больше слов и слез,
Но ведь мы все живем, как нам велит случайность...

1916





НИКОЛАЙ АГНИВЦЕВ

Май

Май веселый пришел,
Звонко песню завел,
И тотчас, вслед за этою песней,
Распустилась листва,
Появилась трава,
Стали дамы — вдвойне интересней!

В паровозных свистках
И в трамвайных звонках,
Даже в рявканье автомобилей
Слышен томный рассказ:
«Об огне чьих-то глаз,
О печали каких-то там лилий».

Там и тут, тут и там
Баррикады из дам!
Не пройти мимо них невредимым!
Взгляд... улыбка... Но — вот,
Баста! Дальше! Вперед!
Сердце женщины вьется налимом!..

Май, Весна, благодать!
— Как же тут не вздыхать,
Если дни так безбожно-лучисты?!.
И вздыхают «эс-дэ»,
И вздыхают «ка-дэ»,
И поют о любви октябристы!

⟨1913⟩

Завет

Будь высоким,
Краснощеким,
Крепкогрудым, зоркооким,
Как твой предок — зверолов!
К черту — хилых
И унылых!
В яму дряблых слизняков!

Пусть скопцы брюзжат сурово:
«О тщете всего земного»,
И клянутся сединой,
Что «в могиле лишь одной
Нам дано отдохновенье»,
Что, мол, «жизнь — одно лишенье,
Искушенье, слезы, мука,
Позолоченный хомут!!!!»
— Эка штука?
— Врут!

Посмотри: на небе — солнце,
На земле — девичий смех!
Светит смех! Смеется солнце!
— Эх,
В хороводы! В хороводы!
Гей, веселая орда!
Грусть на крюк! В карман невзгоды!
В хороводы! В хороводы!
Гей, сюда!

Пусть вон тот юнец с пробором
До седьмого позвонка
Смотрит кислым резонером...
— В речку дохлого щенка!

Пусть вон та седая дама,
Современница Адама, —
Нам грозит дрожащим пальцем
И, воззвав ко всем страдальцам,
    Выражая гнев и грусть,
    Норовит в слезах истечь!

    — Ну и — пусть!
    — Пренебречь!

    — Эй, не кисни!
    В этой жизни —
Смех — надежнейший вожатый!!
Смех с дороги не собьется!..

— Пусть весь мир дрожит и бьется,
Словно кошкин хвост, прижатый
Ненароком меж дверьми!
Прочь унылых! в яму хилых!
    Будь — здоровым! Будь веселым!
    Будь Лукуллом полуголым!
    Будь — кентавром, черт возьми!..

...Жизнь — единственное чудо!
Как философ ни злословь, —
Есть на свете ведь покуда:
Солнце, Гейне и Любовь!

⟨1913⟩

Пьяная

Пей до дна! Не хнычь! Довольно!
Горе — антиалкогольно!
Только к трезвым льнет,
Пьяных — пальцем же не тронет!
Горе в первой рюмке тонет,
Как турецкий флот!

Пей до дна! Без счета! — Ну-ка!
Жизнь — препакостная штука!
Трезвым — страшно жить!
В этой жизни — все мы, вместе,
Вроде, как бы... мухи в тесте!
— Как же тут не пить?!

Пейте! Рюмок не считайте!
Пейте — залпом лишь! И — знайте:
«Истина — в вине!»
Если ж нет вина, то — в водке:
В бочке, в четверти иль в сотке,
Но — на самом дне!

Поумней нас люди были,
Да и те ведь проходили
Этот пьяный стаж...
— Пусть же пенятся бокалы!
Пусть — в мозгу звенят кимвалы!
Пусть — хоть час, да — наш!..

Если ж Смерть к нам постучится,
Вспомним, что она — девица!
Дама как-никак!
И предложим ей учтиво —
Выпить вместе с нами пива
И сплясать гопак!

⟨1913⟩

Странный город

Н. Г. Шебуеву

Санкт-Петербург — гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот —
Адмиралтейскою иглой!

Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов, —
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!

Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя — в граните и — в стихах!

И — майской ночью в белом дыме,
И — в завыванье зимних пург —
Ты — всех прекрасней, несравнимый,
Блистательный Санкт-Петербург!

⟨1920⟩

Санкт-Петербургские триолеты

Е. Н. Неверовой

Скажите мне, что может быть
Прекрасней Невской перспективы,
Когда огней вечерних нить
Начнет размеренно чертить
В тумане красные извивы?..
Скажите мне, что может быть
Прекрасней Невской перспективы?..

Скажите мне, что может быть
Прекрасней майской белой ночи,
Когда начнет Былое вить
Седых веков седую нить —
И возвратить столетья хочет?
Скажите мне, что может быть
Прекрасней майской белой ночи?

Скажите мне, что может быть
Прекрасней дамы Петербургской,
Когда она захочет свить
Любви изысканную нить
Рукой небрежною и узкой?
Скажите мне, что может быть
Прекрасней дамы Петербургской?

⟨1920⟩

У Александринского театра

К. А. Марджанову

Там, где Российской Клеопатры
Чугунный взор так горделив, —
Александринского театра
Чеканный высится массив.

И в ночь, когда притихший Невский
Глядит на бронзовый фронтон, —
Белеет тень Комиссаржевской
Меж исторических колонн...

Ах, Петербург, с отцовской лаской
Ты ей гордишься... Знаю я:

Была твоей последней сказкой —
Комиссаржевская твоя...

Нежнее этой сказки — нету!
Ах, Петербург, меня дивит —
Как мог придумать сказку эту
Твой размечтавшийся гранит?!
⟨1920⟩

Санкт-Петербург

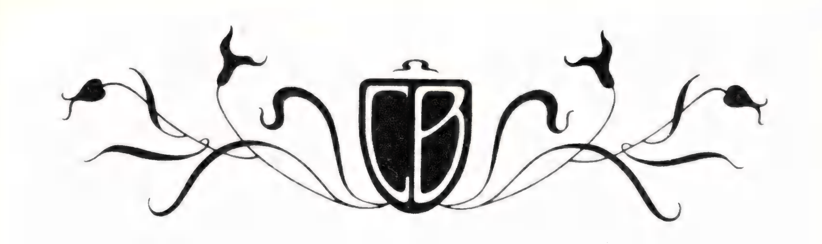
З. П.

Ах, как приятно в день весенний
Урвать часок на променад
И для галантных приключений
Зайти в веселый Летний сад.
Там, средь толпы жантильно-гибкой,
Всегда храня печальный вид, —
С разочарованной улыбкой
Поручик Лермонтов стоит...

Ах, Санкт-Петербург, всё в тебе очень странно, —
Серебряно-призрачный город туманов...
Ах, Петербург, — красавиц мушки,
Дворцы, каналы, Невский твой!
И Александр Сергеич Пушкин
У парапета над Невой!

А белой ночью, как нелепость,
Забывши день, всю ночь без сна
На Петропавловскую крепость
Глядеть из темного окна!..
И, лишь запрут в Гостином лавки,
Несутся к небу до утра
Рыданье Лизы у Канавки
И топот Медного Петра!..

Ах, Санкт-Петербург, всё в тебе очень странно, —
Серебряно-призрачный город туманов!..
Ах, Петербург, красавиц мушки,
Дворцы, каналы, Невский твой!
И Александр Сергеич Пушкин
У парапета над Невой!..
⟨1920⟩



НИКОЛАЙ РЕРИХ

В танце

Бойтесь, когда спокойное придет
в движенье. Когда посеянные ветры
обратятся в бурю. Когда речь людей
наполнится бессмысленными словами.
Страшитесь, когда в земле кладами
захоронят люди свои богатства.
Бойтесь, когда люди сочтут
сохранными сокровища только
на теле своем. Бойтесь, когда возле
соберутся толпы. Когда забудут
о знании. И с радостью разрушат
узнанное раньше. И легко исполнят
угрозы. Когда не на чем будет
записать знание ваше. Когда листы
писаний станут непрочными,
а слова злыми. Ах, соседи мои!
Вы устроились плохо. Вы всё
отменили. Никакой тайны дальше
настоящего! И с сумою несчастья

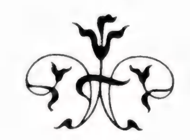
вы пошли скитаться и завоевывать
мир. Ваше безумие назвало самую
безобразную женщину — желанная!
Маленькие танцующие хитрецы!
Вы готовы утопить себя
в танце.

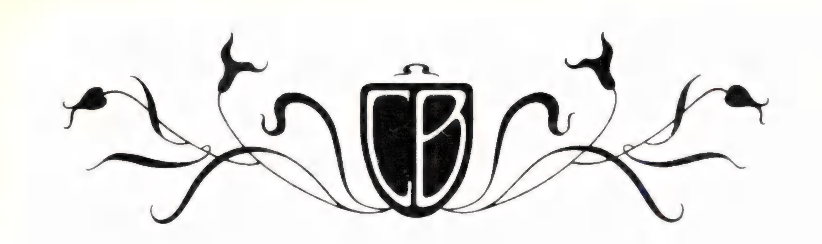
1916

Свет

Как увидим Твой лик?
Всепроникающий лик,
глубже чувств и ума.
Неощутимый, неслышный,
незримый. Призываю:
сердце, мудрость и труд.
Кто узнал то, что не знает
ни формы, ни звука, ни вкуса,
не имеет конца и начала?
В темноте, когда остановится
всё, жажда пустыни и соль
океана! Буду ждать сиянье
Твое. Перед ликом Твоим
не сияет солнце. Не сияет
луна. Ни звезды, ни пламя,
ни молнии. Не сияет радуга.
Не играет сияние севера.
Там сияет Твой лик.
Всё сияет светом его.
В темноте сверкают
крупицы Твоего сиянья.
И в моих закрытых глазах
брезжит чудесный Твой
свет.

1918





ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Эрмитаж

Сегодня, как вчера, озлобленно усталый
Я отдохнуть пришел в безлюдный Эрмитаж.
И день благословил серебряный и талый,
Покрывший пепельной неясностью порталы,
Как матовым стеклом анатолийских ваз.

В упругой грации жеманного Кановы,
В жестокой наготе классических камей,
Недвижно-радостных, мучительны и новы
Творящей красоты рельефные основы,
Мечты, почившие в безмолвии камей.

Как правильно дворца нарядные пороги
Лепного потолка усиливают гнет!
Не оживут однажды скованные боги,
И никогда пожар бичующей тревоги
Любви дарящего полета не вернет.

⟨1915⟩

Медному всаднику

...Добро, строитель чудотворный!..
— Ужо тебе!

Пушкин

Боготворимый гунн!
В порфире Мономаха
Всепобеждающего страха
Исполненный чугун!

Противиться не смею:
Опять удар хлыста,
Опять — копыта на уста
Раздавленному змею!

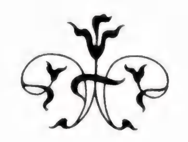
Но, восстающий раб,
Сегодня я, Сальери,
Исчислю все твои потери,
Божественный Арап.

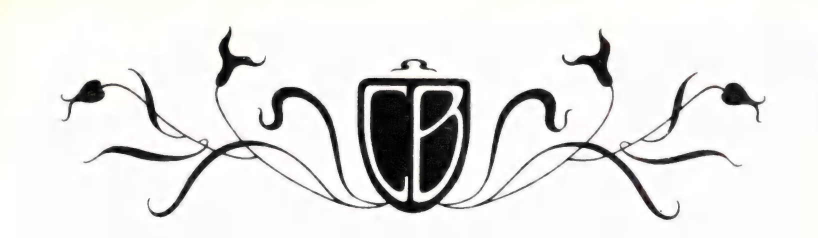
Перечитаю снова
Эпический указ,
Тебя ссылавший на Кавказ
И в дебри Кишинева:

«Прочь и назад не сметь!»
И конь восстал, неистов:
На плахе декабристов
Загрохотала медь...

Петровские граниты
Едва прикрыли торф —
И правит Бенкендорф,
Где правили хариты!

⟨1916⟩





ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Счастье

Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья,
И тонут небеса в сирени голубой,
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье...
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой.

Да, я отдам себя твоей влюбленной власти
И власти синевы, простертой надо мной...
Сомкнув со взором взор и глядя в очи страсти,
Мы сядем на скамью в акации густой.

Да, обними меня чудесными руками...
Высокая трава везде вокруг тебя
Блестит лазурными живыми мотыльками...

Акация чуть-чуть, алмазами блестя,
Щекочет мне лицо сырыми лепестками...
Глубокий поцелуй... Ты — счастье... Ты — моя...

Осеннее

То дремлют, то шумя несутся к облакам
Нагие ветви; дождик окропляет
И хлещет лужи; мой фонарик по бокам
В молочном свете липы округляет.
Дорога медленно спускается к мосту,
За ним — гора, и там над купами сирени —
Большой балкон в заброшенном саду.
Фонарь глядит сперва на мокрые ступени,
Потом скользит по стареньким колоннам
И гаснет, наконец, исполнив свой завет.
Я жду тебя, томясь в волнении влюбленном,
Зову... но плач дождя — единственный ответ.
Зову опять... Вдруг слышу шорох платья
И легкий смех и нежный голос твой;
Сомкнув тогда тебя в безумные объятья,
Слагаю поцелуй мятежный и немой...

Столице

Цепи огней желтовато-лиловых...
Алая точка, скользящая вдаль...
Волны стальные в гранитных оковах...
Звезды колеблют все ту же печаль.

Где-то смеются и где-то тоскуют;
Здесь же пустыня и тени могил;
Только безумно друг друга целуют
Облики снов у гранитных перил.

Нет... это люди. Увидеть их надо
Ближе... В их страсти я счастье найду...
. . . .
Бледные губы и тусклые взгляды...
Жутко и больно... Я тихо пройду...

* * *

Окутали город осенние боги
Своей паутиной сырой;

Гляделись фонарики в лужи дороги;
Я с праздника ехал домой.

Бездомная женщина в вымокшей шляпе
Шла мимо, шла будто во сне;
Собачка бездомная с кровью на лапе
Беспомощно жалась к стене.

Нагнулась та женщина к бедной собаке;
Дух ночи две тени сливал;
Несчастная взором терялась во мраке,
А песик ей руку лизал.

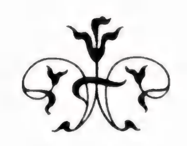
. . . .

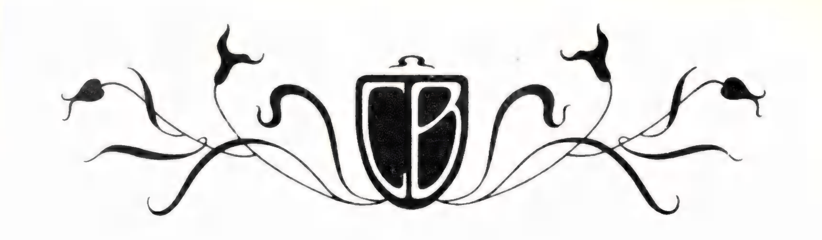
Остались уколы той встречи случайной;
Остались в душе навсегда
Какая-то горечь, какая-то тайна,
Какая-то к миру вражда...

* * *

Довольно и прости; ответа мне не надо;
Ты будешь нежно лгать, как ты всегда лгала;
Но вечно будет тлеть разбитая лампада
Всего, что ты шутя мне некогда дала.

Минувшее мое, счастливые мгновенья
Не в силах ты отнять, не в силах я забыть...
Теперь, когда не жду ни слез, ни наслажденья,
Могу взамен тебя былое полюбить...





АННА РАДЛОВА

* * *

Видишь, Дворцовая площадь
Нежной травой поросла,
Ветер в небе знамена полощет,
А на знаменах кровь или стертые слова.
Только знаю — слова и кровь
Прославляют нашу любовь,
И цветет любовь, как резной цветок,
На стальном, на искусном мече.
Если смерть нам сулил рок,
Умереть хочу у тебя на плече.

Лето 1919 г.

* * *

А. М. Ремизову

Бывают же на свете лимонные рощи,
Земля, рождающая вдоволь хлеба,

Нестерпимо теплое, фиалковое небо
И в узорчатых соборах тысячелетние,
не страшные мощи.
И гуляют там с золотыми, пустыми бу-
бенчиками в груди люди.
Господи, Ты самый справедливый из судей,
Зачем же судил Ты, чтобы наша жизнь была
так темна и так убога,
Что самая легкая из всех наших дорог, —
к Тебе дорога?
И над нами торчит, как черная крышка, небо?
А Бог отвечает: хмельнее вина,
Жарче огня, скрытней земли, глубже воды,
Утешнее сна,
Слаще, чем все земные плоды, —
Подарена вам любовь,
Теплая и соленая, как кровь.

Осень 1919

* * *

Под знаком Стрельца, огненной медью
Расцветал единый Октябрь.
Вышел огромный корабль
И тенью покрыл столетья.
Стало игрушкой взятие Бастилии,
Рим, твои державные камни — пылью.
В жилах победителей волчья кровь,
С молоком волчицы всосали волчью любовь.
И в России моей, окровавленной, победной
или пленной,
Бьется трепетное сердце вселенной.

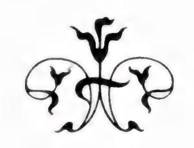
Весна 1920

* * *

Город как заколоченный дом,
Небо в клочьях, и ветер кругом
Воет, веет, летит, летит,
Забытая ставня от ветра стучит.
То не город, не дом, а корабль,
Гиблый ветер, смертельный Сентябрь.

То тоска твоя разлилась рекой,
Граниту не справиться с этой тоской.
Сердца гулкого твоего нестерпимый звон —
Небывалый поет циклон.
Желтый смерч листовой кружит, кружит,
Рваным шелком шуршит, шелестит,
На приступ идет вода и земля,
Не спасти, не спасти корабля.
И улыбается нежный рот —
Слышишь, гибель на борт идет.

Октябрь 1921



МАРИЯ ШКАПСКАЯ

* * *

Боже мой, и присно, и ныне,
В наши кровью полные дни,
Чаще помни о Скорбном Сыне
И каждую мать храни.

Пусть того, кто свой шаг неловкий
К первой к ней направлять привык,
Между двух столбов на веревке
Не увидит ужасный лик.

Пусть того, что в крови родила,
Не увидит в чужой крови.
Если ж надо так, Боже милый,
Ты до срока ее отзови.

* * *

Я люблю мою темную землю.

Сологуб

Земля моя, от Чили до Бретани
И от Плеяд до Южного Креста,
О, древняя, твоих живых касаний
Повсюду ждут иссохшие уста.

Разъятая мечом вражды разящим,
Истерзанная яростью могил,
Ты всех поишь одной животворящей
Росой твоих жизнеточащих жил.

Безгневная, в свое немое лоно
Приемлющая жертву и жреца,
Ни от кого в час смертного поклона
Не отвратишь недвижного лица.

Припасть к тебе, как к терпкому причастью,
Мы все сойдем в безмерные поля,
Чтоб стать твоей неотделимой частью,
Владычица и мать моя, земля.

Россия

«Радуйся, яко крови твоея
капли сладчайшего паче меда
быша пресладкому Иисусу».

Житие св. Варвары В-цы

Лай собак из покинутых хижин,
Да вороний немолкнущий крик,
И высоко взнесен и недвижен
Твой иконный неписаный лик.

Ты идешь луговиной степною,
Несносим одичалый твой взгляд,
И под жаркой твоею ступнею
Опаленные травы горят.

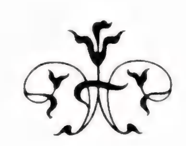
С непокрытым челом инокиня
Невозмогших отступных церквей,

Как на смуглых руках твоих стынет
Рудолипкая кровь сыновей.

Потрясая кандальные ковы,
В озаренье вечерних кадил,
Ты влачишь свои вдовьи покровы
Над грядами их тихих могил.

Но Христос Невечерние Славы
Пречестных твоих мук причащен,
И краев твоей ризы кровавой
Поцелуем касается он.

И преслаще сладкого дара
Для ноздрей его неодолим,
Поминальных твоих пожаров
Терпкий запах и горький дым.



РЮРИК ИВНЕВ

* * *

Я знаю, годы не проходят даром,
Моя душа к любви теперь скупа.
Последний луч тускнеющим пожаром
На листья желтые упал.

Уже мне чужды — нежность, умиленье,
И, точно воск, могу я совесть мять.
Как мне хотелось на одно мгновенье
Вечерний свет на листьях задержать!

Чтоб долго, долго видеть это небо
И эти листья в розовом огне
И ждать того, кто в этой жизни не был,
Кто никогда не явится ко мне.

Последний луч, как путник запоздалый,
Спешит к лучам, угаснувшим уже,
И голос мой — мне больно, больно стало,—
Как тучный ветер, тяжелел.

1916
Петроград

* * *

Опускаются веки, как шторы,
Одному остаться позволь.
Есть какой-то предел, за которым
Не страшна никакая боль.

И душа не трепещет, не бьется,
И глядит на себя, как на тень,
И по ней, будто конь, несется,
Ударяя копытами, день.

Будто самое страшное горе,
Как актер, отыграло роль.
Есть какой-то предел, за которым
Не страшна никакая боль.

1916
Петроград

Смольный

Довольно! Довольно! Довольно
Истошно кликушами выть!
Весь твой я, клокочущий Смольный,
С другими — постыдно мне быть.

Пусть ветер холодный и резкий
Ревет и не хочет стихать,
Меня научил Достоевский
Россию мою понимать.

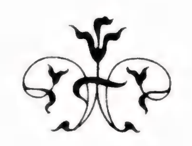
Не я ли стихами молился,
Чтоб умер жестокий палач,
И вот этот круг завершился,
Россия, Россия, не плачь!

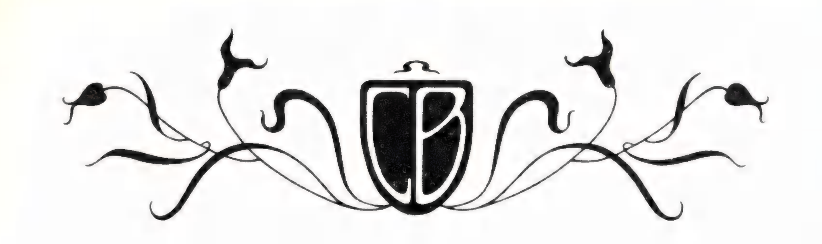
Не я ль призывал эти бури,
Не я ль ненавидел застой?
Дождемся и блеска лазури
Над скованной льдами Невой.

Чтоб счастье стране улыбнулось,
Она заслужила его.
И чтобы в одно обернулось
Твое и мое торжество.

Довольно! Довольно! Довольно!
Кликушам нет места в бою.
Весь твой я, клокочущий Смольный,
Всю жизнь я тебе отдаю!

Октябрь 1917
Петроград





ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО

* * *

Из моря вечности — бежали,
Как волны, длинные года,
Стирая медленно скрижали
И разрушая города.

В отливе мерном и негромком
Не все ль с песков волна сотрет?
Не так ли, жизнь моя, обломком
И ты мелькнешь в водоворот?

Но всё же дом мой я готовлю,
Сады взращаю, стерегу
И пашню тучную, и ловлю,
И козье стадо на лугу.

Как будто силы отдавая —
Через преемственность плода,—
Я жизнь мою переливаю
В иные формы навсегда.

7—8. 1. 1913

* * *

Нельзя минуть, нельзя сберечь.
О, как возможности убоги!
У наших взглядов, наших встреч
Такие древние дороги.

Погаснет жертвенный огонь,
Потянет ветер из пустыни.
Моя горячая ладонь
От жадных губ твоих остынет.

...И вот опять, как в первый раз,
Стыдом и страхом мы объяты,
Земля, проклятая за нас,
Взгорбила каменные скаты.

Ты никнешь к ней лицом, плечом,
И я раскаяньем сгораю,
А ангел с огненным мечом
Уж пересек дорогу к раю.

25. VI. 1915

* * *

Мы полюбили друг друга, встречаясь при храме.
Мы обручились под тенью высокого кедра.
Там на ступенях сидели вдвоем вечерами,
Слушая музыку ночи, и сосен, и ветра.

Там, наконец, наши клятвы прослушали боги,
Светлые лики склоняя над нами с участьем.
Домик за храмом, далекий от людной дороги,
Мы освятили цветами, любовью и счастьем.

Горе и смерть не пошли торопливо за нами,
Жертвы богам мы приносим в веселой одежде.
Время летит... но, смеясь над его сединами,
Розы цветут, и друг друга мы любим, как прежде.

<1916>

* * *

Вот мы друзья. Мы любви отдались. Почему ж
Наши сердца в крови?
Единоборство навеки враждующих душ
Сильней и глубже любви.

Кольцами мы обменялись. Ты ревность прогнал.
Ты мне себя подарил.
Всё же, когда раздается по полю ночному сигнал,
Мы слышим его — дикари.

Нежностью лжем мы. Желанье одно: побороть,
Смочить губы в крови.
Пальцы сжимаются в ласках — и ранена плоть.
Это сильнее любви.

<1916>

* * *

Сперва словами мы друг друга испытали,
Потом подметили тончайшие детали
Движений вкрадчивых, лица, одежд и книг,
Но образ явственный из линий не возник.
Потом молчанием, как лучшим реактивом,
И взглядом длительным, глубоким и пытливым,
Себя проверили — и показалось нам,
Что разделявшее легло по сторонам,
Что одиночество уступит нежной силе.
Мы руки сблизили — и вновь разъединили.
Прошло пожатье их в нас огненной волной,
И то был не огонь, а холод ледяной.

<1916>

* * *

Здесь вот мак весною был посеян,
Но цветов его уж мы не ждем.
Лебеду весь день кропит бассейн,
Переполненный дождем.

Георгины, грубые, как банты,
Я велела срезать поутру.
Со стола из скучной спальни Данте,
    Словно Библию, беру.

И душа опять молиться хочет,
Но крылом лишь слабо шевелит.
За столом стоит, как вестник ночи,
    Тучи черный монолит.

Ветки в небе вычерчены резко,
Как кресты на похоронах дня.
О, как горько плачешь ты, Франческа,
    Нынче в сердце у меня.

<1916>

Город

I

От собак и нищих стало тесно,
Громко славит улица беду.
Может быть, весна в полях окрестных —
Но до них отсюда не дойду.
Не твои ль торжественные были
Этот мост и этот темный храм?
Пышный город горделивый, ты ли,
Пресмыкаясь, воешь по ночам?
Но давно тебя уже не слышат...
Прокаженный, кто к тебе придет?
На прогнивших, потускневших крышах
Ржавчина кровавая цветет.
А вверху, на западе, над ними —
Четко видно с улиц и дорог —
Три креста распластанные в дыме,
И на среднем мертвый Бог.

II

Когда Господь к земле не благ,
Не будет радости с востока,
И даже время — словно враг
С мечом, занесенным высоко.

Лучи рассвета не спасут,
Не отогреют наши души
И ржаво-красную росу
С перил железных не осушат.
Пустой проклятый день уйдет,
Чтоб возвратиться слишком скоро.
Лишь чрево черное болот
Затянет глубже мертвый город,
Лишь мутно-желтая река
Повыше завтра волны вспенит,
Да в небе розовом слегка
Луна свой облик переменит.

III

Мутнеет поверхность забытых каналов,
Линяют слепые дома.
Я улицы этой как будто не знала,
И там не стояла тюрьма...
А где же широкие вязы у дома,
В который влекли меня сны?
Известкой запачкана дверь и солома,
Гниющая возле стены.
Напрасно кресты потускневшие к Богу
Соборы возносят с мольбой...
Глаза ль мои видеть иного не могут,
Иль жизнь стала вправду такой?
И после, когда мы свое отстрадаем,
Неведомый долг отдадим,
Земля станет снова приветливым маем,
И жизнь — станет даром благим...
И снова я дом свой узнаю и площадь,
Чьи стены канал отразил,
И вязы, с которых свежительный дождик
Известку и копоть обмыл.

IV

Нашедшие дом свой увидят, рыдая,
Что сумрак зловещий повсюду залег,
И тощих собак одичавшая стая
Всю ночь будет лаять и нюхать порог.
И в пыли оконной появятся лица,
И пятна паркета — как будто следы;

И сердце сожмется и будет томиться,
Считая шаги уходящей беды.
Уж небо спускается светлым и синим
На темя простертой прощенной земли,
И ангел безумья умолк на равнине,
И капли с меча его наземь стекли.
Но кто нашу память печальную вынет
Из сердца и кинет в колодец без дна?
Кто образы сгладит забытые — в дыме,
И в облаке быстром, и в пыли окна?

1916—1917

* * *

А. Л.-Л.

Шаги прошелестели за дверью невысокой,
Я снова посмотрела, как убран тихий дом.
Посыпан пол полынью и яркою осокой,
Гардины на окошке, от солнца золотом.

В столовой пахнет сладко нарезанная дыня,
В гостиной розы в блюде привянули давно.
Гремит сияньем запад, но словно стало сине
И затянуло дымкой восточное окно.

Я прислонилась к двери и слушаю без грусти
Тот легкий, легкий шелест шагов и нежных рук.
Как быстры реки жизни! И вот я в тихом устье,
А завтра я не буду. Ни лиц, ни дней, ни мук.

Как сладко это было: любить. И сладко кинуть...
По дому тянет запах от дыни, роз и трав.
И вот спешу на вечер окно свое задвинуть,
Зовущий нежный голос за дверью услыхав.

7. III. 1917

* * *

Ни суеты, ни безразличья,
Ни безобразия, ни зла

Не испугалась Беатриче
И в город северный сошла.

Когда зима настлала ложе
И ночь над городом легла,
Она мне сделалась дороже
Дыханья, солнца и тепла.

Но слишком много зла и сора,
И глаз в слезах, и душ в тоске,
И проклял Бог холодный город
Гранитноликий на реке.

Рука, карающая строго,
Безумья слала на людей,
О жизни все молили Бога,
А я молила лишь о ней:

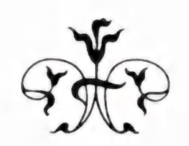
«Спаси ее от ран и крови,
Да идут мимо грязь и боль,
Безмернейшую из любови
В душе моей укрыть позволь».

Вот рев реки и крики птичьи,
Толпы смятение и страх,
Но не видала Беатриче
Я ни в церквах, ни во дворах.

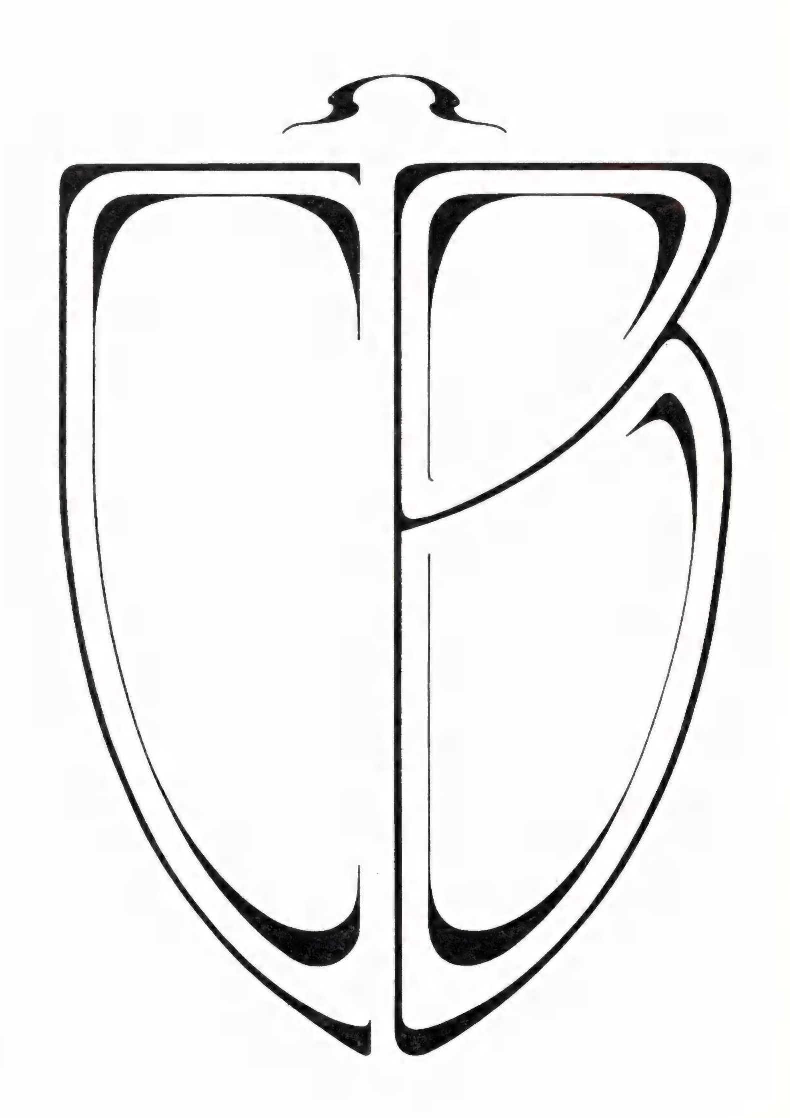
Мне не мелькнуло покрывало
И не приветила рука,
Над улицей ее вставала
Заря, от утра далека.

Пожар, как Божия немилость,
Уже венчал дома вдали.
А тень за мною волочилась
По окровавленной пыли.

6. XI. 1917
Белорецк



Поэты-сатирики



Саша Черный

Петр Потемкин

Александр Измайлов

Евгений Венский

Федор Благов

Валентин Горянский

Василий Князев

Александр Амфитеатров

САША ЧЕРНЫЙ

Мясо

(Шарж)

Брандахлысты в белых брючках
В лаун-теннисном азарте
Носят жирные зады.

Вкруг площадки, в модных штучках,
Крутобедрые Астарты,
Как в торговые ряды,

Зазывают кавалеров
И глазами и боками,
Обещая *всё* для *всех*.

И гирлянды офицеров,
Томно дрыгая ногами,
«Сладкий празднуют успех».

В лакированных копытах
Ржут пажи и роют гравий,
Изгибаясь, как лоза,—

На раскормленных досыта
Содержанок, в модной славе,
Щуря сальные глаза.

Щеки, шеи, подбородки,
Водопадом в бюст свергаясь,
Пропадают в животе,

Колыхаются, как лодки,
И, шелками выпираясь,
Вопиют о красоте.

Как ходячие шнель-клопсы,
На коротких, пухлых ножках
(Вот хозяек дубликат!)

Грандиознейшие мопсы
Отдыхают на дорожках
И с достоинством хрипят.

Шипр и пот, французский говор...
Старый хрен в английском платье
Гладит ляжку и мычит.

Дипломат, шпион иль повар?
Но без формы люди — братья:
Кто их, к черту, различит?..

Как наполненные ведра,
Растопыренные бюсты
Проплывают без конца —

И опять зады и бедра...
Но над ними — будь им пусто! —
Ни единого лица!

Лето 1909

Обстановочка

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль.

Кряхтят на счетах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь,
А розовый капот из бумазейки
Бросает в пот склонившуюся плешь.
Над самой головой насвистывает чижик
(Хоть птичка божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастия полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму,
Трагичным голосом взволнованно орет.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жиличка-белошвейка
Поет романс: «Пойми мою печаль».
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя черствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезжат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

<1909>

Недоразумение

Она была поэтесса,
Поэтесса бальзаковских лет.
А он был просто повеса,
Курчавый и пылкий брюнет.
Повеса пришел к поэтессе.
В полумраке дышали духи,
На софе, как в торжественной мессе,
Поэтесса гнусила стихи:
«О, сумей огнедышащей лаской
Всколыхнуть мою сонную страсть.
К пене бедер, за алой подвязкой
Ты не бойся устами припасть!
Я свежа, как дыханье левкоя,
О, сплетем же истомности тел!..»
Продолжение было такое,
Что курчавый брюнет покраснел.
Покраснел, но оправился быстро
И подумал: была не была!
Здесь не думские речи министра,
Не слова здесь нужны, а дела...

С несдержанной силой кентавра
Поэтессу повеса привлек,
Но визгливо-вульгарное: «Мавра!!»
Охладило кипучий поток.
«Простите...— вскочил он,— вы сами...»
Но в глазах ее холод и честь:
«Вы смели к порядочной даме,
Как дворник, с объятьями лезть?!»
Вот чинная Мавра. И задом
Уходит испуганный гость.
В передней растерянным взглядом
Он долго искал свою трость...
С лицом белее магнезии
Шел с лестницы пылкий брюнет:
Не понял он новой поэзии
Поэтессы бальзаковских лет.

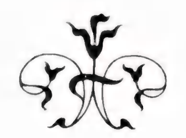
<1909>

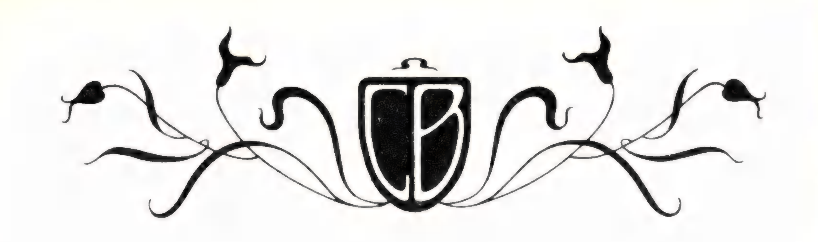
Санкт-Петербург

Белые хлопья и конский навоз
Смесились в грязную желтую массу и преют.
Протухшая, кислая, скучная, острая вонь...
Автомобиль и патронный обоз.
В небе пары, разлагаясь, сереют.
В конце переулка желтый огонь...
Плывет отравленный пьяный,
Бросил в глаза проклятую брань
И скрылся, качаясь,— нелепый, ничтожный и рваный.
Сверху сочится какая-то дрянь...
Из дверей извозчичьих чадных трактиров
Вырывается мутным снопом
Желтый пар, пропитанный шерстью и щами...
Слышишь крики распаренных сиплых сатиров?
Они веселятся... Плетется чиновник с попом,
Щебечет грудастая дама с хлыщами,
Орут ломовые на темных слоновых коней,
Хлещет кнут и скучное острое русское слово!
На крутом повороте забили подковы
По лбам обнаженных камней —
И опять тишина.
Пестроглазый трамвай вдалеке промелькнул.

Одиночество скучных шагов... «Ка-ра-ул!»
Всё черней и неверней уходит стена.
Мертвый день растворился в тумане вечернем...
Зазвонили к вечерне.
Пей до дна!

<1910>





ПЕТР ПОТЕМКИН

У дворца

Когда весной разводят
Дворцовый мост — не зря
Гулять тогда выходят
Под вечер писаря.
Штаны у них раструбом,
Штиблеты — чистый лак,
Идут, сверкая зубом,
Хихикая в кулак.
За сизо-серой мглою
Заглох закатный луч,
За крепостной иглою
Гора лиловых туч.
Чуть веет невской влагой...
В предчувствии конца
Идут они с отвагой
Улавливать сердца.
И слышно издалече
По звонким голосам,
Как рад условной встрече
Цветник влюбленных дам.

Пуховые платочки
Посбились вкривь и вкось...
Без дум, без проволочки
Гулянье началось.
До Прачечного моста
Дойдут и повернут —
Одну обнимут просто,
Другую ущипнут.
В стыдливости невинной
Зажмурилась зазря...
По набережной чинно
Гуляют писаря.

<1910>

Лебяжья канавка

Барышня в синей шляпке,
Опять ты явилась мне.
Сколько цветов в охапке?
Сколько любви по весне?
Вынесло в море Невою
Последний сыпучий лед.
Снова иду за тобою.
Следом любовь идет.
Смело на сером камне
Твои каблуки стучат.
Ну, посмотри в глаза мне,
Ну, обернись назад!
Возле Лебяжьей канавки
Глянешь со ступеней —
Будто поправишь булавки
Синей шляпки твоей.
Холодно станет от взгляда
Твоих подведенных глаз.
Разве любви не надо?
Разве январь у нас?
Но неземной богиней
Уйдешь, насмешку тая...
Барышня в шляпке синей
Опять, опять не моя!

<1910>

Влюбленный парикмахер

Скоро глянет месяц бледный
В милу горенку твою —
Одинешенек я, бедный,
В палисадничке стою.

Невтерпеж мне дух жасминный,
Хоть всегда я вижу в нем
Безусловную причину,
Что я в Катеньку влюблен.

Под жасминовым кусточком
Мы видались первый раз.
Ты цвела совсем цветочком
Для моих влюбленных глаз.

Ты клялась, что не обманешь,
Фотографию дала —
А теперь ты и не взглянешь
На несчастного меня.

С той поры я всё страдаю:
На портрет ли посмотрю,
Или книжку почитаю —
Всё страдаю и горю.

Жду, когда пройдешь ты мимо...
Слезы капают на ус...
Катя, непреодолимо
Я к тебе душой стремлюсь!

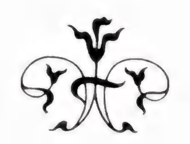
<1910>

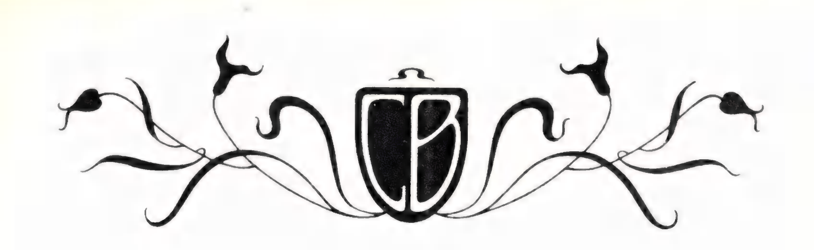
Идиллия

Околоточный Ива́нов злым домой
Из участка полицейского вернулся.
Хлопнул дверью, двинул пса ногой,
А на вой собачий и не обернулся.
Прямиком прошел Иванов в кабинет
И фальшиво не свистел он «Периколу» —
Нынче времени на «Периколу» нет,
Нынче он идет излавливать крамолу.

Приставом своим назначен нынче он
В лекционный зал на реферат дежурить,
И ему придется прения сторон
Олегалить, оскопить и оцензурить.
Ну а как цензурить, если Ивано́в
(Иль Ива́нов, это, в общем, безразлично)
Не знавал значенья иностранных слов,
Кроме слов «шикарно» или «симпатично»?
И решил Ива́нов бедный почитать
Хоть немножко перед лекцией по книжкам —
После обыска на Курской, сорок пять,
У него брошюр имеется с излишком.
Вынул книжку, начал разбирать — куда!
Ничего не понял и позвал сынишку,
И сынишка-гимназист не без труда
Начал объяснять ему лихую книжку.
Через час взопрел и младший Иванов:
«Нет, папаша, будет! Я вам приготовлю
Список нецензурных иностранных слов,
С этим списком и ступайте вы на ловлю».
Так и сделали. Сынишка написал
Сорок с лишком измов, уций, аций,
Бебель, Каутский, и Бокль, и «Капитал» —
Все сюда попали, даже сам Гораций.
Только Маркса околоточный изъял,
Вычеркнув из списка и испортив строчку:
Карла Маркса знал он, ибо получал
«Ниву» с приложеньями семь лет в рассрочку.

<1912>





АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ

Из цикла
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИРИКИ»

1880 год

Любовь идеальная.— Надсоновская школа

Какое блаженство над книгой раскрытой,
Под песнь соловья в задремавшем саду,
Склониться вдвоем с молодою подругой,
Забыться от жизни в блаженном чаду.

И с юной головкою слиться мечтами,
И плакать, и рваться с земли роковой,
Из царства Ваала к лучам идеала,
В сверкающий мир красоты вековой.

1900 год

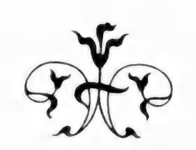
Любовь инфернальная

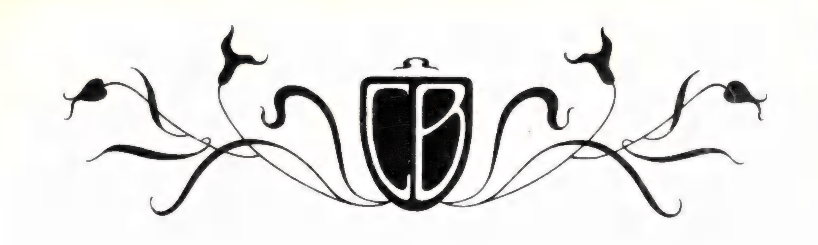
> Мы с тобой сплетемся в забытьи...
> . . . .
> Я увижу волны, блеск зари,
> Рыб морских чуть дышащие жабры.
>
> *Бальмонт.* Будем как Солнце

Хочу быть смелым, хочу быть храбрым,
Любви примеры иной явить.
Хочу лобзать я у женщин жабры,
С тигрицей хищной блаженство пить.

Люблю протяжность я ласк суккуба,
К объятьям юных колдуний слаб.
Давайте мертвых! К ним страсть сугуба!
Химер нотр-дамских и черных жаб!

Мне опостыли тела людские, —
Хочу русалок из бездн морских...
О, прячьте кошек! Я весь стихия!..
Я сам не властен в страстях своих!..





ЕВГЕНИЙ ВЕНСКИЙ

Вяч. Иванов

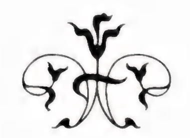
Всероссkой славы мне, прозябшей от пиит,
Не хощет вознести зоильна Эвменида.
И виршей ярь моих не воплет, но молчит.
И семо ведома ль Руси Телемахида?
Песнь Диониса аз с Эллады принесе,
И фижм утянутость, вопль од и пасторали...
Орхестру волшбности и оргиазма се
Вси в виршах клейкостных читали.
И паки вопию: не критик, а зоил,
Почто меня не чтит посланием Чуковский?!
Аз, оргиазма жрец, утомно возопил:
Се не умру вовек, вторый Тредиаковский.

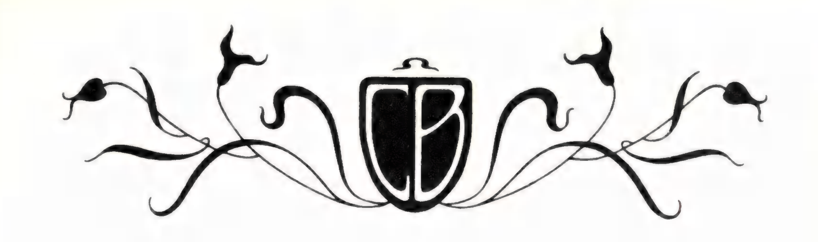
М. Кузмин

Жалко, что вы не любите «Давыдки»[1] .
В интересной драповой вы ходите накидке.

[1] «Давыдка», «Вена» — петербургские рестораны.

Впрочем, иногда и в «Вене»
Подают удивительно микроскопические пельмени.
Говор, шум, пахнет пивом, немножко грязно...
Как в «Свадьбе Фигаро»,— пленительно-буржуазно.
Приходите завтра,— обязательно с Эйленбургом.
В этой шапке вы смотрите драматургом.
Вы замечательно талантливый и хороший...
Позвольте расцеловаться с вашей калошей...





ФЕДОР БЛАГОВ

Саша Черный
Летняя пародия

Без жилетки сижу на террасе я,
Пью какао с братом-матросом.
У соседей идет катавасия —
Муж к жене пристает с допросом.
    За заборчиком идут прохожие,
    Как мистически странны их крики:
    «Вот мозги!», «Картофей!», «Мор-рожено!»,
    «Вот цветы —ерани, гвоздики!»
Зашел мальчуган с мартышкою.
Ах, как вкусен горячий какао!
Вон ползет калека с култышкою,
Недурно б сразиться в макао.
    Идет корова с бубенчиком.
    Гляжу на полное вымя!
    Хорошо бы вдруг стать младенчиком,
    Позабыть свою важность и имя!
Вон бродячие парни-сапожники
Приложились к бутылке с лаком.
На террасах засели картежники
И в железку играют со смаком.

ВАЛЕНТИН ГОРЯНСКИЙ

Необычайная история
(Орфей на Невском)

Событие в гостинице для приезжающих «Рига».
Дело не только что — плюнул да вытер,
Пращур Моцарта, Шопена и Грига —
Импровизатор Орфей пожаловал в Питер.

Побранился с прислугой за углы с паутиной,
Такой несдержанный, такой резкий...
А номер хороший, за пять с полтиной,
Даже с балконом на самый Невский.

Шею освободил от хомута-крахмала.
Расстегнул пуговки на пике́-жилете,
Детина — троих на один взмах мало,
Вот они — античные греки эти.

Вышел на балкон — господи боже!..
А народу! А шуму! Экое место,
Точно в квашне крепкие дрожжи
Пучат и пузырят черное тесто.

«Так ли мы жили когда-то в Элладе»,—
Думал Орфей, облокотясь на перила.
Каменная улица во всем параде
Миллион очей в Орфея вперила.

Всё заманчиво, всё искусно,
Только глядеть, глядеть да дивиться.
Но эллину бедному стало грустно...
А когда же художник за мольберт садится?

А когда ж хочется письменно и устно
Излить обуревающие тебя чувства?
Еще раз повторяю: когда грустно.
Именно грустью живо искусство.

Господа репортеры! Легко и просто!
Обеспечьте на завтра строк по двести,
Спешите на Невский — дом девяносто.
Сто целковых заработаете все вместе.

Прыти вашей превысьте меру,
Очень интересно, кто из вас лише:
Орфей хочет возобновить карьеру
И с арфой своей на балкон вышел.

Ведь на улице нельзя завязать шарфа:
Глядишь, толпа собраться успела.
Что ж случилось, когда чудесная арфа
Звучной пеной над проспектом вскипела?

Фонтанами голубыми взмыли аккорды,
Солнечная песня на Невском нависла.
И вот автомобильные тупые морды
Вдруг насторожились, полные смысла.

Миг — и панель запрудили люди,
Черной, мягкой и беззвучной ватой.
Еле-еле продвигался в запруде
С полным трамваем вагоновожатый.

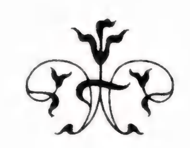
Стоп вагон! Третий! Четвертый!
Лошади и моторы — всё в кучу.
Кто-то кого-то послал к черту
И полез на фонарь, чтобы слышать лучше...

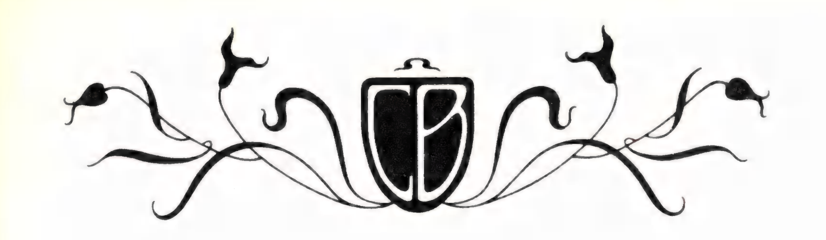
На резиновой шине жук каждый,
Дома и мостовые стали из пробок.
Кинулись на улицу с неутоленной жаждой
Песня и тишина бок о бок.

И даже тот, кто всегда неистов,
Был у Орфея победным трофеем.
Разгонявший с городовыми публику пристав
Головой поник, очарован Орфеем.

А городу снились допетровские ели,
Топкие болота с озорным лешим...
. . . .
Пусть это было на самом деле —
Хочешь, читатель, друг друга потешим?

<1916>





ВАСИЛИЙ КНЯЗЕВ

Нищим духом

Пусть могильная мгла
Край родной облегла,
Тяжким саваном жизнь придавила,—
Невредима скала!
Целы крылья орла!
Не в таких передрягах отчизна была,
Да нетронутой прочь выходила!

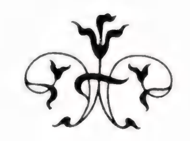
Ой, не знает Руси, кто ей тризну поет!
Рано, ворог, кладешь побежденного в гроб:
Ну, а что как усопший-то встанет?
Сон стряхнет, поведет богатырским плечом
Да своим старорусским заветным мечом
По победному черепу грянет?

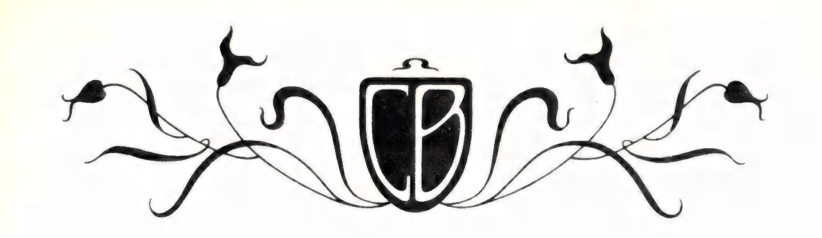
Все мы так: до поры —
Ни на шаг от норы,
До соседа — ни горя, ни дела,

А настанет пора —
Он Невы до Днепра
Неделимое, стойкое тело!

Беспросветная мгла
Край родной облегла,
Тяжким саваном жизнь придавила!
Э, могуча скала!
Целы крылья орла!
Не в таких передрягах отчизна была,
Да нетронутой прочь выходила!

1917





АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ

Афоризмы

1

Наш век — таинственный и пестрый маскарад, —
Такого не найти ни в песне нам, ни в сказке! —
Где ум давно надел дурачества наряд,
А глупость с важностью гуляет в умной маске!

2

Когда ты истинный поэт,
Твори без фанаберий,
Не издавай свой юный бред
И не пиши мистерий.

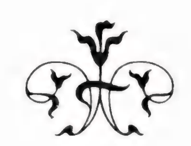
<1912>

Прибежище во скорбех

> Правительство обратилось к московскому духовенству с просьбою молебствовать о прекращении междоусобной брани. Просьба правительства исполнена, и желаемые молебствия отслужены в Троице-Сергиевской лавре...
>
> Из газет

Спешите петь молебны в Лавре,
Зане пылает бунт, как горн...
Мечтали опочить на Лавре,
А Лавр-то вышел — колкий терн...

Сентябрь 1917



ПРИМЕЧАНИЯ

Составитель стремился возможно полнее представить поэтов «серебряного века», хотя это трудновыполнимо в такой, сравнительно небольшой по объему, антологии. Примечания дают возможность познакомиться с библиографическими справками, в которых указываются основные издания произведений поэтов, а также работы об их творчестве. Предпочтение отдается более доступным изданиям советского времени. Чаще всего это книги Большой и Малой серии «Библиотеки поэта», снабженные вступительными статьями и комментариями. Если в советское время поэт не переиздавался, то указываются его сборники дооктябрьского периода. Издания сочинений поэтов обозначены «соч.», литература об их творчестве — «лит.». После библиографических справок, там, где это представляется необходимым, дается комментарий к публикуемым стихотворениям и поэмам.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887)

Соч.: Полное собрание стихотворений/Вст. ст. Г. А. Бялого. Подгот. текста и примеч. Ф. И. Шушковской. М.; Л., 1962.

Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст. и сост. Н. А. Коварского. Подгот. текста и примеч. Р. А. Шацевой. Л., 1961.

Случевский Константин Константинович (1837—1904)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Подгот. текста, вст. ст. и примеч. А. В. Федорова. М.; Л., 1962.

«Здесь счастлив я, здесь я свободен...». «*Уголок*» — дача-усадьба Случевского в Усть-Нарве. Это стихотворение, как и публикуемые вслед за ним стихотворения «Я мыслить жажду потому, что в этом...», «С простым толкую человеком...», «Заката светлого пурпурные лучи...» и «Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо...», входит в сборник поэта «Песни из „Уголка“» (СПб., 1902).

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. Г. М. Цуриковой. Сост., подгот. текста и примеч. В. В. Смиренского. М.; Л., 1962.

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908)

Соч.: Избранные произведения/Вст. ст., подгот. текста и примеч. Е. Покусаева. М.; Л., 1963.

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1918)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов/Вст. ст. и общая ред. Г. А. Бялого. <Биография Андреевского и коммент. к его стихам Л. А. Николаевой>. Л., 1972.

Лит.: *Лахтина Ж. И.* Поэзия С. А. Андреевского//Проблемы худож. метода и жанра в истории русской лит-ры XVIII—XIX вв. М., 1978.

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов/Вст. ст. и общая ред. Г. А. Бялого. Сост., подгот. текста, биогр. справки и примеч. Л. К. Долгополова и Л. А. Николаевой. Л., 1972.

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1937)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

К. Р. (Романов Константин Константинович, 1858—1915)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Лит.: *Медведев Ф.* Августейший пиит//Книжное обозрение. 1989. 25 августа. № 34. С. 16.

Лохвицкая Мирра Александровна (1869—1905)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Лит.: *Брюсов В.* Мирра Лохвицкая//Брюсов В. Собр. соч.: В 7-ми т. Т. 6. М., 1975. С. 318.

К. Льдов (Розенблюм Витольд-Константин Николаевич, 1862—1935)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Якубович Петр Филиппович (1860—1911)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст., подгот. текста и примеч. Б. Н. Двинянинова. Л., 1960.

Чюмина Ольга Николаевна (1858—1909)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Будищев Алексей Николаевич (1866—1916)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Ратгауз Даниил Максимович (1868—1937)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Минский Н. (Виленкин Николай Максимович, 1856—1937)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900)

Соч.: Стихотворения и шуточные пьесы/Вст. ст., сост. и примеч. З. Г. Минц. Л., 1974; Сочинения: В 2-х т. М., 1988. В 1-м т. статьи А. Ф. Лосева «Творческий путь Владимира Соловьева» и А. В. Гулыги «Философия любви»; «Неподвижно лишь солнце любви...»: Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников/Сост., вступ. ст. и коммент. А. Носова. М., 1990.

Лит.: *Белый А.* Владимир Соловьев. Из воспоминаний//Белый А. Арабески. Книга статей. М., 1911. С. 387—394; *Блок А.* Владимир Соловьев и наши дни//Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 154—159; *Громов П.* А. Блок, его предшественники и современники. Изд. 2-е, доп. Л., 1986. С. 56—79.

Панмонголизм. *Мессия* — Христос. *Рим второй* — Византия. См. развитие идей этого стихотворения в диалоге Вл. Соловьева «Три разговора»//Соловьев В. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 635—762.

Das Ewig-Weibliche. Заглавие стихотворения взято из заключения второй части «Фауста» Гёте. *Амафунт* и *Пафос* — древнейшие города на острове Кипр, в которых существовал культ богини любви Афродиты (в Пафосе находился ее храм). Вл. Соловьев использует миф о рождении богини любви и красоты из морской пены.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941)

Соч.: Собрание стихов. 1883—1910 гг. СПб. [1910].

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Лит.: *Шагинян М. С.* Человек и время. М., 1980 (гл. «Петербург»); *Фельзен Ю.* У Мережковских по воскресеньям//Даугава. 1989. № 9; *Новиков Д.* [О «доме Мурузи»]//Аврора, 1989. № 6.

Сакья-Муни. *Сакья-Муни* (Шакья-Муни) — согласно древнеиндийским преданиям, имя Будды, означающее — мудрец (аскет) из рода Сакья.

Дон-Кихот. *Дульцинея де Тобозо* — простая девушка, которая в воображении Дон-Кихота предстает красавицей и дамой сердца.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945)

Соч.: Собрание стихов. 1889—1903 гг. М., Скорпион, 1904; Собрание стихов. Книга вторая. 1903—1909. М., Мусагет. 1910; Последние стихи.

1914—1918. Пб., 1918; [Стихи. Вст. заметка Р. Тименчика]//Родник (Рига), 1988. № 1. С. 23—25.

Лит.: *Перцов П.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1933; Блок в неизданной переписке и дневниках современников//Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982; *Шагинян М. С.* Человек и время. М., 1980 (гл. «Петербург»); *Маковский С.* На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962; *Щемелева Л.* Несколько граней З. Н. Гиппиус//Даугава, 1989. № 9; *Тэффи Н.* Зинаида Гиппиус.//«Смена». 1990. 5 дек. № 279.

Непредвиденное. Это и последующие стихотворения, вплоть до стихотворения «Нет», входят в сборник Гиппиус «Последние стихи» (Пб., 1918). Даты написания стихов указаны автором.

«Петроград». Стихотворение написано по поводу переименования Санкт-Петербурга в Петроград в связи с начавшейся войной с Германией.

Юный март. «Allons, enfants, de la patrie...» («Вперед, сыны отечества...») — слова из «Марсельезы» Руже де Лиля.

Почему. Образы этого стихотворения используются А. Блоком в стихотворении «З. Гиппиус (*При получении «Последних стихов»*)».

14 декабря 17 года. Стихотворение посвящено мужу поэтессы — Д. С. Мережковскому, автору романа «14 декабря» (Пб., «Огни». 1918).

Сологуб Федор (Тетерников Федор Кузьмич, 1863—1927)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст., сост., подгот. текста и примеч. М. И. Дикман. Л., 1979; [Стихи. Вст. заметка Р. Тименчика]//Родник (Рига). 1987. № 11. С. 20—23.

Лит.: *Блок А.* Творчество Федора Сологуба//Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 160—163; *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1988; *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 390—398.

«Недотыкомка серая...» В статье «Творчество Федора Сологуба» Блок писал: «Это — и существо и нет, если можно так выразиться — «ни два ни полтора»; если угодно — это ужас житейской пошлости и обыденщины, а если угодно — угрожающий знак страха, уныния, отчаянья, бессилия. Этот ужас Сологуб окрестил „Недотыкомкой“...» Образ Недотыкомки Сологуб использует и в романе «Мелкий бес» (гл. XXV), над которым он работал с 1892 по 1902 г.

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909)

Соч.: Стихотворения и трагедии/Вст. ст., подгот. текста и примеч. А. В. Федорова. Л., 1959; Книги отражений. М., 1979; Стихотворения/Сост., вст. ст. и примеч. Е. В. Ермиловой. М., 1987; Избранные произведения/Сост., вст. ст. и коммент. А. В. Федорова. Л., 1988.

Лит.: *Пунин Н.* Проблема жизни в поэзии И. Анненского//Аполлон. 1914. № 10, декабрь. С. 47—50; *Урбан А.* Тайный подвиг//Звезда. 1981. № 12; *Тименчик Р.* О составе сборника Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец»//Вопросы литературы. 1978. № 8; *Федоров А.* Иннокентий Анненский: Личность и творчество. Л., 1985.

Л. И. Микулич. Стихотворение обращено к писательнице Лидии Ивановне Веселитской (1856—1936), писавшей под псевдонимом

Л. И. Микулич. *Нимфа с таицкой водой* — статуя «Девушка с разбитым кувшином» в Екатерининском парке Царского Села; таицкая вода — из водопровода, проложенного от села Тайцы.

Поэту. *Пиерида* — муза.

Соловьева (Allegro) Поликсена Сергеевна (1867—1924)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Лит.: *Блок А.* [Рец. на кн.:] П. Соловьева (Allegro). Иней. Рисунки и стихи. Спб., 1905//Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 564—567; *Иванов Вяч.* Поликсена Соловьева (Allegro) в песне и думе//Русская литература XX века (1890—1910)/Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. III, часть II, кн. VIII. М., 1916. С. 172—184.

Лялечкин Иван Осипович (1870—1895)

Соч.: Поэты 1880—1890-х годов. Л., 1972.

Коневской Иван (Ореус Иван Иванович, 1877—1901)

Соч.: Мечты и думы Ивана Коневского. 1896—1899. СПб., 1900; Стихи и проза: Посмертное собрание сочинений [Предисловие В. Брюсова. М., 1904]; Стихи/Вст. заметка Р. Тименчика//Родник (Рига). 1987. № 10. С. 38—39.

Лит.: *Брюсов В.* Иван Коневской. Мудрое дитя//Брюсов В. Собр. соч.: В 7-ми т. Т. 6. М., 1975. С. 242—249; *Мордерер В. Я.* Блок и Иван Коневской; *Степанов Н. Л.* Иван Коневской. Поэт мысли //Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 151—202; *Смирнов А.* Поэт бесплотия//Мир искусства. 1904. № 4. С. 81—83.

Две радости. *Федор Александрович Лютер* (18??—19??) — преподаватель древних языков в 1-й петербургской гимназии. У него собирался кружок гимназистов, интересовавшихся литературными и философскими вопросами. Имел большое влияние на Коневского, который посвятил ему четыре стихотворения: «По дням», «Две радости», «Силы» и «Ты миром удивлен, ты миром зачарован...».

Добролюбов Александр Михайлович (1876—1944?)

Соч.: Natura naturans. Natura naturata. Тетрадь № 1. Спб., 1895; Собрание стихов. М., 1910 [Стихи. Вст. заметка Р. Тименчика] //Родник (Рига). 1987. № 9. С. 39—40.

Лит.: *Азадовский К. М.* Путь Александра Добролюбова//Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 459/ Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. Тарту, 1979. С. 121—146.

А. Блок посвятил поэту стихотворение «А. М. Добролюбов» (см.: *Блок А.* Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 1. М.; Л., 1960. С. 275).

Блок Александр Александрович (1880—1921)

Соч.: Собр. соч. В 8-ми т. М.; Л., 1960—1963; Записные книжки. 1901—1920. М., 1965; Стихотворения. Поэмы. Театр. М., 1968; Дневник. М., 1989; Блок А., Белый А. Диалог поэтов о России и революции. М., 1990.

Лит.: *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990; *Белый А.* Начало века. М., 1990; *Белый А.* Между двух революций. М., 1990; Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1980; *Чуковский К.* Александр Блок//Чуковский К. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 5. М., 1967; *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; *Медведев П.* В лаборатории писателя. Л., 1971; *Орлов Вл.* Гамаюн. Л., 1980; *Орлов Вл.* Поэт и город: Александр Блок и Петербург. Л., 1980; *Громов П.* А. Блок, его предшественники и современники. Изд. 2-е, доп. Л., 1986; *Горелов Анат.* Гроза над соловьиным садом: Александр Блок. Изд. 2-е, доп. Л., 1973; *Турков А.* Александр Блок. М., 1981; *Долгополов Л. К.* Александр Блок: Личность и творчество. Изд. 3-е. Л., 1984; *Максимов Д.* Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981; *Лесневский Ст.* Путь, открытый взорам. М., 1980; *Енишерлов В. П.* Александр Блок: Штрихи судьбы. М., 1980; *Пьяных М.* Слушайте Революцию: Поэзия Александра Блока советской эпохи. М., 1980; *Крыщук Н.* «Открой мои книги...»: Разговор о Блоке. Л., 1979; *Бураго С. Б.* Александр Блок: Очерк жизни и творчества. Киев, 1981; В мире Блока. Сб. статей. М., 1981; Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 1—4. М., 1980—1987; *Александров А. А.* Блок в Петербурге — Петрограде. Л., 1987; *Гинзбург Л.* О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974; *Пьяных М. Ф.* «Что впереди?»: Поэма А. Блока «Двенадцать» и наша современность//Вечерняя средняя школа. 1989. № 6.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. С. С. Аверинцева. Сост., подгот. текста и примеч. Р. Е. Помирчего. Л., 1978.

Лит.: *Блок А.* Творчество Вячеслава Иванова//Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 5. М.; Л., 1962; *Иванов Вяч.* [Автобиографическое письмо С. А. Венгерову]; *Зелинский Ф. Ф.* Вячеслав Иванов; *Белый А.* Вячеслав Иванов//Русская литература XX века (1890—1910)/Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. III, ч. II, кн. VIII. М., 1916. С. 81—149; *Зайцев Б.* Вячеслав Иванов//Знамя. 1989. № 10.

Белый Андрей (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича, 1880—1934)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. и сост. Т. Хмельницкой. Подгот. текста и примеч. Н. Банк и Н. Захаренко. М.; Л., 1966; Петербург. Л., 1981; На рубеже двух столетий. М., 1990; Начало века. М., 1990; Между двух революций. М., 1990; Блок А., Белый А. Диалог поэтов о России и революции. М., 1990.

Лит.: *Иванов-Разумник Р. В.* Андрей Белый//Русская литература XX века (1890—1910)/Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. III, ч. II, кн. VII. М., 1916. С. 13—64; *Иванов-Разумник Р. В.* Вершины: А. Блок. А. Белый. Пг., 1923; *Долгополов Л.* Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988; *Цветаева М.* Пленный дух: Моя встреча с Андреем Белым//Цветаева М. Проза. М., 1989; *Пьяных М.* Певец огневой стихии:

Поэзия А. Белого революционной эпохи 1917—1921 годов//Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939)

Соч.: Кремнистый путь. М., 1904; Весною на север. Лирика. СПб., 1908; Сочинения, т. I—VI. СПб., 1911—1912. Т. IV: Стихи и драмы. СПб., 1911; Голоса.//Кодры. 1990, № 4.

Лит.: Переписка Г. И. Чулкова с Блоком/Вст. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова//Литературное наследство, т. 92, кн. 4. М., 1987. С. 370—422.

Семенов-Тянь-Шанский Леонид Дмитриевич (1880—1918)

Соч.: Собрание стихотворений. СПб., 1905.

Лит.: *Минц З. Г.* Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и его «Записки»// Труды по русской и славянской филологии. Т. XXVIII. Тарту, 1977; *Пяст Вл.* Встречи. М., 1929. С. 35—43; Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 123—124.

Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940)

Соч.: Ограда. Книга стихов. [СПб.] 1909; Поэма в нонах. М., 1911; Львиная пасть. Вторая книга лирики. Берлин; Пб.; М., 1922; Третья книга лирики. Берлин; Пб.; М., 1922; Встречи. М., 1929.

Лит.: Переписка [Блока] с Вл. Пястом/Вст. ст., публ. и коммент. З. Г. Минц//Литературное наследство, т. 92, кн. 2. М., 1981. С. 175—228.

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938)

Соч.: Страстная Суббота. Стихи. Пб., 1922. Посвящение: «Благословенной памяти Александра Александровича Блока». [С. 5].

Лит.: *Чертков Л. Н.* В. А. Зоргенфрей — спутник Блока//Русская филология. II сб. науч. студ. работ. Тарту, 1967; *А. А. Блок.* Письма к В. А. Зоргенфрею/Публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова//Русская литература. 1979, № 4.

Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна (1891—1945)

Соч.: Скифские черепки. СПб., 1912; Руфь. Пг., 1916; *Мать Мария:* Стихи. Поэмы. Статьи. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюке. Париж, 1947; Встречи с Блоком//Труды по русской и славянской филологии, т. XI. Тарту, 1968; Стихи//Смена (Ленинград). 1989. 25 окт. № 245; Стихи//Звезда. 1990. № 5.

Лит.: *Максимов Д.* Блок и Кузьмина-Караваева//Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981; *Богат Евг.* История одной любви. Из писем Е. Кузьминой-Караваевой Александру Блоку//Лит. газ., 1977. 14 сент. № 37; *Богат Евг.* Разгадка ДДБ: История одного посвящения: друг юности Матери Марии//Лит. газ. 1984, 25 апр. № 17; *Богат Евг.* Мать Мария: мифы, версии, достоверности//Юность. 1986. № 4; *Микулина Е.* Мать Мария. Роман. Изд. 2-е, доп. М., 1988.

Кондратьев Александр Алексеевич (1876—1967)

Соч.: Стихотворения. СПб., 1905; Стихи. Книга вторая (Черная Венера). СПб., 1909.

Лит.: Письма А. А. Кондратьева к Блоку (1903—1912)/Предисл., публ. и коммент. Р. Д. Тименчика//Литературное наследство, т. 92, кн. 1. М., 1980. С. 552—562.

Верховский Юрий Никандрович (1878—1956)

Соч.: Разные стихотворения. М., 1908; Идиллии и элегии. СПб., 1910; Стихотворения Юрия Верховского. Т. 1. Сельские эпиграммы. Идиллии. Элегии. М., 1917; Солнце в заточении. Пг., 1922.

Лит.: *Иванов-Разумник Р. В.* Старинное. (Поэзия Ю. Верховского)//Заветы. 1914. № 2; *Озеров Л.* Юрий Верховский//День поэзии. М., 1967; Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 43—44, 552; *Муравьев Вл.* «Истинный поэт»//Поэзия. Альманах. Вып. 42. М., 1985; *Гельперин Ю. М.* Верховский Юрий Никандрович//Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.

Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942)

Соч.: Волшебница. СПб., 1913; Лик человеческий. Поэма. Пб.; Берлин, 1922.

Лит.: Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 48; *Тименчик Р. Д.* Гиппиус Василий Васильевич//Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.

Скалдин Алексей Дмитриевич (1885—1943)

Соч.: Стихотворения (1911—1912). СПб., 1912.

Лит.: Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 555; *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 413—420.

Гиппиус Владимир Васильевич (псевдонимы: Вл. Бестужев, Вл. Нелединский, 1876—1941)

Соч.: *Нелединский В.* Вспышки. Стихотворения. [Б. м.], 1905; *Бестужев В.* Возвращение. (Из книги «Завет Вл. Бестужева»). 1896—1906. СПб., 1912; Ночь в звездах. Стихотворения Вл. Бестужева. Пг., 1915; Томление духа. Вольные сонеты В. Нелединского. Пг., 1916.

Лит.: *Лавров А. В.* Гиппиус Владимир (Вольдемар) Васильевич// Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.

Гофман Виктор Викторович (1884—1911)

Соч.: Книга вступлений. Лирика. 1902—1904. М., 1904; Искус. Новые стихи. СПб., 1910; Собр. соч. Т. 1. М., 1917. Здесь: *Ходасевич В.* Виктор Викторович Гофман (Биографический очерк). С. XI—XXX; *Брюсов В.* Мои воспоминания о Викторе Гофмане. С. XXXI—LII.

Лит: *Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. Вып. 3. Изд. 2-е. М., 1913; *Лавров А. В.* Гофман Виктор (Виктор-Бальтазар-Эмиль) Викторович//Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890—1939)

Соч.: *Святополк-Мирский Д.*, князь. Стихотворения. 1906—1910. СПб., 1911; *Мирский Д.* Литературно-критические статьи/Вст. ст. М. Я. Полякова. М., 1978; *Мирский Д.* Статьи о литературе/Вст. ст. Н. Анастасьева. М., 1987.

Лит.: *Гумилев Н.* Письма о русской поэзии. Пг., 1923; *Эйснер А.* Перечитывая сегодня//Вопросы литературы. 1980. № 5; *Казнина О.* Д. Мирский. Несобранные статьи по русской литературе//Вопросы литературы. 1990. № 1.

«Мне жаль, что высота Престола...» *Великие Моголы* — династия, правившая в Индии в XVI—XVIII вв. *Тимур Лянг*, или Тимур-ленг, — прозвище Тимура (1336—1405), среднеазиатского государственного деятеля и полководца, означающее по-таджикски Тимур-хромец (в европейском произношении — Тамерлан). Тимур стал хромым после ранения в правую ногу. *Македонская фаланга* — войско Александра Македонского (356—323 до н. э.) *Ниневия* — столица Ассирии в VIII—VII вв. до н. э. В 612 г. до н. э. разрушена и сожжена войсками вавилонян и мидян.

Кузмин Михаил Александрович (1875—1936)

Соч.: Стихи и проза/Вст. ст. Е. В. Ермиловой «О Михаиле Кузмине». М., 1989; Избранные произведения. Вст. статья и комментарий А. Лаврова и Р. Тименчика. Л., 1990.

Лит.: *Соловьев С.* М. Кузмин. Сети//Весы. 1908. № 6; *Зноско-Боровский Е.* О творчестве М. Кузмина//Аполлон. 1917. № 4-5; *Блок А.* Юбилейное приветствие М. Кузмину//Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 6. М.; Л., 1962; *Цветаева М.* Нездешний вечер//Цветаева М. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1988; *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989; *Анненский Инн.* О современном лиризме//Анненский Инн. Книги отражений. М., 1979; *Гумилев Н.* Письма о русской поэзии. Пг., 1923; *Жирмунский В. М.* Преодолевшие символизм//Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; Письма М. А. Кузмина к Блоку и отрывки из дневника М. А. Кузмина/Предисл. и публ. К. Н. Суворовой//Литературное наследство, т. 92, кн. 2. М., 1981; *Ивнев Р.* Встречи с М. А. Кузминым//Звезда. 1982. № 5; *Кушнер А.* Музыка во льду//Новый мир. 1989. № 10; *Тимофеев А.* Из плена забвенья//Нева. 1988. № 1.

Гумилев Николай Степанович (1886—1921)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. А. И. Павловского. Биогр. очерк В. В. Карпова. Сост., подгот. текста и примеч. М. Д. Эльзона. Л., 1988; Стихи. Письма о русской поэзии/Вст. ст. Вяч. Вс. Иванова «Звездная вспышка (Поэтический мир Н. С. Гумилева)». М., 1989; Письма о русской поэзии/Вст. ст. Г. М. Фридлендера. Коммент. и подгот. текста Р. Д. Тименчика. М., 1990.

Л и т.: *Анненский Инн.* О современном лиризме//Анненский Инн. Книги отражений. М., 1979. С. 378; *Жирмунский В. М.* Преодолевшие символизм//Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; *Блок А.* «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов)// Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 6. М.; Л., 1962; *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1988; *Иванов Г.* Гумилев//Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 434—449; см. там же: с. 407—413; *Павловский А.* Николай Гумилев//Вопросы литературы. 1986. № 10; *Чупринин С.* Из твердого камня. Судьба и стихи Николая Гумилева//Октябрь. 1989. № 3; *Скатов Н.* О Николае Гумилеве и его поэзии//Литературная учеба. 1988. № 4; «Самый непрочитанный поэт». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве //Новый мир. 1990. № 5; *Винокурова И.* Жестокая, милая жизнь //Новый мир. 1990. № 5.

Змей. *Лагор* (Лахор) — город в Пакистане, древний административный и культурный центр. *Вольга* Святославович (Волх Всеславьевич) — герой русских былин, сын Змея и княжны Марфы Всеславьевны.

Мужик. В стихотворении говорится о возвышении и гибели Г. Е. Распутина (1872—1916).

Рабочий. *Пуля, им отлитая, просвищет//Над седою, вспененной Двиной...* — Имеется в виду немецкий рабочий и отлитая им пуля; полк, в котором служил Гумилев, располагался на берегу Двины.

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889—1966)

С о ч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. А. А. Суркова. Сост., подгот. текста и примеч. В. М. Жирмунского. Л., 1976; Сочинения: В 2-х т./Вст. ст. М. Дудина. Сост., подгот. текста и коммент. В. А. Черных. М., 1986; Стихотворения и поэмы/Вст. ст. и сост. А. И. Павловского. Примеч. М. М. Кралина. Л., 1989; Ахматова А., Гумилев Н. Стихи и письма//Новый мир. 1986. № 9.

Л и т.: *Недоброво Н.* Анна Ахматова//Русская мысль. 1915. № 7. Статья перепечатана в кн.: *Найман А.* Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 237—258; *Жирмунский В. М.* Преодолевшие символизм//Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; *Жирмунский В. М.* Анна Ахматова и Александр Блок//Там же; *Жирмунский В. М.* Творчество Ахматовой. Л., 1973; *Эйхенбаум Б.* Анна Ахматова//Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969; *Чуковский К.* Ахматова и Маяковский//Дом искусств. 1921. № 1. Статья перепечатана в журн. «Вопросы литературы». 1988. № 1; *Павловский А. И.* Анна Ахматова. Л., 1966; Л. 1982; *Добин Е.* Поэзия Анны Ахматовой//Добин Е. Сюжет и действительность. Искусство детали. Л., 1981; *Гинзбург Л.* О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974; *Скатов Н.* Анна Ахматова// Скатов Н. Русские поэты. М., 1977; *Виленкин В.* В сто первом зеркале. М., 1987; Номера журналов, целиком посвященные 100-летию со дня рождения Ахматовой: Литературное обозрение. 1989. № 5; Звезда. 1989. № 6; *Хренков Дм.* Анна Ахматова в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. Л., 1989; Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания, письма/Сост. М. М. Кралин. Л., 1990.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938)

С о ч.: Стихотворения/Вст. ст. А. Л. Дымшица. Сост., подгот. текста и примеч. Н. И. Харджиева. Л., 1973; Слово и культура. М., 1983;

Отклик неба: Стихотворения, проза/Вст. ст. Л. Бельской «Поэзия и судьба Осипа Мандельштама». Алма-Ата, 1989; Сочинения в 2-х т. М., 1990.

Лит.: *Жирмунский В. М.* Преодолевшие символизм; На путях к классицизму (О. Мандельштам — «Tristia»)//Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; *Чуковский Н.* Встречи с Мандельштамом//Москва. 1964. № 8; *Гинзбург Л.* Поэтика ассоциаций//Гинзбург Л. О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974; *Мусатов В.* Лирика О. Мандельштама 1908—1912 гг.//Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1982; *Бухштаб Б.* Поэзия Мандельштама//Вопросы литературы. 1989. № 1; *Ахматова А.* Листки из дневника (О Мандельштаме)//Вопросы литературы. 1989. № 2; *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. М., 1989. *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1988; *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989.

Айя-София. *Айя-София* — храм св. Софии в Константинополе (VI в.), после завоевания столицы Византии турками — мечеть. *Юстиниан* — византийский император, в царствование которого был выстроен храм св. Софии (532—537). *Эфесская Диана* — храм Дианы (Артемиды) в г. Эфесе, причисленный к «семи чудесам» древнего мира. *Апсиды* и *экседры* — алтарные выступы в церковной архитектуре. *Паруса* — треугольные сферические своды, на которые опирается кольцо купола.

Notre Dame — собор Парижской Богоматери, памятник готической архитектуры XII—XIII вв.

«В Петрополе прозрачном мы умрем...» *Прозерпина* (рим. миф.) — то же, что и Персефона (гр. миф.) — владычица царства мертвых. *Афина* (гр. миф.) — богиня мудрости и победы.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. и сост. С. И. Машинского. Подгот. текста и примеч. Е. И. Прохорова. Л., 1974; Избранные произведения: В 2-х т./Сост. В. П. Енишерлова. Вст. ст. С. И. Машинского. Коммент. В. П. Енишерлова и Е. И. Прохорова. М., 1987.

Лит.: *Блок. А.* О лирике; Сергей Городецкий. Русь//Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 5. М.; Л.; 1962; *Брюсов В.* Сергей Городецкий. I. Ярь. II. Перун. III. Дикая воля//Брюсов В. Собр. соч.: В 7-ми т. Т. 6. М., 1975; *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989.

Нарбут Владимир Иванович (1888—1944)

Соч.: Стихи. Кн. 1. СПб., 1910; Аллилуиа. Стихи. СПб., 1912; Аллилуиа. 2-е изд. Одесса, 1922; Любовь и любовь. 3-я книга стихов. СПб., 1913; Плоть. Быто-эпос. Одесса, 1920; В огненных столбах. Одесса, 1920; Советская земля. Харьков, 1921; [Стихи]//Простор. 1988. № 3; [Стихи]//Поэзия. Альманах. 51. М., 1988; Стихотворения/Вст. ст., сост. Н. Бялосинской, Н. Панченко. М., 1990.

Лит.: *Гумилев Н.* Письма о русской поэзии. Пг., 1923; *Гусман В.* 100 поэтов. Тверь, 1923; *Зелинский К.* На рубеже двух эпох. Лит. встречи. 1917—1920. Изд. 2-е. М., 1962; *Зенкевич М.* Владимир Нарбут//День поэзии. М., 1967; *Катаев В.* Алмазный мой венец. М., 1980; *Нехорошев Г.* Владимир Нарбут//Поэзия. Альманах. 51. М., 1988; *Озеров Л.* О Владимире Нарбуте//Простор. 1988. № 3.

Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973)

Соч.: Дикая порфира. (1909—1911 гг.) СПб., 1912; Четырнадцать стихотворений. Пг., 1918; Сквозь грозы лет. Стихи/Вст. ст. А. Волкова. М., 1962; Избранное/Предисл. Н. С. Тихонова. М., 1973.

Лит.: *Гумилев Н.* Письма о русской поэзии. Пг., 1923.

Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1878—1932)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст. С. С. Наровчатова. Сост., подгот. текста и примеч. Л. А. Евстигнеевой. Л., 1977; Избранные стихотворения/Сост., вст. ст. и примеч. А. В. Лаврова. М., 1988; Лики творчества. Л., 1989; «Средоточье всех путей...». Избранные стихотворения и поэмы. Проза. Критика. Дневники/Сост., вст. ст. и коммент. В. П. Купченко и З. Д. Давыдова. М., 1989.

Лит.: *Цветаева М.* Живое о живом (Волошин)//Цветаева М. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1984; *Куприянов И. Т.* Судьба поэта (Личность и поэзия Максимилиана Волошина). Киев, 1979; Волошинские чтения. М., 1981; *Купченко В.* Остров Коктебель. М., 1981; *Купченко Вл.* Приобщение к Петербургу//Нева. 1982. № 2.

Петроград. Стихотворение посвящено Сергею Яковлевичу Эфрону (1893—1941) — мужу М. И. Цветаевой.

Россия. Поэма печатается по журн. «Юность». 1988. № 10. Вст. ст., подгот. текста, публ. и коммент. З. Давыдова, В. Купченко и А. Лаврова. *Стрешнев Тихон* — боярин из окружения Нарышкиных. *Гамильтон Мария Даниловна* — фрейлина, любовница Петра, казненная им в 1719 г. *Пять виселиц* — казнь декабристов 13 июля 1826 г. *От-Цу, Отсу* — город в Японии, где 23 апреля 1891 г. на Николая, тогда наследника престола, было совершено покушение. *Филипп* — француз из Лиона, знахарь. *Папюс* — французский оккультист, вызвавший в 1905 г. в Царском Селе дух Александра III. *«Тишайший»* — царь Алексей Михайлович (1629—1676). *«Пять женщин»* — имеется в виду правление Екатерины I (1725—1727), Анны Иоанновны (1730—1740), Анны Леопольдовны (1740—1741), Елизаветы Петровны (1741—1761) и Екатерины II (1762—1796). *Рогервик* — бухта в западной части Финского залива на Эстляндском побережье, где в 1723 г. Петр заложил крепость и порт. *Державный мистик* — Александр I. *Федор Кузьмич* — таинственная личность, жившая в Сибири (умер в 1864 г.), в котором подозревали Александра I, будто бы не умершего в 1825 г., а удалившегося от мира по обету. *«Мартобря 86 числа»* датирована одна из записей в «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя. *Крижанич Юрий* (ок. 1618—1683) — писатель, ученый, общественный деятель, хорват по национальности; жил в России в 1659—1676 гг. *Сергий Радонежский* (ок. 1321—1391) — русский церковный и политический деятель, основатель Троицкого монастыря. *Серафим Саровский* (1759—1833) — иеромонах Саровской пустыни (в Тамбовской губернии). *Стиракс* — ароматическая смола.

Черубина де Габриак (псевдоним Васильевой Елизаветы Ивановны, 1887—1928)

Соч.: Аполлон. 1909. № 2; Стихотворения//Новый мир. 1988. № 12.

Лит.: *Волошин М.* Гороскоп Черубины де Габриак//Аполлон. 1909. № 2. То же в кн.: *Волошин М.* Лики творчества. Л., 1989.

Самвелян Н. Об алгебре, гармонии, горе Карадаг и дуэли, на которой погибла Черубина де Габриак//Литературная Россия. 1986. 11 июля, № 28; *Марков Анатолий.* «Одна брожу по всей вселенной...» Рассказ о том, как появилась в русской поэзии Черубина де Габриак//Книжное обозрение. 1988. 1 января. № 1; *Васильева Ел.* «Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь»//Новый мир. 1988. № 12; *Глоцер В.* Васильева Елизавета Ивановна//Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989; *Давыдов З., Купченко В.* «Черубина»//Памир. 1989. № 8.

Маковский Сергей Константинович (1878—1962)

Соч.: Собрание стихов. Книга первая. СПб., 1905; Портреты современников. Нью-Йорк, 1955; На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962.

Лит.: *Анненский Инн.* Книги отражений. М., 1979. С. 366—367; *Анненский И. Ф.* Письма к С. К. Маковскому/Публ. [и вст. ст.] А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика//Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978.

Комаровский Василий Алексеевич (1881—1914)

Соч.: Первая пристань. Стихи. СПб., 1913; Посмертные стихотворения графа Василия Алексеевича Комаровского//Аполлон. 1916. № 8, октябрь; [Стихи/Вст. заметка Р. Тименчика]//Родник (Рига). 1988. № 11.

Лит.: *Пунин Н.* Памяти графа Василия Алексеевича Комаровского//Аполлон. 1914. № 6-7; *Маковский С. К.* На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962; *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989.

Недоброво Николай Владимирович (1882—1919)

Соч.: Русская мысль. 1915. № 6; Альманах муз. Пг., 1916; Ленинградский рабочий. 1979. 30 июня; «Там шепчутся белые ночи мои...» Избр. стихи поэтов серебряного века. Л., 1991.

Лит.: Письма Н. В. Недоброво к Блоку/Предисл., публ. и коммент. М. М. Кралина//Литературное наследство, т. 92, кн. 2. М., 1981; *Кралин М.* Победившее смерть слово//Нева. 1988. № 7.

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955)

Соч.: Горный ключ. Стихи. М.; Пг., 1916; Горный ключ. Стихи. Изд. 2-е. Пг., 1922.

Лит.: *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии//Аполлон. 1916. № 1.

Шилейко Владимир (Вольдемар) Казимирович (1891—1930)

Соч.: Гиперборей. 1913. № IX—X, ноябрь — декабрь; Аполлон. 1916. № 3; Ассиро-вавилонская поэзия. Переводы В. К. Шилейко. М., 1987.

Л и т.: *Шилейко Тамара.* Легенды, мифы и стихи...//Новый мир. 1986. № 4.

Кривич Валентин Иннокентьевич (1880—1936)

С о ч.: Аполлон. 1909. № 2; Цветотравы. М., 1912.

Л и т.: Четыре забытых поэта: Валентин Кривич, Александр Кондратьев, Виктор Поляков, Николай Недоброво. (Вст. заметка Р. Тименчика)//Родник (Рига). 1988. № 3.

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958)

С о ч.: Горница. Книга стихов. Пг., 1914; Вереск. Вторая книга стихов. М.; Пг., 1916; Сады. Третья книга стихов. Пг., 1921; Лампада. Собрание стихотворений. Кн. 1—2. Пг., 1922; Стихотворения//Знамя. 1987. № 3; Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. Сост., послесл., коммент. Н. А. Богомолова. М., 1989.

Л и т.: *Гумилев Н.* Письма о русской поэзии. Пг., 1923; *Оксенов Ин.* Георгий Иванов. Лампада//Книга и революция. 1922. № 7; *Полянин А.* Георгий Иванов. Сады//В сб.: Шиповник. М., 1922; *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1988; *Одоевцева И.* На берегах Сены//Звезда. 1988. № 8—12. Гл. «Георгий Иванов» в № 12; *Богомолов Н.* Талант двойного зрения//Вопросы литературы. 1989. № 2.

Адамович Георгий Викторович (1892—1972)

С о ч.: Облака. Стихи. М.; Пг., 1916; Чистилище. Стихи. Книга вторая. Пб., 1922; Единство. Стихи разных лет. Нью-Йорк, 1967; Литературная Россия. 1987. 10 июля; Даугава. 1988. № 1; Комментарии//Знамя. 1990. № 3.

Л и т.: *Гумилев Н.* Письмо о русской поэзии//Аполлон. 1916. № 1; *Тихонов Н.* Граненые стеклышки//Жизнь искусства. 1922. 23 мая; *Одоевцева И.* На берегах Сены//Звезда. 1988. № 8—12. О Г. Адамовиче в № 9; *Тименчик Р. Д.* Адамович Георгий Викторович//Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.

Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958)

С о ч.: Град. Стихи. Пг., 1921; В дыму. Вторая книга стихов. Париж, 1926; Встреча. Париж, 1928; Жизнь и смерть. Стихи. Т. 1—2. Париж, 1961.

Л и т.: *Цыбин В.* «Пусть мучится душа живая...»//Литературная Россия. 1987. 21 августа. № 34.

Одоевцева Ирина Владимировна (1901—1990)
(Наст. имя: Гейнике Ираида Густавовна)

С о ч.: Двор чудес. Стихи (1920—1921 гг.). Пг., 1922; Стихи. Париж, 1960; Десять лет. Стихи. Нью-Йорк, 1961; На берегах Невы. М., 1988; На берегах Сены//Звезда. 1988. № 8—12.

Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст. А. И. Павловского. Сост., подгот. текста и примеч. М. В. и Т. В. Рождественских. Л., 1985; Страницы жизни: Из литературных воспоминаний. Изд. 2-е, доп. Л., 1974.

Лит.: *Амстердам А.* Всеволод Рождественский. Путь поэта. Л., 1965; *Васильева И.* Всеволод Рождественский: Очерк жизни и творчества. Л., 1983.

Тихонов Николай Семенович (1896—1979)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. и сост. В. А. Шошина. Подгот. текста и примеч. А. С. Морщихиной. Л., 1981.

Лит.: *Селивановский А.* Николай Тихонов//Селивановский А. В литературных боях. М., 1959; *Урбан А.* Образ человека — образ времени: Очерки о советской поэзии. Л., 1979. (Гл. 2. Поиски героя).

Вагинов (Вагенгейм) Константин Константинович (1899—1934)

Соч.: Путешествие в Хаос. Пб., 1921; [Стихи]. Л., 1926; Опыты соединения слов посредством ритма. [Б. п.] Предисловие. Л., 1931; «Помню я александрийский звон...»: Звезда Вифлеема. Монастырь Господа нашего Аполлона. Стихотворения/Вст. ст., публ. и примеч. Т. Л. Никольской//Литературное обозрение. 1989. № 1; [Стихи]. Вст. заметка Т. Никольской//Родник (Рига). 1989. № 6; [Стихи]. Статья Т. Никольской «О поэзии Константина Вагинова»//День поэзии. Л., 1989; Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бомбочада/Вст. ст. Т. Л. Никольской «Трагедия чудаков». М., 1989.

Лит.: *Герасимова А.* Труды и дни Константина Вагинова//Вопросы литературы. 1989. № 12.

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930)

Соч.: Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М., 1955—1961; Сочинения: в 2-х т. М., 1987—1988.

Лит.: *Чуковский К.* Маяковский//Чуковский К. Современники. Портреты и этюды. М., 1963 (Серия ЖЗЛ); *Чуковский К.* Ахматова и Маяковский//Дом искусств. 1921. № 1. Статья перепечатана в журнале «Вопросы литературы». 1988. № 1; *Харджиев Н., Тренин В.* Поэтическая культура Маяковского. М., 1970; *Пицкель Ф. Н.* Маяковский: художественное постижение мира. М., 1979; *Пьяных М.* «Как живой с живыми говоря»: Маяковский, его современники и последователи//Звезда. 1983. № 2; *Альфонсов В.* Нам слово нужно для жизни: В поэтическом мире Маяковского. Л., 1984; В мире Маяковского: Сб. статей. Кн. 1 и 2. М., 1984; *Субботин А.* Маяковский сквозь призму жанра. М., 1986; *Михайлов Ал.* Маяковский. М., 1988 (Серия ЖЗЛ); *Селезнев Л.* Михаил Кузмин и Владимир Маяковский//Вопросы литературы. 1989. № 11.

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885—1922)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст., подгот. текста и примеч. Н. Степанова. Л., 1960; Стихотворения и поэмы. Сост. Р. Дуганов и С. Лесневский. Вст. ст. В. Соколова. Подгот. текста и примеч. Р. Дуга-

нова. Волгоград, 1985; Стихотворения. Поэмы. Драмы. Проза/Вст. ст., сост. Р. В. Дуганова. М., 1986; Творения/Общая ред. и вст. ст. М. Я. Полякова. Сост., подгот. текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1986; Председатель чеки/Вст., подгот. текста и коммент. А. Е. Парниса//Новый мир. 1988. № 10.

Лит.: *Маяковский В.* В. В. Хлебников//Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13-ти т. Т. 12. М., 1959; *Степанов Н.* Велимир Хлебников: Жизнь и творчество. М., 1975; *Урбан А.* Образ человека — образ времени: Очерки о советской поэзии. Л., 1979 (гл. 1 «Философская утопия»); *Урбан А.* Мечтатель и трибун: О Хлебникове и Маяковском//В мире Маяковского. Сб. статей. Кн. 1. М., 1984; *Дуганов Р.* Поэт, история, природа//Вопросы литературы. 1985. № 10; *Лейтес А.* Хлебников — каким он был...// Новый мир. 1973. № 1; *Парнис А.* В. Хлебников — сотрудник «Красного воина»//Лит. обозрение. 1980. № 2; *Нагибин Ю.* О Хлебникове// Новый мир. 1983. № 5; *Александров А.* Октябрьский хронограф Велимира//Звезда. 1985. № 12; *Андриевский А. Н.* Мои ночные беседы с Хлебниковым//Дружба народов. 1985. № 12; «Пророческая душа»: В. Хлебников в воспоминаниях современников//Лит. обозрение. 1985. № 12.

Каменский Василий Васильевич (1884—1961)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст., подгот. текста и примеч. Н. Л. Степанова. Л., 1966; Лето на Каменке: Избранная проза/Вст. ст. С. Гинца. Пермь, 1961.

Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич, 1887—1941)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст. В. А. Рождественского. Сост., подгот. текста и примеч. Е. И. Прохорова. Л., 1978; Стихотворения/Сост., вст. ст. и примеч. В. А. Кошелева. М., 1988; Сирень моей весны: Избранная лирика/Вст. ст., сост. А. И. Михайлова и В. К. Петухова. Кемерово, 1989; Стихотворения/Вст. ст. В. Грекова. М., 1990.

Лит.: *Оршанин А.* Поэзия шампанского полонеза//Русская мысль. 1915, кн. 5; *Гусев Вл.* Ирония, риск и талант Игоря Северянина//Лит. Россия. 1989. 27 октября. № 43.

Гуро Елена Генриховна (1887—1913)

Соч.: Шарманка. Пьесы, стихи, проза. [СПб., «Журавль», 1909]; Небесные верблюжата. [СПб., «Журавль»], 1914.

Лит.: *Харджиев Н.* Маяковский и Елена Гуро//Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 193—195; *Усенко Л. В.* Импрессионизм в русской прозе начала XX века. Ростов-н/Д, 1988. С. 43—158 (Е. Г. Гуро: на пути к «душевному импрессионизму»).

Лившиц Бенедикт Константинович (1886—1939)

Соч.: Полутораглазый стрелец. Стихотворения, переводы, воспоминания/Вст. ст. А. А. Урбана «Метафоры оживший материк». Л., 1989.

Клюев Николай Алексеевич (1884—1937)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. В. Г. Базанова. Сост., подгот. текста и примеч. Л. К. Швецовой. Л., 1977; Стихотворения и поэмы/Вст. ст. Ст. Куняева «Жизнь — океан многозвонный...». Архангельск, 1986; Завещание. Избранные стихи/Вст. ст. С. Субботина «О Николае Клюеве». М., 1988.

Лит.: *Орлов Вл.* Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. М., 1976; *Базанов В. Г.* Фольклор. Русская поэзия начала XX века. Л., 1988; *Дементьев В.* Мир поэта. М., 1980; *Клюев Н.* «Я славлю Россию...» Из творческого наследия//Лит. обозрение, 1987, № 8; *Азадовский К. М.* Вокруг Клюева: спорное и неоспоримое//Знамя. 1987. № 9; Неизвестное письмо Н. А. Клюева к Есенину//Вопросы литературы. 1988. № 2; Николай Клюев в последние годы жизни: письма и документы//Новый мир. 1988. № 8; Поэзия и судьба Николая Клюева//Лит. газ. 1989. 17 мая. № 20.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. И. С. Эвентова. Сост. и подгот. текста И. С. Эвентова и И. В. Алексахиной. Примеч. И. В. Алексахиной. Л., 1986.

Лит.: *Марченко А.* Поэтический мир Есенина. Изд. 2-е, доп. М., 1989; В мире Есенина: Сб. статей. М., 1986; С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1986; *Пьяных М.* Есенин и русская поэзия XX столетия//Звезда. 1985. № 9; *Дитц В. Ф.* Есенин в Петрограде — Ленинграде. Л., 1990.

Клычков (Лешенков) Сергей Антонович (1889—1937)

Соч.: Стихотворения. Сост., подгот. текстов, вст. ст. Н. Банникова. М., 1985.

Лит.: *Михайлов А. И.* Творческий путь Сергея Клычкова и революция//Русская литература. 1988. № 4; *Лесневский Ст.* В гостях у журавлей. Памяти Сергея Клычкова//*Лесневский Ст.* Голубые врата. М., 1990.

Орешин Петр Васильевич (1887—1938)

Соч.: Зарево (Стихи). Пг., «Революционный социализм», 1918; Красная Русь. Стихи. М., 1918; Набат. Стихи. Саратов, 1921.

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст. В. Сидорина. М., 1958; Стихи/Послесл. К. П. Орешина. Саратов, 1964; О Русь, взмахни крылами...: Поэты есенинского круга/Вст. ст. С. Ю. Куняева. М., 1987.

Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич, 1883—1945)

Соч.: Стихотворения и поэмы/Вст. ст., сост., подгот. текста и примеч. И. С. Эвентова. М.; Л., 1965.

Цензор Дмитрий Михайлович (1877—1947)

Соч.: Старое гетто. СПб., 1907; Крылья Икара. Стихи (1905—1906). СПб., 1908; Легенда будней. Лирика. СПб., 1913; Священный стяг. Сти-

хи о войне. 1914—1916 гг. Изд. 2-е, доп. Пг., 1916; Стихотворения. 1903—1938: К 35-летию литературной деятельности. Л., 1940.

Лит.: *Эвентов И.* Стихотворения Дмитрия Цензора//Лит. современник. 1941. № 4.

Толстой Алексей Николаевич (1882—1945)

Соч.: Лирика. СПб., 1907; За синими реками. Стихи. М., 1911; Сочинения. Т. 4. Сказки. М., 1914; Полн. собр. соч. Т. 1. Стихотворения, сказки, повести, рассказы. 1907—1911. М., 1951.

Лит.: *Крестинский Ю. А.* А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., 1960; Воспоминания об А. Н. Толстом. Сборник. М., 1973; *Медведев Ф.* «Неудобная фамилия для поэта...»//Книжное обозрение. 1989. 17 февр. № 7.

Тэффи (урожд. Лохвицкая Надежда Александровна, по мужу — Бучинская, 1872—1952)

Соч.: Семь огней. СПб., 1910.

Соч., Лит.: Поэты «Сатирикона». М.; Л., 1966.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст. Н. А. Богомолова. Сост., подгот. текста и примеч. Н. А. Богомолова и Д. Б. Волчека. Л., 1989; Колеблемый треножник//Знамя. 1989. № 3; Статьи. Записная книжка/Вст. ст. С. Бочарова//Новый мир. 1990. № 3.

Лит.: *Белый А.* Рембрандтова правда в поэзии наших дней//Записки мечтателей. 1922. № 5; *Вознесенский А.* Небесный муравей//Огонек. 1986. № 48; *Богомолов Н.* Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича//Вопросы литературы, 1988, № 3; *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография//Вопросы литературы. 1988. № 9—11; *Берберова Н.* Курсив мой. Главы из книги//Октябрь. 1988. № 10—12.

Лозина-Лозинский Алексей Константинович (1886—1916) (Псевдоним — Я. Любяр)

Соч.: *Любяр Я.* Противоречия. Кн. 1. Эпикуру. Кн. 2. Мы — безумные. Кн. 3. Homo formica. СПб., 1912; Благочестивые путешествия. Пг., 1916; Троттуар. Стихи. Пг., 1916.

Лит.: *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 336—339, 551—552.

Агнивцев Николай Яковлевич (1888—1932)

Соч.: Студенческие песни. Сатира и юмор. СПб., 1913; Студенческие песни. 2-е изд. СПб., 1913; Санкт-Петербург. Тифлис, 1921; Блистательный Санкт-Петербург. Берлин, 1923 (Репринтное издание: М., 1989); «От пудры до грузовика». Стихи 1916—1926 гг. М.; Л., 1926; Под звон мечей. Пг., 1915; Мои песенки. Берлин, 1921.

Лит.: *Ходотов Н. Н.* Близкое — далекое. 2-е изд. М.; Л., 1962; *Вертинский А.* Четверть века без Родины: Страницы минувшего. Киев, 1989;

Краснянский Э. Встречи в пути. М., 1967. С. 85—87; *Борисов Л.* За круглым столом прошлого. Л., 1971. С. 147—153; *Спиридонова* (Евстигнеева) *Л. А.* Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977. С. 254—259; *Каплер А.* Загадка королевы экрана. М., 1979. С. 69—70; *Кушлина О.* Поэт — и больше ничего//Памир. 1983. № 12; *Кушлина О. Б.* Агнивцев Николай Яковлевич//Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 23—24.

Рерих Николай Константинович (1884—1947)

Соч.: Цветы Мории. Берлин, 1921; Цветы Мории. Стихотворения/Вст. ст. В. Сидорова «Стихи Николая Рериха». М., 1988; Письмена. М., 1974.

Лит.: *Беликов П. Ф., Князева В. П.* Рерих. М., 1972 (Серия ЖЗЛ); *Короткина Л. В.* Рерих в Петербурге — Петрограде. Л., 1985; *Сидоров В. М.* На вершинах. Повести. М., 1988.

Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926)

Соч.: Стихи//Рудин. 1915. № 1; 1916. № 8; Собр. соч.: В 2-х т. М., 1928; Избранное/Вст. ст. И. Крамова. М., 1965.

Лит.: *Инбер В.* Лариса Рейснер//Красная новь. 1927. № 2; *Оксенов Инн.* Лариса Рейснер//Звезда. 1928. № 3; Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969; «Лишь для тебя на земле я живу». Переписка Н. Гумилева с Л. Рейснер//В мире книг. 1987. № 4.

Набоков Владимир Владимирович (1899—1977)

Соч.: Стихи. Пг., 1916; Стихотворения. Л., 1990; Другие берега//Вст. ст. Виктора Ерофеева М., 1989.

Радлова Анна Дмитриевна (1891—1949)

Соч.: Соты. Книга стихов. Пг., 1918; Корабли. Вторая книга стихов. Пг., 1920; Крылатый гость. Пг., 1922; Стихи/Вст. заметка А. Михайлова и А. Кравцовой//Смена (Ленинград). 1989. 25 окт. № 245.

Шкапская Мария Михайловна (1891—1952)

Соч.: Mater dolorosa. Пб., 1921; Час вечерний. Стихи (1913—1917). Пг., 1922; Кровь — руда. Пб.; Берлин, 1922; Явь. Поэма. М.; Пг., 1923.

Лит.: *Губер П.* М. Шкапская. «Mater dolorosa»//Летопись Дома литераторов. 1921. № 2; *Брюсов В.* Среди стихов//Печать и революция. 1923. № 1; *Горький М.* Два письма//Работница. 1968. № 3; *Лелевич Г.* «Кровь — руда», «Земные ремесла»//Красная новь. 1925. № 1; *Оксенов Инн.* «Кровь — руда»//Звезда. 1925. № 4; Литературное наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982. С. 570—571.

Ивнев Рюрик (Ковалев Михаил Александрович, 1891—1981)

Соч.: Избранное. Стихотворения и поэмы. 1907—1981/Предисл. Н. Леонтьева. М., 1985; У подножия Мтацминды. Мемуары. Новеллы разных лет. Повесть. М., 1973.

Лит.: *Венгров Н.* «Самосожжение»//Летопись. 1916. № 1; *Гусман Б.* Сто поэтов. Библиогр. справочник. Тверь, 1923; *Журов П.* «Любовь без любви»//Красная новь. 1927. № 2; *Шершеневич В.* Кому я жму руку. М., 1924; *Зелинский К.* Предисловие//Ивнев Р. Избранные стихи. М., 1965.

Ефименко Татьяна Петровна (1890—1918)

Соч.: Жадное сердце. Стихи. Пг., 1916; Жадное сердце/Публ. и предисл. Е. Витковского//Новый мир. 1989. № 11. Здесь в предисловии сказано: «Переполненное поэзией жадное сердце Татьяны Ефименко перестало биться в 1918 году: деревенские погромщики разнесли в щепки «барский дом» и вырезали всю семью — так погибли и поэтесса и ее мать»; *Гитович И.* Необходимые уточнения//Новый мир. 1990. № 6.

Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович, 1880—1932)

Соч.: Стихотворения/Вст. ст. К. Чуковского. Критико-биогр. очерк, подгот. текста и примеч. Л. А. Евстигнеевой. Л., 1960.

Потемкин Петр Петрович (1886—1926)

Соч.: Поэты «Сатирикона»/Предисл. Г. Е. Рыклина. Вступ. ст., биограф. справки, подгот. текста и примеч. Л. А. Евстигнеевой. М.; Л., 1966.

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921)

Соч.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.)/ Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. А. Морозова. М.; Л., 1960.

Венский Евгений (Пяткин Евгений Осипович, 1884—1943)

Соч.: Русская стихотворная пародия (XVIII— начало XX в.) М.; Л., 1960; Поэты «Сатирикона». М.; Л., 1966.

Благов Федор Федорович (1883—1957)

Соч.: Русская стихотворная пародия (XVIII— начало XX в.). М.; Л., 1960.

Горянский (Иванов) Валентин Иванович (1887—1949)

Соч.: Поэты «Сатирикона». М.; Л., 1966.

Князев Василий Васильевич (1887—1937)

Соч.: Поэты «Сатирикона». М.; Л., 1966.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938)

Соч.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.)/Вст. ст., подгот. текста и примеч. А. А. Морозова. М.; Л., 1960; Русская стихотворная сатира 1908—1917-х годов/Вст. ст., сост., подгот. текста и примеч. И. С. Эвентова. Л., 1974.

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве иль против теченья,—
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.

Анна Ахматова. «Поэма без героя»

«Серебряным веком» — в сравнении с «золотым», пушкинским,— принято называть в истории русской поэзии, литературы и искусства конец XIX — начало XX столетия. Если иметь в виду, что у «серебряного века» был пролог (80-е гг. XIX столетия) и эпилог (годы Февральской и Октябрьской революций и гражданской войны), то началом его можно считать знаменитую речь Достоевского о Пушкине (1880 г.), а концом — речь Блока «О назначении поэта» (1921 г.), тоже посвященную «сыну гармонии» — Пушкину. С именами Пушкина и Достоевского связаны две основные, активно взаимодействующие между собой тенденции в русской литературе как «серебряного века», так и всего XX столетия — гармоническая и трагедийная.

Начиная рассказ о «серебряном веке», хочу уведомить читателей, что я намерен в нем широко цитировать (именно цитировать, а не излагать) высказывания непосредственных участников литературной жизни того времени: Д. Мережковского, Н. Бердяева, А. Блока, К. Чуковского, Г. Федотова, А. Ахматовой, В. Маяковского, Г. Иванова и других, чтобы донести до нынешних читателей их живые голоса, мысли и впечатления, не искаженные пересказом, увидеть поэтов и поэзию той поры не только извне, из нашего времени, но и изнутри, их же глазами. К тому же суждения поэтов, литераторов и философов начала XX века многим до сих пор остаются малоизвестными.

Для понимания поэзии «серебряного века» надо знать особенности ее художественного мировосприятия. Д. С. Мережковский отмечал: «Наше время должно определить двумя противоположными чертами — это время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний»[1].

Из дальнейших размышлений Мережковского следовало, что в художественной литературе философскому материализму соответствовали натурализм и реализм, а идеализму — импрессионизм, символизм, идеальная поэзия. Мережковский не без оснований считал, что будущее принадлежит художественному идеализму, идеальной поэзии. Во всяком

[1] *Мережковский Д. С.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893. С. 38.

случае, история ближайшего будущего показала, что господствующим художественным мировосприятием и стилем «серебряного века» стал символизм, то есть новая форма романтизма. В 1910-е годы черты романтизма по-новому проявились в таких соперничавших между собой течениях, как футуризм, акмеизм и новокрестьянская поэзия, которые, творчески полемизируя с символизмом, вместе с тем по-своему развивали его традиции.

Истоки новых течений в русской литературе «серебряного века» (их вместе стали именовать модернизмом) уходят в 80-е годы — пору глухого безвременья, или межвременья, которые явились своеобразной кухней нового литературного столетия. Поэзия тех лет представлена именами С. Надсона, К. Случевского, А. Апухтина и К. Фофанова, их творчество отмечено переходными свойствами: реалистическая поэтика постепенно сменяется романтической, а гнетущая атмосфера современной действительности все заметнее воспринимается в свете романтических идеалов.

Особенно значительна роль — в постижении высоких идеалов любви, добра и красоты — великого русского философа и замечательного поэта В. С. Соловьева, духовное наследие которого оказало глубокое воздействие на поэзию русских символистов, прежде всего на А. Блока и А. Белого. Блок, выступая 15 августа 1920 года в Вольной философской ассоциации («Вольфиле») с докладом «Владимир Соловьев и наши дни», очень верно сказал: «Владимиру Соловьеву судила судьба в течение всей его жизни быть духовным носителем и провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире. Рост размеров этих событий ныне каждый из нас, не лишившийся зрения, может наблюдать почти ежедневно. Вместе с тем каждый из нас чувствует, что конца этих событий еще не видно, что предвидеть его невозможно, что свершилась лишь какая-то часть их — какая, большая или малая, мы не знаем, но должны предполагать скорее, что свершилась часть меньшая, чем предстоит»[1].

После Октябрьской революции произведения Вл. Соловьева были практически изъяты из научного и культурного обихода, что нанесло громадный ущерб литературе, искусству, философии и духовной жизни нашего народа. Ныне наследие Вл. Соловьева стало возвращаться к читателям; оно призвано помочь сегодняшнему духовному возрождению, прежде всего возрождению высоких нравственных и эстетических идеалов.

Поэты-восьмидесятники, о которых шла речь выше, во многом подготовили почву для появления так называемых декадентов 90-х годов, или, иначе говоря, старшего поколения символистов: Д. Мережковского, З. Гиппиус, Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, Инн. Анненского и других. Декадентство в данном случае означало разрыв с идейным наследием революционной демократии и народничества, сосредоточенность на сложном внутреннем мире собственного «я» (индивидуализм) и особого рода эстетизм, связанный с болезнью красоты (в духе «Цветов зла» Ш. Бодлера). В 900-е годы, когда к старшим символистам присоединились младшие (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и другие), они стали искать исцеления от недугов декадентства в духовно-религиозных, нравственно-эстетических, национальных и общечеловеческих идеалах, пытаясь совместить общественные устремления с личными и даже интимными. Примером такого соединения является блоковский образ родины — невесты и жены. Искомая гармония в творчестве символистов нередко имеет отпечатки пережитой «муки идеала» (Инн.

[1] *Блок А.* Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 155.

Анненский), содержит в себе черты трагизма, рожденные в столкновениях идеалов с действительностью.

Начало XX литературного столетия внутренне связано с его концом, который пришелся на наше время. Как и веком раньше, наша литература сегодня столкнулась с проблемами крушения и возрождения идеалов, переоценки всех ценностей, созданием новых жизнетворческих и жизнестроительных концепций, соперничеством реализма и романтизма, материализма и идеализма, альтруизма и всех разновидностей эгоизма. Вот почему поэзия «серебряного века», отразившая в себе эти проблемы и устремления, интересна сегодня не только для познания нашего прошлого, но и для постижения духовно-нравственных и эстетических процессов настоящего и будущего.

Истоком многих социально-психологических, духовно-нравственных и художественных тенденций, характерных для «серебряного века», стала знаменитая речь Достоевского, произнесенная на празднествах, посвященных открытию памятника Пушкину в Москве в 1880 году. Она проникнута двумя взаимосвязанными идеями, не утратившими своего значения и в наши дни: идеей примирения и гармонизации враждующих сил в жизни и в литературе, в сознании каждого человека, прежде всего мыслью о необходимости взаимопонимания между интеллигенцией и народом, и, во-вторых, идеей всемирной отзывчивости русской души, ее устремленности к общечеловеческим ценностям и идеалам. Символом гармонии и всемирной отзывчивости для Достоевского, а также и для других русских писателей стал гений «золотого века» русской литературы — Пушкин. Весьма знаменательно, что всеобщую потребность в гармоническом начале острее других ощутил писатель, который глубже всех чувствовал и осознавал нарастание трагических противоречий русской жизни, неотвратимо ведущих к социальному взрыву. Особенно опасным он считал нигилистическое отношение к христианским духовно-нравственным идеалам.

К сожалению, призыв Достоевского к «смирению», к достижению сопряжения и гармонии между противоборствующими силами и устремлениями был воспринят многими — и на Пушкинских торжествах 1880 года, и в последующее время — весьма превратно или крайне односторонне. Едва ли не до наших дней просуществовало понимание «смирения» как рабского примирения с самодержавным строем и отказа от революционной борьбы, тогда как на самом деле оно означало усмирение собственной гордыни во имя обретения личной свободы и свободы для других, необходимость работы над собой и труда на народной ниве. Духовно-нравственное преображение народа и каждого человека автор речи о Пушкине связывал с деятельной устремленностью к общечеловеческим христианско-гуманистическим идеалам, в то время как русские социалисты, с которыми полемизировал Достоевский, в большинстве своем видели грядущую свободу и революцию без Христа. Когда совершилась Октябрьская революция, Блок в гениальной поэме-трагедии «Двенадцать», развивая традиции Достоевского и Пушкина, показал, как «свобода... без креста» ведет к вседозволенности и разгулу эгоистических страстей, к паразитическому отношению к жизни и ее красоте, к превращению человека в паршивого пса, и только чувство трагической вины перед загубленной человеческой красотой зажигает в душе свет христианской любви, сострадания и гуманизма.

В феврале 1921 года автор «Двенадцати» и «Скифов», образующих поэтическую дилогию о «русском строе души» в революционную эпоху, выступил с речью «О назначении поэта», в которой философски обобщил не только свой творческий опыт в свете пушкинского идеала, но и творческий опыт постижения трагического и гармонического

всей русской поэзией «серебряного века», начавшегося с речи Достоевского о Пушкине. Итогам этого периода были посвящены также два сборника, вышедшие в том же году. Один назывался: «Достоевский и Пушкин. Речь и статья Ф. М. Достоевского. Статьи: А. Волынского, К. Леонтьева, Гл. Успенского. Редакция А. Л. Волынского» (СПб., Парфенон, 1921). Второй был озаглавлен почти так же: «Пушкин. Достоевский» (Пб., издание Дома литераторов, 1921). Здесь в разделе «Пушкин» были напечатаны: «Декларация о ежегодном всероссийском чествовании памяти Пушкина в день его смерти», стихотворение М. Кузмина «Пушкин», статьи «О назначении поэта» А. Блока, «Колеблемый треножник» В. Ходасевича, «Общественные взгляды Пушкина» А. Ф. Кони, «Проблемы поэтики Пушкина» Б. Эйхенбаума. А в раздел «Достоевский» вошли статьи А. Горнфельда «Два сорокалетия» и А. Ремизова «Огненная Россия».

Особое значение проблематика Пушкина и Достоевского, связанная с Петербургом как столицей Российской империи, с темой самодержавия и бунта против него, с культурным, духовно-нравственным и эстетическим наследием, имела для петербургских поэтов «серебряного века», которые не только своим творчеством, но и своей жизнью были связаны с судьбами Северной Пальмиры. Развивая традиции «Медного Всадника» и петербургских романов Достоевского, Блок, Маяковский, Ахматова и другие поэты создают свои образы Петербурга «серебряного века», который стал веком трех русских революций, первой мировой войны и концом императорского периода русской истории.

Все поэты «серебряного века» так или иначе, творчески или житейски, тяготели к двум основным культурным и административным центрам России — Петербургу или Москве. В каждом центре культивировались свои духовные и художественные традиции: в Петербурге преимущественно западнические, в Москве преимущественно славянофильские. Это, конечно, не означало, что в Петербурге жили только западники, а в Москве — славянофилы. Речь идет об основных тенденциях, которые оставались в силе, если даже такой поэт западного склада характера и культуры, как Брюсов, был москвичом, а такой петербуржец, как Блок, стал гениальным выразителем «русского строя души» своего времени.

Интересные и яркие характеристики двум столицам, их непохожему ритму, стилю и содержанию жизни, разной роли в судьбах народа, государства и культуры дал философ русской духовности Г. П. Федотов в статье «Три столицы» (1926)[1].

Петербург, построенный как новая столица Российского государства, как новый центр национальной культуры, литературы и искусства, научной, религиозной, философской и общественно-политической мысли, никогда не утрачивал своих национальных особенностей, а со временем все полнее и глубже раскрывал их в свете общечеловеческих идей и идеалов. Европейские идеи становились в Петербурге орудиями и средствами обработки материала русской жизни. Эти идеи придавали петербургской жизни, в сравнении с более спокойной, патриархальной и созерцательной московской жизнью, действенный, активный, напря-

---

[1] См.: *Федотов Г. П.* Три столицы // Новый мир. 1989. № 4. С. 209—218. В 1918 г. Г. П. Федотов (1886—1951) был редактором-издателем петроградского журнала «Свободные голоса», который выпускался религиозно-философским кружком А. А. Мейера (1875—1939), искавшим истину на путях объединения христианства и социализма. См. об этом кружке: *Анциферов Н.* Из воспоминаний//Звезда. 1989. № 4. С. 118—121, 158—159.

женно-деловой и целеустремленный характер. Однако эта действенность в условиях Петербурга не оставалась чисто западной — рационально организованной, строго регламентированной и пунктуальной: обстоятельства русской действительности придавали ей напряженно-нервный, страстный, обостренно драматический, сбивчивый, подчас бестолковый, нередко фантасмагорический характер, который чувствовался как в ритме самой петербургской жизни, так и в образах Петербурга, запечатленных в творчестве Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Блока, Белого, Маяковского, Ахматовой...

Образ Петербурга, увиденный глазами русских писателей, нашел свое отражение в книгах известного краеведа Н. П. Анциферова «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга», изданных в начале 1920-х годов. О Петербурге, перерабатывающем природный материал человеческой жизни в духовную, интеллектуальную, нравственно-эстетическую и социальную энергию, в энергию культуры, хорошо сказал Г. П. Федотов. «Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая под тяжким давлением прессов эссенцию духа»[1].

«Серебряный век» русской поэзии пришелся на конец петербургского периода русской истории, отмеченного тремя революциями. Их колыбелью был Петербург. Здесь родилась идея русского бунта против самодержавной государственности, запечатленная в «Медном Всаднике» Пушкина. Знаменательно, что идея рождалась не как идея социально-экономическая, а как идея социально-нравственная, как идея бунта во имя социальной справедливости. Она получила свое развитие в романах Достоевского, благодаря которым писатель приобрел славу пророка русской революции. Достоевский указал на трагическую опасность разъединения идей революционного социализма с идеями духовно-нравственными, христианскими и нравственно-эстетическими («красота спасет мир»).

Достоевский как пророк русской революции и как проповедник христианского гуманизма оказал глубокое влияние на многих петербургских поэтов «серебряного века». Особенно сильно и по-разному оно сказалось в таких узловых произведениях, связанных с темой неизбежности революционного мятежа и кардинального преображения жизни, как циклы «Город», «Страшный мир», «Ямбы», поэмы «Возмездие» и «Двенадцать» Блока, петербургско-петроградские стихи и поэмы Маяковского, как написанная позднее петербургская повесть Ахматовой «Девятьсот тринадцатый год» (первая часть «Поэмы без героя») и ее стихи о Петербурге, Блоке и Маяковском.

Известный русский философ, автор учения о христианском персонализме, свободе и творчестве Н. А. Бердяев, характеризуя основные особенности главного течения в «русском Ренессансе» начала XX века — символизма, писал: «Поэзия символистов выходила за пределы искусства, и это была очень русская черта. Период так называемого «декадентства» и эстетизма у нас быстро кончился, и произошел переход к символизму, который означал искания духовного порядка, и к мистике. Вл. Соловьев был для Блока и Белого окном, из которого дул ветер грядущего. Обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных событий в грядущем очень характерны для поэтов-символистов. Русская литература и поэзия начала века носили профетический[2] характер. Поэты-символисты со свойственной им чуткостью чувствовали,

---

[1] *Федотов Г. П.* Три столицы// № 4. С. 210.

[2] Пророческий.

что Россия летит в бездну, что старая Россия кончается и должна возникнуть новая Россия, еще неизвестная. Подобно Достоевскому, они чувствовали, что происходит внутренняя революция»[1].

Петербургские символисты свои эстетические взгляды и религиозно-философские идеи проповедовали в кружках и собраниях. Известностью пользовались собрания у Мережковских в «доме Мурузи», расположенном на углу Литейного и Пантелеймоновской (ныне ул. Пестеля), и на «башне» у Вячеслава Иванова (Таврическая ул., дом 25, ныне — дом 35). Довольно известными были также собрания у Ф. Сологуба.

Собрания у Мережковских имели преимущественно религиозно-философскую направленность. Их участниками были Ф. Сологуб, Н. Минский, З. Венгерова, В. Розанов, Н. Бердяев, А. Белый, А. Блок, П. Соловьева (Allegro), М. Шагинян и другие. Участники собраний печатались в журналах «Новый путь» и «Вопросы жизни», выступали в Религиозно-философском обществе. В конце 1908 года дважды с докладами в обществе выступил Блок (см. его статьи «Народ и интеллигенция» и «Стихия и культура»). 30 декабря 1908 года одновременно с Блоком выступил Вячеслав Иванов, прочитавший доклад «О русской идее». Доклады Блока и Вячеслава Иванова вызвали горячее обсуждение, в котором принял участие Мережковский.

Весьма знаменательно и по-своему закономерно, что после поражения первой русской революции петербургские символисты обратились к обсуждению самой главной, наиболее острой и сложной проблемы «серебряного века» — проблемы взаимоотношений между интеллигенцией и народом, которая была поставлена в повестку грядущего столетия еще Достоевским. Эта проблема, получившая глубокое отражение в творчестве символистов, была продолжением спора славянофилов и западников о путях социально-политического и духовно-нравственного развития России в послепетровскую эпоху. Проблема обострялась тем, что ее обсуждение проходило в ситуации, когда, говоря словами Блока, Россия, «вырвавшись из одной революции», жадно смотрела «в глаза другой, может быть более страшной»[2].

Конечно, кроме Блока, немногие поэты «серебряного века» с такой же остротой, как он, чувствовали неотвратимость революционного взрыва. Можно даже сказать, что такой трагедийной остроты и глубины в ощущении надвигающихся роковых событий не было ни у кого из его современников. Недаром Ахматова позднее назвала Блока «трагическим тенором эпохи». Большинство поэтов в лучшем случае чувствовали драматическую, а не трагедийную подоснову современной действительности и по-разному реагировали на нее. Многим хотелось забыться от страшного мира в наслаждениях жизнью, любовью, искусством, в «веселом хороводе вокруг кратера вулкана», в упоительном сне и хмеле культуры, о которых говорил Блок. Характерным явлением времени становится театрализация жизни, стремление превратить ее в празднество, в арлекинаду, в карнавал, вроде того, который позднее будет изображен Ахматовой в «Поэме без героя». Наиболее чуткие поэты за такого рода карнавализацией ощущали скрытое приближение социальной катастрофы — национальной и всемирной, а вот Игорь Северянин, как всегда, не унывал, самоуверенно и легкомысленно заявляя: «Я трагедию жизни претворю в грезофарс...»

Другим центром петербургской литературной жизни, кроме квартиры Мережковских, была «башня» Вячеслава Иванова. В отличие

---

[1] *Бердяев Н.* Русская идея //Вопросы философии. 1990. № 2. С. 140.

[2] *Блок А.* Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 486.

от обсуждений у Мережковских и собраний в Религиозно-философском обществе, ночные бдения по средам у Вячеслава Иванова имели в основном эстетический, художественный, артистический уклон. Участниками всех собраний часто были одни и те же люди, но на «башне» они раскрывались главным образом с артистической стороны. Так было прежде всего с самим Вячеславом Ивановым, который в Религиозно-философском собрании выступал, например, с докладом «О русской идее», а у себя на «башне» представал в роли поэтического мэтра, руководителя «поэтической академии». Так было и с Блоком, который на «башне» читал свое стихотворение «Незнакомка», ставшее одной из поэтических эмблем «серебряного века». К. Чуковский так запечатлел чтение Блока: «Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые прочитал «Незнакомку» — кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он ее на крыше знаменитой башни Вячеслава Иванова, поэта-символиста, у которого каждую среду собирался для всенощного бдения весь аристократический Петербург. Из башни был выход на пологую крышу,— и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, возбужденные стихами и вином — а стихами опьянялись тогда, как вином,— вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый (он всегда загорал уже ранней весной), взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение. И теперь всякий раз, когда, перелистывая сборники Блока, я встречаю там стихи о Незнакомке, мне видится: квадратная железная рама на фоне петербургского белого неба, стоящий на ее перекладине молодой, загорелый, счастливый своим вдохновением поэт, и эта внезапная волна соловьиного пения, в котором было столько родного ему»[1].

Среди тех, кто посещал собрания у Мережковских и вместе с тем активно участвовал в средах Вячеслава Иванова, был Н. Бердяев. Это он назвал начало XX века «русским Ренессансом» и «серебряным веком»[2]. Одно время он председательствовал на «башне» и в связи с этим написал об «ивановских средах» специальную статью[3]. Позднее Бердяев вспоминал: «Петербургский период моей жизни очень связан с В. Ивановым и его женой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, рано умершей. Так называемые «среды» Вяч. Иванова — характерное явление русского ренессанса начала века. На «башне» В. Иванова — так называлась квартира Ивановых на 7-ом этаже против Таврического сада — каждую среду собирались все наиболее одаренные и примечательные люди той эпохи, поэты, философы, ученые, художники, актеры, иногда и политики. Происходили самые утонченные беседы на темы литературные, философские, мистические, оккультные, религиозные, а также и об-

---

[1] *Чуковский К.* Из воспоминаний. М., 1959. С. 371—372.

[2] См.: *Бердяев Н.* Русский культурный ренессанс начала XX века//Книжное обозрение. 1988. 30 декабря, № 52. С. 3, 10.

[3] См.: *Бердяев Н.* Ивановские среды //Русская литература XX века (1890—1910)/Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. 3, ч. 2, кн. 8. М., 1916. С. 97—100.

щественные в перспективе борьбы миросозерцаний. В течение трех лет (с 1904 по 1907 год.— *М. -П.*) я был бессменным председателем на Ивановских средах. ⟨...⟩ Когда я вспоминаю «среды», меня поражает контраст. На «башне» велись утонченные разговоры самой одаренной культурной элиты, а внизу бушевала революция. Это было два разобщенных мира. Иногда на «среде» появлялись представители революционных течений, например Луначарский, напоминавший о символе «серп и молот». Однажды, когда «среда» была особенно переполнена, был произведен обыск, произведший сенсацию. У каждой двери стояли солдаты с ружьями. Целую ночь всех переписывали. Для меня это не было новостью. Но в общем культурная элита на «башне» была изолирована. «Мистический анархизм», существовавший короткое время, нисколько не приближал к социальному движению того времени. Единственное, что верно, так это существование подпочвенной связи между дионисической революционной стихией эпохи и дионисическими течениями в литературе. В. Иванов был главным глашатаем дионисизма. Он самый замечательный специалист по религии Диониса»[1].

У Вячеслава Иванова бывали и молодые акмеисты, которые затем разошлись с ним. По свидетельству Г. Иванова, хозяин «башни» первым высоко оценил талант Анны Ахматовой.

В январе 1913 года в первом номере журнала «Аполлон» акмеисты опубликовали свои программные статьи: «Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева и «Некоторые течения в современной русской поэзии» С. Городецкого. В первой из них говорилось: «На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова aκμη — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

Н. Гумилев заявлял, что «новое течение... отдает решительное предпочтение романскому духу перед германским», который преобладал в символизме. Если для германского духа и символизма характерны туманность, «слиянность всех образов и вещей, изменчивость их облика», то «романский дух слишком любит стихию света, разделяющего предметы, четко вырисовывающего линию». Гумилев ориентировал новое литературное течение на восприятие западноевропейских художественных традиций, «В кругах, близких к акмеизму,— писал он,— чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии». Кроме самого Гумилева ориентация на западноевропейские художественные традиции весьма существенна для М. Кузмина и О. Мандельштама.

В отличие от Гумилева С. Городецкий в своей статье подчеркивал русское национальное начало в акмеизме и в связи с ним рассматривал стихи М. Зенкевича, В. Нарбута и А. Ахматовой. В пылу полемики он даже утверждал, что «символизм не был выразителем духа России... Ни «Дионис» Вячеслава Иванова, ни «телеграфист» Андрея Белого, ни пресловутая «тройка» Блока не оказались имеющими

---

[1] *Бердяев Н.* Собр. соч., т. 1. Самопознание (Опыт философской автобиографии). Изд. 2-е, испр. и доп. Paris, YMCA-PRESS [1983]. С. 177—179.

общую с Россией меру». Более воинственно, чем Гумилев, отвергал Городецкий художественное мировосприятие символистов и их поэтику. «Борьба между акмеизмом и символизмом,— писал он,— если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм, в конце концов, заполнив мир «соответствиями», обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще. Звезда Маир, если она есть, прекрасна на своем месте, а не как невесомая точка опоры невесомой мечты. Тройка удала и хороша своими бубенцами, ямщиком и конями, а не притянутой под ее покров политикой».

А. Блок, критически относившийся к тем акмеистам, которые, по его мнению, были мало связаны с русской жизнью и в значительной мере ориентировались на заграницу, выделял среди них Ахматову. «Настоящим исключением среди них была одна Анна Ахматова; не знаю, считала ли она сама себя «акмеисткой»; во всяком случае, «расцвета физических и духовных сил» в ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной манере положительно нельзя было найти. Чуковский еще недавно определял ее поэзию как аскетическую и монастырскую по существу. На голос Ахматовой как-то откликнулись, как откликнулись когда-то на свежий голос С. Городецкого, независимо от его «мистического анархизма», как откликнулись на голос автора «Громокипящего кубка» независимо от его «эгофутуризма»[1], и на голос автора нескольких грубых и сильных стихотворений[2], независимо от битья графинов о головы публики, от желтой кофты, ругани и «футуризма». В стихах самого Гумилева было что-то холодное и иностранное, что мешало его слушать; остальные, очень разноголосые, только начинали, и ничего положительного сказать о них еще было нельзя»[3].

В конце 1913 года Блок написал замечательное стихотворение «Анне Ахматовой», в котором запечатлел только обозначавшиеся тогда трагические черты в красоте ахматовской музы. А во время революции, имея в виду стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...»[4], в котором она сделала мужественный выбор не уехать на Запад, а навсегда остаться с русским народом и родной многострадальной землей, Блок, по свидетельству К. Чуковского, сказал: «Ахматова права. <...> Убежать от русской революции — позор» .[5]

Выучка у западной культуры оказала несомненно положительное влияние на мастерство акмеистов, но при этом нельзя не отметить, что интерес к иностранному, как на это указывал и Блок, ощутимо ослаблял у ряда акмеистов чувство русской жизни, национального строя души. У акмеистов с премущественно западной ориентацией — у Гумилева, Кузмина, Мандельштама, Г. Иванова, Адамовича, Одоевцевой — национальные мотивы отчетливее зазвучали в годы революции и особенно после нее. У Гумилева наиболее русской по искренности, неприкрашенности и глубине переживаний стала последняя книга его стихов «Огненный

---

[1] Имеется в виду И. Северянин.

[2] Имеется в виду В. Маяковский.

[3] *Блок А.* «Без божества, без вдохновенья» (*Цех акмеистов*)//Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 180—181.

[4] Ныне печатается без первых двух четверостиший, начиная со строки: «Мне голос был. Он звал утешно...»

[5] *Чуковский К.* Александр Блок как человек и поэт. Пг., 1924. С. 35.

столп» (1921). Здесь, в сильном и проникновенном стихотворении «Заблудившийся трамвай», даже характерные для поэта элементы декоративности и экзотики послужили раскрытию глубоко трагедийных, национальных и естественных по своему строю чувств и переживаний.

С Петербургом связано рождение и другого оппонента и наследника символизма — русского футуризма. «Несколько поэтов и художников из футуристов,— писал Блок,— оказались действительно поэтами и художниками, они стали писать и рисовать как следует; нелепости забылись, а когда-то, перед войной, они останавливали и раздражали на минуту внимание; ибо русский футуризм был пророком и предтечей тех страшных каррикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха войны и революции; он отразил в своем туманном зеркале своеобразный веселый ужас, который сидит в русской душе и о котором многие «прозорливые» и очень умные люди не догадывались. В этом отношении русский футуризм бесконечно значительнее, глубже, органичнее, жизненнее, чем «акмеизм»; последний ровно ничего в себе не отразил, ибо не носил в себе никаких родимых «бурь и натисков», а был привозной «заграничной штучкой»: «Новый Адам» распевал свои «аллилуйя» не слишком громко, никому не мешая, не привлекая к себе внимания и оставаясь в пределах „чисто литературных“»[1].

Национальное своеобразие русского футуризма не исключало его связей с Западом, только западничество русских футуристов, прежде всего Маяковского, имело иной характер, чем у акмеистов. Многим акмеистам-западникам был свойствен особого рода художественный и этический аристократизм, созерцательно-эстетическое отношение к жизни и к искусству; из западной культуры они перенимали артистизм, мастеровитость, интерес к технике стиха, «цеховую» организацию поэтического дела. Мастеровитость, интерес к форме, но отнюдь не эстетизм, склонность к театральности были свойственны и русским футуристам, но у них все это было лишено камерности, имело ярко выраженный площадной, демократический и динамический характер. Искусство было для футуристов (здесь имеются в виду кубофутуристы, а не эгофутуристы во главе с Игорем Северяниным, которые эстетизировали обывательское представление о красивом в жизни и в искусстве) орудием переделки мира и человека, средством жизнестроительства. Вот почему русский футуризм в лице своих наиболее талантливых поэтов — Маяковского и Хлебникова — стал не только прорицателем мировой войны и революции, гибели старого мира, но и провозвестником идеалов будущего, архитектором грядущего.

Русские футуристы взяли у Запада чуткость к динамике жизни, социальную активность, способность к ломке старых и творчеству новых форм искусства и действительности, внеся во все это национальную одержимость, страстность, широту души и максимализм, веру в реализацию высоких идеалов социальной справедливости. Молодой Маяковский в статье «Россия. Искусство. Мы» (1914) писал: «Пора знать, что для нас «быть Европой» — это не рабское подражание Западу, не хождение на помочах, перекинутых сюда через Вержболово (пограничная станция.— *М. П.*), а напряжение собственных сил в той же мере, в какой это делается там!»[2]

Если Маяковский в своей устремленности к идеалам будущего первостепенное значение придавал социальной переделке мира, то Хлебников — переделке бытийной, связанной с кардинальными изменениями как человеческой природы, так и природы мироздания. При этом Хлеб-

[1] *Блок А.* Собр. соч.: В 8-ми т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 181.

[2] *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13-ти т. Т. 1. М., 1955. С. 320.

ников понимал, что без социальной революции невозможно выйти к решению глобальных бытийных проблем, а Маяковский чувствовал, причем глубоко интимно и трагедийно, что социальная перестройка мира сложно связана с фундаментальной переделкой человеческой природы. Через ощущение связей между интимным и бытийным, личным и социальным, малым и большим рождался метафорический гиперболизм Маяковского, а его лирическое «я», вырастая до родового «Я» всего человечества, оспаривало у Бога право на собственное творение своей человеческой сущности и своего справедливого мира.

Маяковский был максималистом как в отрицании старого мира, так и в утверждении нового. Определяя смысл своей поэмы «Облако в штанах», он писал в 1918 году: «„Долой *вашу* любовь“, „долой *ваше* искусство“, „долой *ваш* строй“, „долой *вашу* религию“— четыре крика четырех частей»[1]. Однако при этом следует иметь в виду, что нигилизм поэта не был односторонним и самодовлеющим: отрицая старое, поэт утверждал свои идеалы любви и общественного строя, свое представление о назначении искусства, свою веру в лучшие возможности человека и человечества.

Когда наступил Октябрь 1917 года, Маяковский заявил: «Моя революция», и это означало не только то, что он принял ее, но и то, что свершилась именно его революция, которую он предсказывал и которую так страстно ждал для себя и для всех трудящихся людей. Поэт воспринял революцию не просто как планетарный социальный взрыв, но и как новое творение мира и человека, но уже не Богом, а самими людьми. «Сегодня пересматривается миров основа»,— сказал он в поэтохронике «Революция», написанной в апреле 1917 года.

Столичный Петербург — Петроград как национальный центр культурной и общественно-политической жизни привлекал к себе также новокрестьянских и пролетарских поэтов. Многое значила Северная Пальмира в творческом развитии Н. Клюева, С. Есенина, М. Горького, Д. Бедного и других певцов крестьянской и пролетарской России.

В судьбе Клюева и Есенина заметную роль сыграли А. Блок и С. Городецкий[2], другие столичные литераторы. Творческое влияние символистов, в первую очередь Блока, способствовало развитию в поэзии Клюева, Есенина и Клычкова романтического начала, которое имело у новокрестьянских поэтов, особенно у самого значительного из них — Есенина, пантеистический характер[3]. Вхождение новокрестьянских поэтов в большую литературу стало заметным событием предреволюционного времени. У этого события была и лубочно-театрализованная сторона, которую с иронией описал в своих воспоминаниях Г. Иванов[4].

В 1913 году в Петербурге выходит первый сборник пролетарского поэта Демьяна Бедного — «Басни». Довольно скоро, в годы революции и гражданской войны, агитационно-публицистическая поэзия Бедного станет самой популярной среди народных масс.

Весьма содержательной и разнообразной была поэтическая жизнь Петрограда в период революции и гражданской войны (1917—1921 годы), которым завершается «серебряный век». В это время поэты в основном

---

[1] *Маяковский В.* Полн. собр. соч. В 13-ти т. Т. 12. С. 7.

[2] См.: *Базанов В. Г.* Олонецкий крестьянин и петербургский поэт// Базанов В. Г. Фольклор. Русская поэзия начала XX в. Л., 1988; *Пьяных М.* Есенин и русская поэзия XX столетия//Звезда. 1985. № 9.

[3] См.: *Пьяных М.* «Узловая завязь природы с сущностью человека»// В мире Есенина. Сб. статей. М., 1986.

[4] См. *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 331—333.

были связаны с Домом искусства и Домом литераторов, с издательством «Всемирная литература» и Вольной философской ассоциацией (Вольфилой), с литературными группами — «Скифы», Цех поэтов, Комфуты, петроградский Пролеткульт. Литературная жизнь Петрограда тех лет, в том числе поэтическая, запечатлена в дневниках и записных книжках А. Блока, в романе О. Форш «Сумасшедший корабль», в воспоминаниях «На берегах Невы» И. Одоевцевой и «Петербургские зимы» Г. Иванова и других художественных и мемуарных свидетельствах.

Поэзия «серебряного века» отразила в себе, в своих больших и малых магических зеркалах, сложный и неоднозначный процесс социально-политического, духовно-нравственного, эстетического и культурного развития России в период, отмеченный тремя революциями, мировой войной и особенно страшной для нас — войной внутренней, гражданской. В этом метаморфическом процессе, запечатленном поэзией, есть высокие подъемы и резкие спады, светлые и темные стороны, драматические и комические сцены, но в глубине своей — это процесс трагедийный. Развивая традиции Пушкина и Достоевского, чутко слушая «музыку» своего времени, Блок гениально выявил трагедийную сущность русского пути в XX столетии и запечатлел его в своей петроградской поэме «Двенадцать». В ней предсказан и крестный путь России в советское время.

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

В эпилоге поэмы-трагедии Блок не только развернул движущуюся панораму «русского строя души» в революционную эпоху с его нравственно-эстетическими полюсами — Христом и псом, но и предсказал судьбу «русского строя души» в послеоктябрьское время. Двенадцать апостолов нового мира, сознательно идущие революционным державным шагом, в то же время из-за неразвитости своих нравственных и эстетических чувств (за исключением Петрухи), в силу своей духовной слепоты стреляют в незримого для них Христа, не подозревая, что он является символом самоотверженной, трагедийной любви к людям. Эта «стрельба» в прямом и переносном смысле будет продолжаться на протяжении семи послеоктябрьских десятилетий, вплоть до наших дней, но Христос останется невредимым, так как он есть не существо во плоти, а идеал духовной красоты и совершенства, который рано или поздно воскреснет в душах людей, достойных его. Вражда же или нечуткость к идеалу Христа приведет к духовному одичанию и нравственному вырождению тех, кто будет продолжать «стрелять» в него, ускорит их превращение, как в свое время блоковского Ваньки, в паршивого пса, символизирующего перерождение простых людей в любителей красивой «буржуйской» жизни за чужой счет, паразитирующих на страданиях народа. Такой пес стал миллионоглавым в наши дни, когда соблазн «красивой» жизни любой ценой — воровства, взяточничества, насилия, даже убийства — получил широкое распространение. В этой ситуации «бездны мрачной на краю» для очищения «русского строя души» от всякой не-

чисти и скверны особое значение приобретает возрождение высоких духовных, нравственных и эстетических идеалов «серебряного века» русской поэзии.

Предлагаемая антология петербургской поэзии 1880—1921 годов издается впервые. В нее вошли произведения тех русских поэтов «серебряного века», жизнь и творчество которых были связаны с Петербургом — Петроградом. Включены в нее и некоторые поэты из других российских мест — те, которые часто бывали в столице, подолгу жили в ней, принимали активное участие в ее литературной, культурной и общественной жизни.

Принятое в антологии деление поэтов по литературным школам и течениям в ряде случаев является условным, так как некоторые поэты из одной литературной школы переходили в другую. М. Кузмин, например, начав свой творческий путь среди символистов, затем стал ближе к акмеистам. Подобный переход совершали и другие. В специальный раздел выделены поэты, не связанные тесно ни с одним литературным течением, а также поэты-сатирики, сыгравшие особую роль в поэзии «серебряного века».

М. Ф. Пьяных

СОДЕРЖАНИЕ

Накануне

Символисты

Акмеисты

Футуристы

Новокрестьянские и пролетарские поэты

Вне литературных школ

Поэты-сатирики

Составитель
ПЬЯНЫХ Михаил Федорович

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Петербургская поэзия
конца XIX—начала XX в.

Заведующий редакцией А. И. Белинский
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Н. Н. Фоменко

ИБ № 5371

Сдано в набор 25.10.90. Подписано к печати 29.04.91.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарн. обыкн. новая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 22,16.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 627.
Цена 4 руб.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Серебряный век: Петербургская поэзия конца
С32 XIX — начала XX в. — Л.: Лениздат, 1991. — 526 с., ил.
ISBN 5-289-00918-3

«Серебряным веком» русской поэзии, в отличие от «золотого» пушкинского, принято называть период конца XIX — начала XX века. Этот период, насыщенный событиями, повлиявшими на судьбу России, дал миру целую плеяду поэтов, которые отразили в своем творчестве духовно-нравственное состояние народа, брошенного в горнило двух войн и трех революций... В сборник включены стихотворения около ста поэтов, начиная с С. Надсона и А. Апухтина и кончая В. Маяковским и С. Есениным.

С $\frac{4702010000-053}{М171(03)-91}$ 170—91 84Р

4 p.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК